

Букчин Мюррей.

Публицистика

- Анархизм эпохи после дефицита
- Анархия и организация. Письмо «левым»
- К освободительным технологиям
- Либертарный коммунизм
- Мы — зеленые, мы — анархисты!
- Мы не можем спасти окружающую среду без перестройки общества
- Откуда мы пришли? Что мы из себя представляем? Куда мы идем?
- Послушай, марксист!
- Спонтанность и организация
- Экология и революционная мысль
- Экотопия
- Муниципализация экономики: общинная собственность
- Экология Свободы: Возникновение и распад иерархии

Анархизм эпохи после дефицита

1968, источник: [здесь](#)

Предварительные условия и ВОЗМОЖНОСТИ

Все успешные революции прошлого были партикуляристскими революциями меньшинств, стремившихся утвердить свои специфические интересы над интересами всего общества. Великие буржуазные революции Нового времени предлагали идеологию масштабного политического переустройства, но в действительности они лишь подтверждали социальное господство буржуазии, давая формальное политическое выражение экономическому превосходству капитала. Возвышенные понятия «нации», «свободного гражданина», равенства перед законом скрывали обыденную реальность централизованного государства, атомизированного изолированного человека и господства буржуазных интересов. Несмотря на свои масштабные идеологические заявления, партикуляристские революции заменили господство одного класса другим, одну систему эксплуатации – другой, одну систему труда – другой, а одну систему психологического подавления — новой.

Уникальность нашей эпохи заключается в том, что партикулярная революция теперь уступила место возможности всеобщей революции — полной и тоталистической. Буржуазное общество, если оно не достигло ничего другого, произвело революцию в средствах производства в беспрецедентных в истории масштабах. Эта технологическая революция, кульминацией которой стала кибернетика, создала объективную, количественную основу для мира без классового господства, эксплуатации, труда и материальной нужды. Теперь существуют средства для развития совершенного человека, тотального человека, освобождённого от чувства вины и авторитарных методов воспитания и отданного на волю желания и чувственного постижения чудесного. Теперь можно представить будущий опыт человека в терминах целостного процесса, в котором раздвоения мысли и деятельности, разума и чувственности, дисциплины и спонтанности, индивидуальности и сообщества, человека и природы, города и страны, образования и жизни, работы и игры разрешаются, становятся гармоничными и органично скрепляются в качественно новом царстве свободы. Как партикулярная революция породила партикулярное, раздвоенное общество, так и всеобщая революция может породить органически единое, многогранное сообщество. Великая рана, открытая собственническим обществом в форме «социального вопроса», теперь может быть исцелена.

То, что свобода должна пониматься в человеческих, а не в животных терминах — в терминах жизни, а не выживания, – достаточно ясно. Люди не избавляются от уз рабства и не становятся полноценными людьми, лишь избавившись от социального господства и обретя свободу в её абстрактной форме. Они должны быть свободны и конкретно: свободны от материальной нужды, от труда, от бремени посвящать большую часть своего времени — более того, большую часть своей жизни — борьбе с необходимостью. Увидеть эти материальные предпосылки человеческой свободы, подчеркнуть, что свобода предполагает наличие свободного времени и материальных предпосылок для отмены свободного времени как социальной привилегии, – таков великий вклад Карла Маркса в современную революционную теорию.

В то же время не следует путать предпосылки свободы с условиями свободы. Возможность освобождения не означает его реальность. Наряду с позитивными аспектами технический прогресс имеет и явно негативную, социально регрессивную сторону. Если верно, что технический прогресс расширяет историческую возможность свободы, то верно и то, что буржуазный контроль над технологией укрепляет сложившуюся организацию общества и повседневной жизни. Технологии и ресурсы изобилия дают капитализму средства для ассимиляции широких слоёв общества в установленную систему иерархии и власти. Они обеспечивают систему оружием, средствами обнаружения и средствами пропаганды как угрозы, так и реальности массовых репрессий. По своей централизованной природе ресурсы изобилия усиливают монополистические, централистские и бюрократические тенденции в политическом аппарате. Короче говоря, они предоставляют государству исторически беспрецедентные средства для манипулирования и мобилизации всей сферы жизни — и для увековечивания иерархии, эксплуатации и несвободы.

Следует, однако, подчеркнуть, что такое манипулирование и использование окружающей среды крайне проблематичны и чреваты кризисами. Попытка буржуазного общества контролировать и эксплуатировать окружающую среду, как природную, так и социальную, далеко не всегда приводит к умиротворению (вряд ли здесь можно говорить о гармонизации), но имеет разрушительные последствия. О загрязнении атмосферы и водных путей, об уничтожении древесного покрова и почвы, о токсичных веществах в продуктах питания и водах написаны огромные тома. Ещё более угрожающими по своим конечным результатам являются загрязнение и разрушение самой экологии, необходимой для существования такого сложного организма, как человек. Концентрация радиоактивных отходов в живых организмах представляет угрозу для здоровья и генетического потенциала почти всех видов. Всемирное загрязнение пестицидами, подавляющими выработку кислорода в планктоне, или почти токсичный уровень свинца в бензиновых выхлопах – примеры постоянного загрязнения, угрожающего биологической целостности всех развитых форм жизни, включая человека.

Не менее тревожным является тот факт, что мы должны кардинально пересмотреть наши традиционные представления о том, что является загрязнителем окружающей среды. Ещё несколько десятилетий назад было бы абсурдно называть углекислый газ и тепло загрязнителями в привычном понимании этого термина. Однако оба эти вещества могут оказаться в числе наиболее серьёзных источников будущего экологического дисбаланса и представлять серьёзную угрозу для жизнеспособности планеты. В результате

промышленной и бытовой деятельности количество углекислого газа в атмосфере за последние сто лет увеличилось примерно на двадцать пять процентов, а к концу века может удвоиться. В средствах массовой информации широко обсуждается знаменитый «парниковый эффект», который, как ожидается, вызовет увеличение количества этого газа; предполагается, что в конечном итоге газ будет препятствовать рассеиванию мирового тепла в пространстве, вызывая повышение общей температуры, что приведёт к таянию полярных ледяных шапок и затоплению обширных прибрежных районов. Тепловое загрязнение — результат сброса тёплой воды атомными и обычными электростанциями — оказывает катастрофическое воздействие на экологию озёр, рек и эстуариев. Повышение температуры воды не только наносит ущерб физиологической и репродуктивной деятельности рыб, но и способствует мощному цветению водорослей, которые стали такой грозной проблемой для водных путей.

В экологическом плане буржуазная эксплуатация и манипуляции подрывают саму способность Земли поддерживать развитые формы жизни. Кризис усугубляется массовым увеличением загрязнения воздуха и воды; растущим накоплением неразлагаемых отходов, остатков свинца, пестицидов и токсичных добавок в пище; расширением городов до обширных городских поясов; растущими стрессами из-за перенаселённости, шума и массового проживания; а также бессмысленным уродованием земли в результате горных работ, лесозаготовок и спекуляции недвижимостью. В результате за несколько десятилетий Земля подверглась опустошению в масштабах, небывалых за всю историю обитания человека на планете. В социальном плане буржуазная эксплуатация и манипуляции довели повседневную жизнь до мучительной пустоты и скуки. Поскольку общество превратилось в фабрику и рынок, сам смысл жизни свёлся к производству ради него самого и потреблению ради него самого. (1)

Искупительная диалектика

Существует ли искупительная диалектика, способная направить социальное развитие в сторону анархического общества, где люди обретут полный контроль над своей повседневной жизнью? Или же социальная диалектика заканчивается капитализмом, его возможности перекрываются использованием высокоразвитой технологии в репрессивных и кооптативных целях? Мы должны извлечь уроки из ограничений марксизма — проекта, который, по понятным причинам, в период материального дефицита привязал социальную диалектику и противоречия капитализма к экономической сфере. Маркс, как было подчёркнуто, рассматривал предпосылки освобождения, а не условия освобождения. Марксистская критика уходит корнями в прошлое, в эпоху материальной нужды и относительно ограниченного технологического развития. Даже его гуманистическая теория отчуждения обращена прежде всего к вопросу о труде и отчуждении человека от продукта своего труда. Однако сегодня капитализм — это паразит на будущем, вампир, выживающий за счёт технологий и ресурсов свободы.

Индустриальный капитализм времён Маркса организовывал товарные отношения вокруг господствующей системы материального дефицита; государственный капитализм нашего времени организует товарные отношения вокруг господствующей системы материального

изобилия. Столетие назад дефицит приходилось терпеть, сегодня его приходится навязывать – отсюда и важность государства в современную эпоху. Дело не в том, что современный капитализм разрешил свои противоречия (2) и аннулировал общественную диалектику, а в том, что социальная диалектика и противоречия капитализма распространились с экономической на иерархическую сферу общества, с абстрактной «исторической» области на конкретные мелочи повседневного опыта, с арены выживания на арену жизни.

Диалектика бюрократического государственного капитализма берет своё начало в противоречии между репрессивным характером товарного общества и огромным потенциалом свободы, открывающимся благодаря техническому прогрессу. Это противоречие также противопоставляет эксплуататорскую организацию общества миру природы — миру, который включает в себя не только природную среду, но и «природу» человека — его порождённые Эросом импульсы. Противоречие между эксплуататорской организацией общества и природной средой не поддаётся кооптации: атмосфера, водные пути, почва и экология, необходимые для выживания человека, не искупаются реформами, уступками или изменениями политической стратегии. Не существует технологии, способной воспроизводить атмосферный кислород в количествах, достаточных для поддержания жизни на планете. Не существует замены гидрологическим системам Земли. Не существует техники, позволяющей устранить масштабное загрязнение окружающей среды радиоактивными изотопами, пестицидами, свинцом и нефтяными отходами. Нет ни малейших признаков того, что буржуазное общество в обозримом будущем ослабит свои усилия по нарушению жизненно важных экологических процессов, по эксплуатации природных ресурсов, по использованию атмосферы и водных путей в качестве мест захоронения отходов, а также по «раковому» способу урбанизации и землепользования.

Ещё более насущным является противоречие между эксплуататорской организацией общества и порождёнными Эросом импульсами человека — противоречие, которое проявляется как банализация и обеднение опыта в бюрократически манипулируемом, обезличенном массовом обществе. Импульсы, порождённые Эросом, в человеке можно подавить и сублимировать, но их никогда нельзя устранить. Они обновляются с каждым рождением человека и с каждым поколением молодёжи. Неудивительно, что сегодня молодёжь в большей степени, чем представители какого-либо экономического класса или слоя, выражает жизненные импульсы, заложенные в человеческой природе, – порывы желания, чувственности и ожидания чудесного. Таким образом, биологическая матрица, из которой много веков назад возникло иерархическое общество, вновь появляется на новом уровне с наступлением эпохи, знаменующей конец иерархии, только теперь эта матрица насыщена социальными явлениями. Если не манипулировать зародышевой плазмой человечества, жизненные импульсы могут быть аннулированы только с уничтожением самого человека.

Противоречия бюрократического государственного капитализма пронизывают все иерархические формы, выработанные и чрезмерно развитые буржуазным обществом. Иерархические формы, веками питавшие собственническое общество и способствовавшие его развитию, – государство, город, централизованная экономика, бюрократия, патриархальная семья, рынок — достигли своего исторического предела. Они исчерпали

свои социальные функции как способы стабилизации. Вопрос не в том, были ли эти иерархические формы когда-либо «прогрессивными» в марксистском смысле этого слова. Как заметил Рауль Ванейгем: «Возможно, недостаточно сказать, что иерархическая власть сохраняла человечество на протяжении тысячелетий, как алкоголь сохраняет плод, останавливая либо рост, либо его разложение». Сегодня эти формы представляют собой мишень для всех революционных сил, порождённых современным капитализмом, и независимо от того, рассматривают ли их исход как ядерную катастрофу или экологическую катастрофу, они угрожают самому выживанию человечества.

С превращением иерархических форм в угрозу самому существованию человечества общественная диалектика, отнюдь не аннулированная, обретает новое измерение. Она ставит «социальный вопрос» совершенно по-новому. Если человек должен был обрести условия выживания, чтобы жить (как подчёркивал Маркс), то теперь он должен приобрести условия жизни, чтобы выжить. В результате такой инверсии отношений между выживанием и жизнью революция приобретает новую актуальность. Мы больше не стоим перед знаменитым выбором Маркса: социализм или варварство; мы сталкиваемся с более радикальными альтернативами — анархизм или уничтожение. Проблемы необходимости и выживания стали конгруэнтны проблемам свободы и жизни. Они перестали нуждаться в теоретическом посредничестве, «переходных» этапах или централизованных организациях, призванных преодолеть разрыв между существующим и возможным. Возможное, по сути, — это все, что может существовать. Таким образом, проблемы «перехода», которые занимали марксистов на протяжении почти столетия, устраняются не только развитием техники, но и самой общественной диалектикой. Проблемы социальной реконструкции сводятся к практическим задачам, которые могут быть решены спонтанно путём самоосвободительных действий общества.

Революция, по сути, обретает не только новую актуальность, но и новое чувство перспективы. В трайбализме хиппи, в бродяжническом образе жизни и свободной сексуальности миллионов молодых людей, в спонтанных группах анархистов мы находим формы утверждения, которые следуют из актов отрицания. С инверсией «социального вопроса» происходит и инверсия общественной диалектики; «ага» возникает автоматически и одновременно с «неа».

Решения берут своё начало в проблемах. Когда в истории наступает момент, когда государство, город, бюрократия, централизованная экономика, патриархальная семья и рынок достигают своего исторического предела, встаёт вопрос уже не об изменении формы, а об абсолютном отрицании всех иерархических форм как таковых. Абсолютное отрицание государства — это анархизм, ситуация, в которой люди освобождают не только «историю», но и все непосредственные обстоятельства своей повседневной жизни. Абсолютным отрицанием города является коммуна — община, в которой социальная среда децентрализована в компактные, экологически сбалансированные коммуны. Абсолютное отрицание бюрократии — непосредственные, а не опосредованные отношения — ситуация, в которой представительство заменяется отношениями лицом к лицу на общем собрании свободных индивидов. Абсолютным отрицанием централизованной экономики является региональная экотехнология — ситуация, в которой инструменты производства подстраиваются под ресурсы экосистемы. Абсолютное отрицание патриархальной семьи —

это освобождённая сексуальность, в которой все формы сексуального регулирования преодолеваются спонтанным, ничем не ограниченным проявлением эротизма среди равных. Абсолютным отрицанием рынка является коммунизм, при котором коллективное изобилие и сотрудничество превращают труд в игру, а потребность — в желание.

Спонтанность и утопия

Не случайно в тот момент истории, когда иерархическая власть и манипуляции достигли самых угрожающих масштабов, сами понятия иерархии, власти и манипуляций ставятся под сомнение. Вызов этим понятиям исходит из нового осознания важности спонтанности — нового осознания, подпитываемого экологией, возросшей концепцией саморазвития и новым пониманием революционного процесса в обществе.

Экология показала, что равновесие в природе достигается за счёт органической вариативности и сложности, а не за счёт однородности и упрощения. Например, чем разнообразнее флора и фауна в экосистеме, тем стабильнее популяция потенциального вредителя. Чем больше уменьшается разнообразие окружающей среды, тем сильнее колеблется популяция потенциального вредителя, и есть вероятность, что она выйдет из-под контроля. Предоставленная сама себе, экосистема спонтанно стремится к органической дифференциации, большему разнообразию флоры и фауны, а также к разнообразию в количестве хищников и жертв. Это не означает, что необходимо избегать вмешательства человека. Необходимость продуктивного сельского хозяйства, которое само по себе является формой вмешательства в природу, всегда должна оставаться на переднем плане экологического подхода к выращиванию продуктов питания и управлению лесами. Не менее важен и тот факт, что человек часто может произвести в экосистеме изменения, которые значительно улучшат её экологическое качество.

Но эти усилия требуют пронизательности и понимания, а не грубой силы и манипуляций.

Эта концепция управления, это новое отношение к важности спонтанности, имеет далеко идущие последствия для технологии и сообщества — и более того, для социального образа человека в освобождённом обществе. Она бросает вызов капиталистическому идеалу сельского хозяйства как фабрики, организованной вокруг огромных, централизованно контролируемых земельных владений, высокоспециализированных форм монокультуры, сведения местности к заводскому цеху, замены химических процессов органическими, использования рабского труда (gang-labor) и т. д. Для того чтобы выращивание продуктов питания стало способом сотрудничества с природой, а не соревнованием противников, агроном должен досконально изучить экологию земли; он должен обрести новую чувствительность к её потребностям и возможностям. Это предполагает сведение сельского хозяйства к человеческому масштабу, восстановление сельскохозяйственных единиц умеренного размера и диверсификацию сельскохозяйственной ситуации; короче говоря, это предполагает децентрализованную, экологическую систему выращивания продуктов питания.

Аналогичные рассуждения применимы и к борьбе с загрязнением окружающей среды. Развитие гигантских заводских комплексов и использование одно- или двухэнергетических источников являются причиной загрязнения атмосферы. Только развитие небольших промышленных предприятий и диверсификация источников энергии за счёт широкого использования экологически чистой энергии (солнечной, ветровой и водной) позволит снизить уровень промышленного загрязнения. Средства для таких радикальных технологических изменений уже имеются. Технологи разработали миниатюрные заменители крупных промышленных предприятий — небольшие универсальные машины и сложные методы преобразования энергии солнца, ветра и воды в энергию, пригодную для использования в промышленности и дома. Эти заменители зачастую более производительны и менее расточительны, чем существующие сегодня крупные предприятия. (3)

Последствия мелкого сельского хозяйства и промышленности для общества очевидны: если человечество хочет использовать принципы, необходимые для управления экосистемой, основная ячейка общественной жизни должна сама стать экосистемой — экосообществом. Оно также должно стать диверсифицированным, сбалансированным и всесторонне развитым. Эта концепция сообщества отнюдь не продиктована исключительно потребностью в прочном балансе между человеком и миром природы; она также согласуется с утопическим идеалом «всесторонне развитого человека» — индивида, чья чувствительность, диапазон опыта и образ жизни подпитываются широким спектром стимулов, разнообразием деятельности и социальным масштабом, который всегда остаётся в пределах понимания одного человека. Таким образом, средства и условия выживания становятся средствами и условиями жизни; потребность превращается в желание, а желание — в потребность. Достигается момент, когда величайшее социальное разложение становится источником высшей формы социальной интеграции, объединяющей самые насущные экологические потребности с самыми высокими утопическими идеалами.

Если верно, как отмечает Ги Дебор, что «повседневная жизнь — это мера всего: наполнения или, скорее, ненаполнения человеческих отношений, использования нашего времени», то возникает вопрос: Кто такие «мы», чья повседневная жизнь должна быть реализована? И как возникает освобождённое «я», способное превратить время в жизнь, пространство — в сообщество, а человеческие отношения — в нечто чудесное? Освобождение личности — это, прежде всего, общественный процесс. В обществе, которое превратило личность в товар — в предмет, производимый для обмена, — не может быть полноценной личности. Там могут быть только её зачатки, зарождение личности, которая стремится к самореализации — личности, которая в значительной степени определяется препятствиями, которые она должна преодолеть, чтобы достичь реализации. В обществе, внутренности которого до предела переполнены революцией, чьё хроническое состояние — это нескончаемая череда родовых болей, чьё реальное состояние — это нарастающая чрезвычайная ситуация, только одна мысль и действие актуальны — рождение ребёнка. Любая среда, частная или общественная, которая не делает этот факт центром человеческого опыта, является притворством и уменьшает то «я», которое остаётся у нас после того, как мы впитали ежедневный яд повседневной жизни в буржуазном обществе.

Совершенно очевидно, что целью революции сегодня должно быть освобождение повседневной жизни. Любая революция, которая не достигает этой цели, является

контрреволюцией. Прежде всего, освобождаться должны мы сами, наша повседневная жизнь со всеми её моментами, часами и днями, а не такие универсалии, как «история» или «общество». (4)

Я всегда должно быть идентифицируемо в революции, а не подавлено ею. Я всегда должно быть ощутимо в революционном процессе, а не погружено в него. В «революционном» лексиконе нет более зловещего слова, чем «массы». Революционное освобождение должно быть самоосвобождением, достигающим социальных масштабов, а не «освобождением масс» или «освобождением классов», за которым скрывается господство элиты, иерархии и государства. Если революция не создаёт новое общество путём своей активности и самомобилизации революционеров, если она не включает в революционный процесс формирование себя, то революция снова обойдёт тех, кому предстоит жить каждый день, и оставит повседневную жизнь незатронутой. Из революции должно возникнуть Я, которое полностью овладеет повседневной жизнью, а не повседневная жизнь, которая снова полностью овладеет Я. Таким образом, наиболее развитой формой классового сознания становится самосознание — конкретизация великих освобождающих универсалий в повседневной жизни.

Уже по одной этой причине революционное движение глубоко озабочено образом жизни. Оно должно стараться жить революцией во всей её полноте, а не только участвовать в ней. Оно должно быть глубоко озабочено образом жизни революционера, его отношениями с окружающей средой и степенью его самоэмансипации. Стремясь изменить общество, революционер не может избежать изменений в самом себе, требующих отвоевания собственного бытия. Как и движение, в котором он участвует, революционер должен стараться отражать условия общества, к которому он стремится, – по крайней мере, в той степени, в какой это возможно сегодня.

Предательства и неудачи последнего полувека сделали аксиомой тот факт, что нельзя отделять революционный процесс от революционной цели. Общество, основной целью которого является самоуправление во всех сферах жизни, может быть достигнуто только путём самостоятельной деятельности. Это предполагает такой способ управления, который всегда принадлежит самому себе. Власть человека над человеком может быть уничтожена только тем процессом, в котором человек обретает власть над своей собственной жизнью и в котором он не только «открывает» себя, но, что более значимо, в котором он формулирует свою самость во всех её социальных измерениях.

Либертарианское общество может быть достигнуто только путём либертарианской революции. Свобода не может быть «доставлена» человеку как «конечный продукт революции»; собрание и сообщество не могут быть созданы законодательно или декретом. Революционная группа может целенаправленно и сознательно стремиться к созданию этих форм, но если не позволить собранию и сообществу возникнуть органически, если их рост не будет вызревать в процессе демассификации, самодеятельности и самореализации, они останутся лишь формами, как Советы в послереволюционной России. Собрание и община должны возникнуть в рамках революционного процесса; более того, революционный процесс должен быть формированием собрания и общины, а также уничтожением власти, собственности, иерархии и эксплуатации.

Революция как самодеятельность не является уникальным явлением для нашего времени. Она является главной чертой всех великих революций в современной истории. Ею отмечены путешествия санкюлотов в 1792-х и 1793-х годах, знаменитые «пять дней» февраля 1917-го года в Петрограде, восстание пролетариата Барселоны в 1936-м году, первые дни Венгерской революции 1956-го года, майско-июньские события в Париже 1968-го года. Почти каждое революционное восстание в истории нашего времени было инициировано спонтанной самодеятельностью «масс» – часто вопреки нерешительной политике, проводимой революционными организациями. Каждая из этих революций была отмечена необычайной индивидуальностью, радостью и солидарностью, которые превращали повседневную жизнь в праздник. Это сюрреалистическое измерение революционного процесса, с его взрывом глубинных либидных сил, недобро ухмыляется со страниц истории, как лицо сатира на мерцающей воде. Недаром большевистские комиссары в ночь на 7-е ноября 1917-го года разбили винные бутылки в Зимнем дворце.

Пуританство и трудовая этика традиционных левых обусловлены одной из самых мощных сил, противостоящих революции сегодня, – способностью буржуазной среды проникать в революционные рамки. Истоки этой силы лежат в товарной природе человека при капитализме — качестве, которое почти автоматически переносится на организованную группу и которое группа, в свою очередь, укрепляет в своих членах. Как подчёркивал покойный Йозеф Вебер, все организованные группы «имеют тенденцию становиться автономными, то есть отчуждаться от своей первоначальной цели и превращаться в самоцель в руках тех, кто ими управляет». Это явление в равной степени относится как к революционным организациям, так и к государственным и полу-государственным институтам, официальным партиям и профсоюзам.

Проблема отчуждения никогда не может быть полностью решена в отрыве от самого революционного процесса, но от неё можно защититься путём острого осознания того, что проблема существует, и частично решить её путём добровольной, но радикальной переделки революционера и его группы. Эта перестройка может начаться только тогда, когда революционная группа осознает, что она является катализатором революционного процесса, а не «авангардом». Революционная группа должна чётко понимать, что её цель — не захват власти, а её ликвидация — более того, она должна понимать, что вся проблема власти, контроля снизу и контроля сверху, может быть решена только в том случае, если не будет ни сверху, ни снизу.

Прежде всего, революционная группа должна избавиться от форм власти — статуты, иерархии, собственности, предписанных мнений, фетишей, атрибутики, официального этикета — как и от самых тонких, и от самых очевидных бюрократических и буржуазных черт, которые сознательно и бессознательно укрепляют власть и иерархию. Группа должна оставаться открытой для общественного контроля не только в своих сформулированных решениях, но и в самой их формулировке. Она должна быть последовательной в том глубоком смысле, что её теория является её практикой, а практика — её теорией. Она должна отказаться от всех товарных отношений в своём повседневном существовании и формировать себя в соответствии с децентрализующими организационными принципами того самого общества, к которому она стремится, – общины, собрания, спонтанности. Оно должно, по замечательному выражению Йозефа Вебера, «всегда отличаться простотой и

ясностью, всегда тысячи неподготовленных людей могут войти в него и руководить им, всегда оно остаётся прозрачным для всех и контролируемым всеми». Только тогда, когда революционное движение будет конгруэнтно децентрализованному сообществу, к которому оно стремится, оно сможет избежать превращения в ещё одно элитарное препятствие на пути общественного развития и раствориться в революции, как хирургическая нить в заживающей ране.

Перспектива

Самый важный процесс, происходящий сегодня в Америке, – это масштабная деинституционализация буржуазной социальной структуры. Развивается базовое, далеко идущее неуважение и глубокая нелояльность к ценностям, формам, устремлениям и, прежде всего, к институтам установленного порядка. В беспрецедентных для американской истории масштабах миллионы людей теряют свою приверженность обществу, в котором они живут. Они больше не верят в его утверждения. Они больше не уважают его символы. Они больше не принимают его цели, и, что особенно важно, они почти интуитивно отказываются жить в соответствии с его институциональными и социальными нормами. Этот растущий отказ очень глубок. Он простирается от противостояния войне до ненависти к политическим манипуляциям во всех их формах. Начиная с неприятия расизма, он ставит под сомнение само существование иерархической власти как таковой. Неприятие ценностей и образа жизни среднего класса быстро перерастает в неприятие товарной системы; от раздражения по поводу загрязнения окружающей среды оно переходит к неприятию американского города и современного урбанизма. Короче говоря, он стремится выйти за рамки любой партикулярной критики общества и превратиться в обобщённую оппозицию буржуазному порядку во все более широком масштабе.

В этом отношении период, в котором мы живём, очень напоминает революционное Просвещение, охватившее Францию в 18-м веке, — период, который полностью переработал французское сознание и подготовил условия для Великой революции 1789-го года. Тогда, как и сейчас, старые институты медленно разрушались молекулярным движением снизу задолго до того, как они были свергнуты массовым революционным движением. Это молекулярное движение создаёт атмосферу всеобщего беззакония: растущее личное повседневное неповиновение, тенденция не «идти на поводу» у существующей системы, кажущиеся «мелкими», но тем не менее критические попытки обойти ограничения в каждом аспекте повседневной жизни. Общество, по сути, становится беспорядочным, недисциплинированным, дионисийским — состояние, которое наиболее ярко проявляется в росте числа должностных преступлений. Развивается обширная критика системы — собственно, Просвещение, два века назад, и масштабная критика, существующая сегодня, — которая просачивается вниз и ускоряет молекулярное движение у основания. Будь то гневный жест, «бунт» или сознательное изменение образа жизни, все большее число людей — у которых не больше приверженности к организованному революционному движению, чем к самому обществу, — начинают спонтанно заниматься собственной вызывающей пропагандой делом.

В своих конкретных деталях распадающийся социальный процесс подпитывается из многих источников. Процесс развивается со всей неравномерностью, со всеми противоречиями, которые присущи каждому революционному течению. Во Франции 18-го века радикальная идеология колебалась между жёстким сциентизмом и небрежным романтизмом. Понятия свободы опирались на точный, логичный идеал самоконтроля, а также на смутную, инстинктивную норму спонтанности. Руссо враждовал с Гольбахом, Дидро — с Вольтером, но в ретроспективе мы видим, что один не только превосходил, но и предполагал другого в кумулятивном развитии к революции.

Такое же неравномерное, противоречивое и кумулятивное развитие происходит и сегодня, причём во многих случаях оно идёт по удивительно прямому пути. Движение «битников» пробило самую важную брешь в прочных ценностях среднего класса 1950-х годов, брешь, которая была в значительной мере расширена незаконными действиями пацифистов, борцов за гражданские права, сопротивляющихся призыву и длинноволосых. Более того, чисто реактивная реакция бунтующей американской молодёжи породила бесценные формы либертарианского и утопического утверждения — право заниматься любовью без ограничений, цель сообщества, отказ от денег и товаров, вера во взаимопомощь и новое уважение к спонтанности. Как бы ни было легко революционерам критиковать некоторые подводные камни в этой ориентации личных и общественных ценностей, факт остаётся фактом: она сыграла подготовительную роль, имеющую решающее значение для формирования нынешней атмосферы недисциплинированности, спонтанности, радикализма и свободы.

Вторая параллель между революционным Просвещением и нашей эпохой — появление массы, так называемой «толпы», в качестве основного средства социального протеста. Типичные институционализированные формы общественного недовольства — в наше время это упорядоченные выборы, демонстрации и массовые собрания — постепенно уступают место прямым действиям толпы. Этот переход от предсказуемых, высокоорганизованных протестов в институционализированных рамках существующего общества к спорадическим, спонтанным, почти мятежным нападениям извне (и даже против) социально приемлемых форм отражает глубокие изменения в народной психологии. «Бунтарь» начал, пусть частично и интуитивно, порывать с теми укоренившимися нормами поведения, которые традиционно приковывали «массы» к установленному порядку. Он активно избавляется от интернализированной структуры авторитета, от долго вырабатываемых условных рефлексов, от модели подчинения, поддерживаемой чувством вины, которые привязывают человека к системе даже более эффективно, чем страх перед полицейским насилием и судебной расправой. Вопреки мнению социальных психологов, которые видят в этих способах прямого действия подчинение индивида ужасающему коллективному существу под названием «толпа», правда заключается в том, что «беспорядки» и действия толпы представляют собой первые шаги массы к индивидуации. Масса имеет тенденцию к демассификации в том смысле, что она начинает утверждать себя против действительно образующих массы автоматических реакций, производимых буржуазной семьёй, школой и средствами массовой информации. В то же время действия толпы предполагают открытие улиц заново и усилия по их освобождению. В конечном счёте, именно на улицах должна быть растворена власть: ведь улицы, где повседневная жизнь терпит, страдает и разрушается, где власть противостоит и борется, должны превратиться в область, где люди наслаждаются, создают

и подпитывают повседневную жизнь. Восставшая толпа положила начало не только спонтанной трансформации частного бунта в общественный, но и возвращению от абстракций социального бунта к вопросам повседневной жизни.

Наконец, как и в эпоху Просвещения, мы наблюдаем появление огромной и постоянно растущей прослойки деклассированных слоёв — люмпенизированных индивидов, приходящих из всех слоёв общества. Хронически погрязшие в долгах и социально незащищённые средние классы нашего периода можно сравнить с хронически неплатёжеспособным и взбалмошным дворянством предреволюционной Франции. Как и тогда, так и сейчас, образованные люди жили на свободе, не имея ни постоянной карьеры, ни устоявшихся социальных корней. На дне обеих структур мы находим огромное количество хронических бедняков — бродяг, бродяжек, людей с неполной занятостью или вообще без работы, угрожающих, неуправляемых саскюлотов, выживающих за счёт государственной помощи и отходов, выбрасываемых обществом, — нищих парижских трущоб, негров американских гетто. Но на этом все параллели заканчиваются. Французское Просвещение относится к периоду революционного перехода от феодализма к капитализму — обоим обществам, основанным на экономическом дефиците, классовом господстве, эксплуатации, социальной иерархии и государственной власти. Повседневное народное сопротивление, характерное для 18-го века и вылившееся в открытую революцию, вскоре было дисциплинировано зарождающимся индустриальным порядком — а также голой силой. Огромная масса деклассированных и санкюлотов была в значительной степени поглощена фабричной системой и укрощена промышленной дисциплиной. Прежде беспринципная интеллигенция и свободные дворяне заняли прочные места в экономической, политической, социальной и культурной иерархии нового буржуазного порядка. Из изменчивого в социальном и культурном отношении состояния, весьма обобщённого в своей структуре и отношениях, общество вновь застыло в жёстких, партикулярных классовых и институциональных формах — классическая викторианская эпоха возникла не только в Англии, но и, в той или иной степени, во всей Западной Европе и Америке. Критика превратилась в апологию, бунт — в реформы, классы — в чётко определённые классы, а «толпы» — в политические электораты. «Бунты» превратились в благовоспитанные процессии, которые мы называем «демонстрациями», а спонтанные прямые действия — в избирательные ритуалы.

Наша эпоха также является переходной, но с глубоким и новым отличием. Во время последнего из своих великих восстаний санкюлоты Французской революции поднялись под пламенным лозунгом: «Хлеб и конституция 93-го года!». Чёрные санкюлоты американских гетто поднимаются под лозунгом: «Чёрное — это красиво!». Между этими двумя лозунгами лежит развитие беспрецедентной важности. Деклассированные общества 18-го столетия сформировались в период медленного перехода от сельскохозяйственной к индустриальной эпохе; они возникли в результате паузы в историческом переходе от одного режима труда к другому. Спрос на хлеб мог прозвучать в любой момент эволюции собственного общества. Новые классы двадцатого века создаются в результате банкротства всех социальных форм, основанных на труде. Они являются конечным продуктом самого процесса становления собственного общества и социальных проблем материального выживания. В эпоху, когда технологический прогресс и кибернетика поставили под вопрос эксплуатацию человека человеком, труд и материальные потребности в любой форме,

возгласы «Чёрное — это красиво» или «Занимайтесь любовью, а не войной» знаменуют собой трансформацию традиционного требования выживания в исторически новое требование жизни. (5)

В основе каждого социального конфликта в Соединённых Штатах сегодня лежит требование реализации всех человеческих потенциалов в рамках всесторонне совершенного, сбалансированного, всеохватывающего образа жизни. Короче говоря, потенциал революции в Америке теперь заложен в потенциале самого человека.

Мы являемся свидетелями крушения полуторавековой обуржуазивания и разрушения всех буржуазных институтов в тот момент истории, когда самые смелые утопические концепции становятся осуществимыми. И нынешний буржуазный порядок не может заменить разрушение своих традиционных институтов ничем, кроме бюрократического манипулирования и государственного капитализма. Наиболее драматично этот процесс разворачивается в США. В течение чуть более, чем двух десятилетий мы наблюдаем крах «американской мечты», или, что то же самое, неуклонное разрушение в Соединённых Штатах мифа о том, что материальное изобилие, основанное на товарных отношениях между людьми, может скрыть нищету, присущую буржуазной жизни. Завершится ли этот процесс революцией или уничтожением, во многом будет зависеть от способности революционеров расширить общественное сознание и защитить спонтанность революционного развития от авторитарных идеологий, как «левых», так и правых.

Примечания

1) Стоит отметить, что возникновение «общества потребления» даёт нам замечательное доказательство разницы между промышленным капитализмом времён Маркса и современным государственным капитализмом. По мнению Маркса, капитализм как система, организованная по принципу «производство ради производства», приводит к экономической деградации пролетариата. Сегодня «производство ради производства» сосуществует с «потреблением ради потребления», в котором обнищание принимает не экономическую, а духовную форму — это голод жизни.

2) Экономические противоречия капитализма не исчезли, но система может планировать их до такой степени, что они уже не будут иметь тех взрывных характеристик, которые были в прошлом.

3) Для более детального обсуждения «миниатюрных» технологий смотри «Towards a Liberatory Technology».

4) Несмотря на свою приверженность диалектике, традиционным левым ещё предстоит воспринять гегелевское «конкретное всеобщее» всерьёз и начаться рассматривать его не просто как философскую концепцию, а как социальную программу. Это было сделано только в ранних работах Маркса, в трудах великих утопистов (Фурье и Уильяма Морриса) и, в наше

время, бродяжничающей молодёжью.

5) Эти строки были написаны в 1966-м году. С тех пор мы видели граффити на стенах Парижа во время майско-июньской революции: «Вся власть воображению»; «Я принимаю свои желания за реальность, потому что верю в реальность своих желаний»; «Никогда не работай»; «Чем больше я занимаюсь любовью, тем больше хочу совершить революцию»; «Жизнь без мёртвого времени»; «Чем больше ты потребляешь, тем меньше живёшь»; «Культура — это инверсия жизни»; «Счастье не покупают, его крадут»; «Общество — это плотоядный цветок». Это не граффити, это — программа жизни и желания.

Анархия и организация.

Письмо «левым»

1969, источник: [здесь](#)

Этот текст — как бы ответ Букчина на упреки одного из лидеров партии “Черные пантеры”, Хьюи Ньютона.

Существует древний миф, согласно которому анархисты не верят в способность организаций стать проводниками революционной деятельности. Он был поднят Маркузе в интервью L'Express несколько месяцев назад и вновь озвучен Хью Ньютоном в его работе “В защиту Самозащиты”, которую NEW LEFT NOTES решили переиздать в недавнем выпуске National Convention. Спорить по вопросу: “организация” или “неорганизация” нелепо; эта проблема никогда не была предметом спора для серьезных анархистов, возможно, кроме как для тех одиноких “индивидуалистов”, чья идеология основана в большей мере на радикальном варианте классического либерализма, нежели на анархизме. Да, анархисты верят в организации — в национальные организации, в международные организации. Анархистские же организации, в свою очередь, ранжируются от обособленных, высоко децентрализованных групп, до целых движений, насчитывающих тысячи сторонников (как, например, испанская FAI).

Перед нами стоит не вопрос выбора “организация” или “неорганизация”, а скорее вопрос формы этой организации. У различных анархистских организаций есть одна общая черта — они по своей сути спонтанно развиваются “снизу”, вместо того чтобы их конструировали “сверху”. Это — социальные движения, сочетающие в себе творческий революционный образ жизни с созидательной революционной теорией, а не политические партии, чье существование неотделимо от окружающей буржуазной среды, а вся идеология сокращена до непоколебимых испытанных и проверенных программ. Они пытаются сделать все возможное, чтобы построить свободное общество, без рабского подражания системе превалирования иерархии, класса, и власти в целом. Эти движения образуются вокруг близких групп братьев и сестер, чья способность действовать обычно базируется на инициативе, свободных убеждениях, и глубокой личной вовлеченности, а не на бюрократическом аппарате, реализованном в покорном членстве и управляемым горсткой всезнающих “лидеров”.

Я не знаю, кого Хью имеет в виду, говоря об “анархистах”, которые верят, что “индивидуальное самовыражение” — это все что нужно для достижения свободы. Может быть Тима Лери? Или Аллена Гинзберга? Или “Битлз”? И при этом мне не ясно, где Хью раздобыл факты о французском восстании в мае-июне. “Коммунистическая и другие прогрессивные французские левые партии” не просто “плелись позади толпы”, как

утверждает Хью; эти “дисциплинированные” и “централизованные” организации любыми способами пытались препятствовать революции и перенаправить ее в традиционное парламентское русло. Даже “дисциплинированная”, “централизованная” троцкистская FER и маоистские группы оказывали сопротивление революционным представителям студенчества как “ультралевым”, “авантюристским”, и “утопическим” вплоть до первых уличных боев в мае. Характерно, что большинство “дисциплинированных”, “централизованных” левых организаций Франции также отвратительно волочилось позади событий, а в случае “Коммунистической и прогрессивных партий” — и вовсе бесстыдно выдавали студентов и рабочих системе.

Я нахожу любопытным, что, Хью, обвиняя французские сталинистские группы в пассивности, возлагает на анархистов и Дэнни Кон-Бендита ответственность за людей, “вынужденных возвратиться к Де Голлю”. Я посетил Францию вскоре после восстания, и я могу без труда доказать, как решительно Дэнни Кон Бендит, “Движение 22 марта” и анархисты пытались взамен правительству Де Голля разработать собственные формы собраний и комитеты действий, что и реализовалось в “структурной программе” (в действительности же, вышедшей далеко за рамки простой “программы”). Я мог бы также весьма ясно описать, как они пытались убедить рабочих продолжать удерживать фабрики и устанавливали прямые экономические отношения с крестьянами: короче говоря, как они пробовали заменить французскую политическую и экономическую структуру созидательными, жизнеспособными революционными формами. Именно здесь они постоянно наталкивались на преграды со стороны “дисциплинированных”, “централизованных” французских партий левого толка, в том числе и множества троцкистских и маоистских сект.

Существует также и другой миф, который должен быть развеян — он заключается в том, что социальные революции были проведены строго дисциплинированными лицами, под высоко централизованным руководством. Все великие социальные революции — результат глубинных исторических сил и противоречий, в которые революционеры и их организации вносят очень небольшой вклад. Сами же революции вспыхивают спонтанно. “Самая правильная партия” обычно остается в стороне от этих событий — и, только если восстание заканчивается победой, она принимает на себя командование и управление, и неизменно извращает достигнутые результаты. Кроме того, когда революция достигнет своего реального пика, будет ли эта “выдающаяся партия” воссоздавать другую систему иерархии, контроля и власти в своей священной миссии “защитить революцию”, или она растворится в революции вместе с иерархией, господством и властью как таковой? Если каталитическая функция революционной организации выполнена, она либо растворяется в народных формах общественного устройства, созданных революцией, либо становится проводником через который пережитки прошлого вносятся в революцию, самодостаточным организмом, государственной машиной, которая сохраняет все отжившие условия для собственного существования.

Надумано также и утверждение о том, что якобы сильно “централизованная” и “дисциплинированная” партия способствует успеху революции. Большевики были расколоты, раздроблены и пронизаны фракционной борьбой с октября 1917 до марта 1921. Как ни странно, Ленин сумел полностью централизовать и дисциплинировать свою партию

только после того, как последние части Белой армии были вытеснены из России. И все это происходило на фоне бесконечных предательств иерархических, “дисциплинированных”, высоко “централизованных” левых партий. Они непреклонно исходили из факта, что каждая организация (какой бы революционной ни была ее риторика, и какими бы благими ни были ее цели), структурно моделирующая себя по прообразу той системы, которую она стремится свергнуть, ассимилируется и разрушается буржуазными отношениями.

Несомненно, существуют проблемы, которые могут быть разрешены только в рамках комитетов, координации, и высокого уровня самодисциплины. Для анархистов деятельность таких комитетов должна быть сведена к решению практических задач (ради чего они и существуют), и они должны исчезнуть, как только их цели будут достигнуты. Координация и самодисциплина должны быть достигнуты добровольно, на основании высокого морального и интеллектуального уровня революционера. Не нужно отождествлять понятие “революционер” с бездушным роботом, продуктом авторитарной подготовки, манипулируемым агентом, чьи личные качества, особенности характера и мировоззрение являются совершенно чуждыми, более того, резко противоположными любому обществу, которое могло бы хоть с натяжкой быть названо свободным.

Любой серьезный анархист, конечно, согласится с заявлением Хью относительно “необходимости замены империалистических структур организованными группами”. Мы должны действовать вместе, если это возможно. Мы должны также отдавать себе отчет в том, что в Соединенных Штатах, центре мирового империализма сегодня, экономика и технологии развиты настолько, что это почти за одну ночь может снять все проблемы, ради решения которых, согласно Марксу, и необходимо государство. Было бы ужасной ошибкой оценивать экономику потенциального изобилия и компьютеризацию производства с теоретических позиций, которые укоренились еще в технологическую эру угля, неразвитых механизмов, долгих часов тяжелого труда и материального недостатка. Сейчас настало время прекратить попытки учиться на примерах Китая Мао и Кубы Ф. Кастро — и посмотреть на экономическую действительность, находящуюся прямо у нас под носом, чтобы насладиться тем, как вскоре американский буржуазный колосс будет опрокинут, и его ресурсы будут поставлены на служение человечеству.

К освободительным технологиям

1986, источник: [здесь](#)

Со времени промышленной революции отношение людей к технологии никогда не колебалось так сильно, как в последние пару десятилетий. Большую часть 20-х годов и даже в 30-х годах общественное мнение восторженно приветствовало технические новшества и отождествляло благосостояние человечества с современным индустриальным прогрессом. Это был период, когда апологеты СССР могли оправдывать жесточайшие методы и худшие преступления Сталина хотя бы одним лишь тем, что представляли его в роли «индустриализатора» современной России. Это был также период, когда наиболее эффективная критика капиталистического общества могла опираться на жестокие и очевидные факты экономической и технологической стагнации в США и Западной Европе. Многим людям казалось, что есть прямая, пропорциональная связь между технологическим и социальным прогрессом. Фетишизм слова «индустриализация» оправдывал самый большой разбой в экономических планах и программах.

Сегодня мы расценили бы такое отношение как наивное. Чувства большинства людей (за исключением разве что технологов и специалистов в области естественных наук, которые разрабатывают соответствующие приборы) по отношению к техническим инновациям можно охарактеризовать как шизоидные, расколотые на грызущий страх перед атомным уничтожением, с одной стороны, и тягу к материальному изобилию, досугу и безопасности, с другой... Технология, кажется, в разладе даже сама с собой. Атомная бомба противопоставляется ядерному реактору, межконтинентальная ракета — телевизионному спутнику. Одна и та же технологическая дисциплина норовит выступать то как враг, то как друг человечества. И даже науки, традиционно ориентированные на человека, такие как медицина, находятся в амбивалентной ситуации, о чем свидетельствуют обещания прогресса в химиотерапии и угрозы, вызванные исследованиями в области биологической войны.

Не удивительно, что противоречие между обещанием и угрозой все больше решается в духе угрозы через общее негативное отношение к технике. Технология все больше рассматривается как демон, который, обладая собственной жизнью, угрожает если не уничтожить совсем, то механизировать человека. Глубокий пессимизм, порожаемый таким взглядом, часто не менее близорук, чем оптимизм, преобладавший в предыдущие десятилетия. Существует весьма реальная опасность, что мы утратим перспективу в том, что касается технологии, упустим ее освободительные тенденции и, что еще хуже, фаталистически покоримся ее использованию в целях разрушения. Если мы не хотим быть парализованными этим новым социальным фатализмом, то нам следует найти противовес.

Цель данной статьи — исследовать три вопроса. В чем состоит освободительный потенциал современной технологии — как в материальном, так и в духовном отношении? Какие тенденции (если они существуют) заложены в машине и позволяют так преобразовать ее, чтобы она стала пригодной для использования в органичном, ориентированном на человека обществе? И, наконец, как новые технологии и сырьевые материалы могут быть использованы экологическим образом, то есть способствуя равновесию природы, полному развитию естественных регионов и созданию органических человеческих?

Акцент в этих заметках следует сделать на слове «потенциально». Я не утверждаю, что технология необходимым образом является освободительной или постоянно благодетельной для развития человека. Но я самым определенным образом не разделяю мнения, что человек обречен на порабощение технологией и технологическим мышлением (как утверждают в соответствующих книгах Юнгер и Эллюль[1]*). Я же, напротив, попытаюсь доказать, что органический образ жизни столь же мало возможен без свой технологической стороны, как человек без скелета. Технологию следует рассматривать как основополагающую структурную опору общества; она в полном смысле слова является рамками экономики и многих социальных институтов.

Технология и свобода

1848 год выделяется из всех остальных как поворотный пункт в истории современных революций. Это был год, когда состоялся дебют марксизма с его «Коммунистическим манифестом» в роли отдельной идеологии, и когда пролетариат в лице парижских рабочих на июньских баррикадах впервые выступил как самостоятельная политическая сила. Можно сказать также, что в 1848 году, почти в самой середине XIX столетия, был отмечен пик традиционной, основанной на силе пара технологии, которая полутора столетиями раньше была введена новой машиной.

В конвергенции этих идеологических, политических и технологических ориентиров бросается в глаза, насколько «Коммунистический манифест» и июньские баррикады опередили свое время. В 1840-е годы промышленная революция ограничивалась тремя сферами хозяйства: текстильным производством, изготовлением железа и транспортом. Изобретение прядильной машины Аркрайта, паровой машины Уатта и механического ткацкого станка Картрайта ввело фабричную систему в текстильной промышленности; одновременно ряд коренных новшеств в технике изготовления железа обеспечил снабжение дешевыми и высококачественными металлами, необходимыми для экспансии фабрик и железных дорог. Но эти новшества, какими бы значительными они ни были, не сопровождались соответствующими изменениями в других областях индустриальной технологии. Ведь, во-первых, лишь немногие паровые машины превышали мощность в 15 л.с., а даже самые лучшие доменные печи давали не намного больше 100 тонн железа в неделю – ничтожно мало по сравнению с тысячами тонн в день, производимыми современными доменными печами. Что еще важнее: остальные области хозяйства все еще не были в значительных масштабах охвачены технологическими новшествами. К примеру, методы добычи полезных ископаемых в горном деле мало изменились со времен эпохи Возрождения. Рудокоп все еще обрабатывал рудоносные жилы с помощью кирки и лома, а

насосы по откачке воды, системы вентиляции и техники добычи не слишком улучшились по сравнению с теми, какие были описаны в классическом произведении Агриколы о рудном деле, которое было написано за 300 лет до этого. Сельское хозяйство еще только просыпалось из своего многовекового сна. Хотя для возделывания было уже расчищено много земли, исследования плодородия почвы оставались еще новшеством. Груз традиции и консерватизма все еще был настолько весом, что значительная часть урожая собиралась вручную, хотя уже в 1822 г. была изобретена механическая жатка. Здания, даже массивные и обильно украшенные, сооружались прежде всего с использованием чистой силы мускулов; основу строительной механики по-прежнему составляли блок и лебедка. Сталь все еще оставалась сравнительно редким металлом: даже в 1850 г. она стоила 250 долларов за тонну, и вплоть до изобретения бессемеровского конвертера процесс литья стали веками испытывал застой. И, наконец, хотя наблюдался прогресс в создании точных инструментов, стоит упомянуть о том, что попытки Чарльза Бэббиджа сконструировать усовершенствованную счетную машину потерпели неудачу из-за недостаточных технических возможностей эпохи.

Я потому собрал вместе все эти технические детали, что как заключенные в них возможности, так и их пределы оказали большое влияние на революционное мышление XIX столетия. Технологические новшества в текстильной и тяжелой промышленности придавали социалистической и утопической мысли новый смысл, перспективу на будущее и импульс. Революционным теоретикам казалось, что впервые в истории стало возможным обосновать их мечту об освобожденном обществе зримой перспективой материального изобилия и увеличения свободного времени для подавляющей массы людей. Социализм, заявляли теоретики, мог бы поэтому опереться на эгоистические устремления, а не на шаткие духовное и душевное благородство человеческой природы. Технологическое обновление превращало социалистический идеал из смутной гуманистической надежды в практическую программу.

Этот новообретенный практический характер побудил многих социалистических теоретиков, в особенности Маркса и Энгельса, вступить в сражение за границы техники их эпохи. Они столкнулись с главным стратегическим вопросом: во всех предшествующих революциях развитие техники еще не достигло той стадии, на которой можно освободить людей от материальной нужды, изнурительного труда и борьбы за жизненно необходимые блага. Какими бы светлыми и возвышенными ни были революционные идеалы прошлого, огромное большинство населения было бы обречено по-прежнему страдать под игом материальной нужды. Ему пришлось бы после революции вновь уйти с арены истории, вернуться к работе и передать организацию и управление обществом новому праздному эксплуататорскому классу. Любая попытка равномерно распределить общественное богатство на низком технологическом уровне не устранила бы нужду, но лишь распространила бы ее на все общество, создав тем самым предпосылки для новой борьбы за основы жизнеобеспечения, новые формы собственности и, в конечном счете, за новую систему классового господства. Развитие производительных сил – это «абсолютно необходимая практическая предпосылка коммунизма», писали Маркс и Энгельс в 1846 г., «потому что без него нехватка станет всеобщей, и с этой нехваткой необходимым образом воскреснут борьба за самое необходимое и вся старая мерзость».

Действительно, все утопии, теории и революционные программы начала XIX столетия сталкивались с проблемами нужды и дефицита: с тем, как на сравнительно низкой ступени технологического развития распределять материальные блага и как соотносить это распределение с трудом. Эти проблемы до такой степени пропитывали революционную мысль, что сравнить это можно лишь с влиянием идеи первородного греха в христианской теологии. То обстоятельство, что людям придется тратить значительную часть своего времени на тяжелый труд, который принесет им лишь скудные плоды, было одной из главных исходных посылок любых социалистических идеологий – либертарных и авторитарных, утопических и научных, марксистских и анархистских. В марксистском представлении о плановой экономике предполагался неоспоримый во времена Маркса факт: социализму все еще придется страдать от нехватки ресурсов. Людям потребуется планировать, а фактически ограничивать распределение благ и рационализировать, а на самом деле – интенсифицировать использование рабочей силы. Тяжкий труд станет при социализме обязанностью для каждого физически полноценного индивида. Такого строго взгляда придерживался даже Прудон, писавший: «Да, жизнь – это борьба. Но борьба не между человеком и человеком, а между человеком и природой; и долг каждого принять в ней участие». Этот аскетический, почти библейский упор на борьбе и долге отражает строгость социализма в эпоху индустриальной революции.

Проблема нехватки и труда – древняя проблема, извлеченная из забвения ранней индустриальной революцией – вызвала в революционных идеях крупный разрыв между социализмом и анархизмом. Свобода в момент революции все еще будет ограничена необходимостью. Как же «управлять» этим царством необходимости? Как принимать решения о распределении благ и обязанностей? Маркс передавал эти решения государственной власти – правда, «переходной» и «пролетарской», но, тем не менее, аппарату принуждения, который стоял бы над обществом. По Марксу, государству надлежало «отмирать» по мере развития технологии и расширения царства свободы, что должно было дать человечеству материальное богатство и свободное время, необходимое для контроля над собственной жизнью. Этот странный расчет, при котором государство выступало в роли посредника между необходимостью и свободой, в политическом отношении мало чем отличался от обычных тенденций буржуазно-демократического радикализма последних веков. Анархистская надежда на ликвидацию государства, со своей стороны, в значительной мере опиралась на веру в жизнеспособность общественных инстинктов человека. Бакунин, к примеру, полагал, что привычка побудит всех индивидов с антисоциальными наклонностями следовать коллективистским ценностям и требованиям, не побуждая общество прибегать к принудительным мерам. Кропоткин, приобретший в этой сфере предположений больше влияния на анархистов, ссылаясь на тягу человека к взаимопомощи – глубинный социальный инстинкт – как на гарантию солидарности в анархистском сообществе (эту концепцию он вывел из своего изучения эволюции животных и обществ)[2]*.

Как бы то ни было, остается фактом, что в обоих случаях – и в марксистском, и в анархистском – ответ на проблему нехватки и труда оставался двусмысленным. Царство необходимости напоминало о себе самым грубым образом, и от него нельзя было отделаться простой теорией и предположениями. Марксисты могли надеяться на то, что им удастся управлять необходимостью с помощью государства, а анархисты – на то, что они справятся

с ней в вольных общинах. Но в условиях ограниченного технологического развития минувшего века обоим течениям оставалось в вопросе нехватки и труда опираться, в конечном счете, на чистую веру. Анархисты могли возражать марксистам, что любое переходное государство, каким бы революционным оно ни было по своей риторике и какой бы демократичной ни была его структура, станет увековечивать свое собственное существование. Оно в потенциале стало бы самоцелью и защитником именно тех материальных и социальных условий, для преодоления которых и было создано. «Отмирание» подобного государства (то есть осуществление им своей собственной ликвидации) потребовало бы от его вождей и бюрократии сверхчеловеческих моральных качеств. Напротив, марксисты могли ссылаться на историю как на доказательство того, что привычка и социальные инстинкты никогда не служили надежной преградой перед давлением со стороны материальной нужды, атаками со стороны собственников или развитием эксплуатации и классового господства. Соответственно, они смотрели на анархизм как на этическую доктрину, оживляющую мистику природного человека и его врожденных социальных добродетелей.

Проблему нехватки и труда – царства необходимости – в течение последнего века не удалось удовлетворительно решить ни одному из основных течений. Заслугой анархизма остается то, что он бескомпромиссно отстаивал свой высокий идеал свободы – идеал спонтанной организации, сообщества, ликвидации любого авторитета – хотя этот идеал оставался лишь видением будущего времени, когда технология окончательно похоронит царство необходимости. Марксизм куда сильнее дискредитировал свой идеал свободы, ограничил его переходными стадиями и мышлением в духе политической целесообразности, так что сегодня он превратился в идеологию чистого властничества, прагматической эффективности и социальной централизации, мало чем отличающуюся от идеологий современного государственного капитализма[3]*.

Оглянувшись назад, с изумлением обнаруживаешь, как долго проблема нехватки и труда отбрасывала свою тень на революционную теорию. В течение всего лишь 90 лет (между 1850 и 1940 гг.) западный мир прошел две важные эпохи истории техники – техническую первобытную эпоху угля и стали и техническое Новое время электрической энергии, синтетических химикатов и моторов внутреннего сгорания – и вышел за их пределы. По иронии, обе эпохи, казалось бы, лишь повысили значение тяжелого труда в обществе. По мере роста числа промышленных рабочих по отношению к другим социальным классам, труд – точнее говоря, тяжелый труд[4]* – занимал все большее место в революционном мышлении. В этот период пропаганда социалистов нередко звучала как ода мучению; тяжкий, каторжный труд «облагораживался», а рабочие изображались как единственные полезные звенья социального организма. Их наделяли придуманными высшими инстинктивными качествами, которые превращали их в судей по таким вопросам, как философия, искусство, социальная организация. Эта пуританская трудовая этика левых с годами отнюдь не сходила на нет, а в 1930-х гг. приобрела новое звучание. Вместо того, чтобы пропагандировать освобождение человека от тяжелого труда, социалисты демонстрировали склонность изображать социализм как улей индустриальной деятельности, гудящий от труда на общее благо. Коммунисты указывали на Россию как на страну, в которой каждый физически полноценный индивид работает на своем месте и где постоянно существует нужда в рабочей силе. Каким бы удивительным это ни казалось

сегодня, всего лишь поколение назад социализм отождествлялся с обществом, ориентированным на труд, а свобода – с материальной гарантированностью, достижимой через всеобщую занятость. Царство необходимости захватило сам идеал свободы и дискредитировало его.

То, что социалистические представления последних поколений кажутся сегодня анахронизмом, объясняется не какими-то утвердившимися прозрениями свыше. Три последних десятилетия, особенно конец 1950-х гг., обозначили поворот в технологическом развитии, технологическую революцию, которая служит отрицанием всех ценностей, политических схем и социальных перспектив, накопленных человечеством за всю свою прежнюю известную историю. После тысячелетий мучительной эволюции страны западного мира (а в потенциале – все страны) стоят перед возможностью вступить в материально обеспеченный до изобилия и почти освобожденный от тяжелого труда век, в котором большая часть необходимых для жизни благ можно будет изготавливать с помощью машин. Как мы увидим, развились новые технологии, позволяющие во многом заменить царство необходимости царством свободы. Это обстоятельство настолько очевидно для миллионов людей в США и Европе, что уже не требует далеко идущих объяснений или теоретических выкладок. Эта технологическая революция и шансы, открываемые ею для всего общества, служат основой для принципиального нового образа жизни сегодняшней молодежи, поколения, которое быстро избавляется от ценностей и древних, ориентированных на труд традиций своих родителей. Даже недавно появившиеся требования гарантированного годового дохода звучат как слабое эхо новой реальности, постоянно вторгающейся в мышление молодежи. Благодаря развитию кибернетических технологий, представление об образе жизни без тяжелого, изнурительного труда стало символом веры для растущего числа молодых людей.

На самом деле, мы имеем дело не с вопросом, могут ли эти новые технологии обеспечить нас всем жизненно необходимым в обществе, свободном от труда. Вопрос в том, могут ли они помочь гуманизировать общество, способствовать созданию совершенно новых отношений между людьми[5]*.

Я ставлю вопрос, который совершенно отличается от тех, какие обычно задают в отношении современной технологии. Намечает ли эта технология новое измерение в сфере человеческой свободы, освобождения человека? Может ли она не только освободить людей от нужды и труда, но и привести их в свободное, гармоничное, человеческое сообщество равновесия – экосообщество, способствующее неограниченному развитию их возможностей? И, наконец, может ли она вывести человека через царство свободы в царство жизни и желаний?

Возможности развития современной технологии

Я попытаюсь дать ответы на эти вопросы, указав на новые характерные черты современной технологии. Впервые в истории технология достигла точки, после которой ее возможности развиваться дальше, к замене рабочей силы машинами становятся неограниченными. Она покинула, наконец, царство изобретений и достигла царства развития – иными словами, перешла от случайных открытий к систематическому обновлению.

Значение этого качественного прогресса довольно откровенно описал Ваннавар Буш, бывший директор ведомства научных исследований и развития: «Представьте себе, что 50 лет назад кто-нибудь предложил бы построить аппарат, который заставил бы автомашину автоматически придерживаться белой линии в середине улицы, даже если водитель заснет... Его высмеяли бы, и его идею объявили бы плодом воспаленного мозга. Но представьте себе, что кто-нибудь потребует такого прибора сегодня и будет готов заплатить за него, невзирая на то, полезен ли он на самом деле. Изрядное число концернов немедленно вскочило бы на ноги, стремясь получить этот заказ и выполнить его. Даже самого изобретения вначале не потребовалось бы. В этой стране найдутся тысячи молодых людей, которым доставит удовольствие изобрести такой прибор. Они просто возьмут с полок некоторое количество фотоэлементов, электронных ламп, сервомеханизмов, реле и из этого, если будет нужно, сделают так называемую стендовую модель, и она будет работать. Речь идет о том, что наличие огромного числа разносторонних, дешевых и надежных деталей и людей, вполне умеющих с ними обращаться, сделало создание автоматических приборов почти рутинным делом. Вопрос уже не в том, можно ли что-либо сделать, а в том, стоит ли это делать»[6]*.

Буш демонстрирует здесь две важнейшие характерные черты новой, так называемой «второй» промышленной революции, а именно гигантские возможности развития современной технологии и ориентированные на стоимостные критерии, антигуманные ограничения, которые на нее наложены. Я не стану останавливаться на том обстоятельстве, что фактор стоимости – а точнее говоря, мотивы прибыли – сдерживает применение технических новшеств. Уже вполне доказано, что во многих отраслях дешевле использовать рабочую силу, а не машины[7]*. Лучше я более внимательно рассмотрю процессы, которые подвели нас к точке неограниченных возможностей развития.

Наиболее очевидная тенденция, которая привела к новой технологии, – это, вероятно, взаимопроникновение научной абстракции, математики, аналитических методов и конкретных, прагматических и совершенно посюсторонних задач промышленности. Такая система связей сравнительно нова. Предположение, обобщение и рациональная деятельность традиционно были резко отделены от технологии. Этот разрыв отражал глубокий раскол между праздными и трудящимися классами в обществе древности и средневековья. Если оставить в стороне гениальные труды нескольких немногих людей, прикладная наука появилась только в эпоху Возрождения, а ее расцвет начался в 18 и 19 вв.

Люди, персонифицировавшие приложение науки к техническим изменениям, – не изобретатели-конструкторы типа Эдисона, а системные исследователи с общими интересами, такие как Фарадей, одновременно обогатившие и человеческое знание положений науки, и техническое развитие. В нашу эпоху этот синтез, воплощавшийся некогда в работе одного отдельного творческого гения, стал делом анонимных команд. Хотя

такие команды обладают неоспоримыми преимуществами, они слишком часто имеют все признаки бюрократических агентств – что ведет к усредненному, нетворческому отношению к проблемам.

Менее очевидно воздействие, порожденное индустриальным ростом. Это воздействие не всегда является технологическим; это нечто большее, чем замена человеческих рабочих сил машиной. В действительности, постоянная реорганизация трудового процесса, расширявшая и рафинировавшая разделение труда, стала одним из самых действенных средств увеличения производства. По иронии, разделение задач на все более нечеловеческие по своему объему части – вплоть до самых мизерных, детальных групп операций и чудовищного упрощения производственного процесса – наводит на мысль о машине, которая снова соберет все отделенные друг от друга задачи многих работников в единой механической операции. Исторически было бы трудно понять, как возникло массовое механизированное производство, как машина все больше заменяла рабочую силу, не проследив, как развивался процесс труда. Его развитие шло от ремесла, при котором высококвалифицированный, независимый работник выполнял многие различные виды деятельности, через горнило фабрики, где эти различнейшие задачи были разделены среди множества неквалифицированных и специально обученных рабочих, к высокомеханизированной фабрике, где задачи многих людей в значительной мере перенимаются машинами, которые обслуживают несколько рабочих, и, наконец, к автоматизированному, кибернетически управляемому предприятию, на котором работники заменяются наблюдательной техникой и высококвалифицированными профессионалами.

Если мы еще глубже погрузимся в предмет, то обнаружим и еще один новый процесс: из продолжения человеческих мускулов машина превратилась в продолжение нервной системы человека. В прошлом орудия труда и машины увеличивали мускульную силу человека в обращении с сырьем и силами природы. Механические приборы и машины, разработанные в 18–19 вв., не заменяли человеческие мускулы, а повышали их эффективность. Хотя машины позволили резко увеличить производство, чтобы обслуживать их, даже для самых рутинных задач все еще требовались мускулы и мозг работника. Мера технического прогресса могла быть указана в чистой зависимости от производительности труда: человек производил, с применением машины, столько изделий, сколько производили до ее применения 5, 10, 50 или 100 человек. Паровой молот Несмита, изготовленный в 1851 г., мог несколькими ударами придать форму железной балке – работа, которая без машины потребовала бы многих часов работы. Но молот требовал мускулов и внимания полдюжины крепких мужчин, чтобы тянуть, держать и удалять литейную форму. Со временем, благодаря изобретению усовершенствований в обслуживании, большую часть этого труда удалось сэкономить, но рабочая сила и внимание, необходимые для обслуживания машин, оставались неотъемлемой частью процесса производства.

Развитие полностью автоматизированных машин для комплексных процессов массового производства требует успешного применения как минимум трех технологических принципов. Такие машины должны обладать встроенной способностью исправлять собственные ошибки; они должны быть снабжены сенсорами, могущими заменить зрительные, слуховые и осязательные чувства работника; наконец, они должны иметь приспособления, заменяющие ловкость, проницательность и память работника.

Эффективное использование этих трех принципов предполагает, что мы разработали также технологические средства (если угодно, эффекторы[8]*), чтобы применять сенсорные, сознательные и контрольные механизмы в повседневном промышленном производстве. Далее, оно предполагает, что мы в состоянии перестроить имеющиеся машины или создать новые, чтобы обрабатывать, формировать, собирать, упаковывать и транспортировать полуфабрикаты и готовые изделия.

Использование автоматических, самокорректирующихся контрольных устройств в процессах индустриального производства – не новость. Центробежный регулятор Джеймса Уатта, изобретенный в 1788 г., служит ранним механическим примером саморегулирования паровых машин. Регулятор, соединенный металлическими штангами с вентилем машины, состоял из двух свободно смонтированных металлических шаров, которые удерживались тонкой, вращающейся штангой. Если машина начинала работать слишком быстро, ускорившееся вращение штанги, благодаря центробежной силе, толкало шары наружу и тем самым закрывало вентиль. Если, наоборот, вентиль пропускал недостаточно пара, чтобы позволить машине работать с нужной скоростью, шары снова падали вовнутрь и тем самым шире открывали вентиль. Аналогичный принцип действует и в отоплении, регулируемом термостатом. Термостат, установленный на определенную температуру, автоматически включает отопление, когда температура падает, и отключает ее, когда температура повышается.

Обе контрольные системы демонстрируют то, что сегодня называется принципом обратной связи. В современном электронном оборудовании отклонение машины от заданного функционирования производит электрические сигналы, которые затем используются контрольным устройством для того, чтобы скорректировать отклонение или ошибку. Электрические сигналы, возникающие под влиянием ошибки, усиливаются и передаются контрольной системой назад, другим механизмам, которые снова поправляют машину. Контрольная система, в которой для коррекции машины используется отклонение от нормы, называется закрытой. Ей можно противопоставить открытую систему – например, ручной выключатель света или автоматически вращающиеся лопасти электровентилятора – в которой контроль действует независимо от функций прибора. Так, свет зажигается и выключается, когда нажимают на выключатель, независимо от того, что вокруг – день или ночь. Аналогичным образом, электровентилятор вращается со скоростью, не зависящей от того, тепло в помещении или холодно. Вентилятор может быть автоматическим в привычном смысле слова, но он не саморегулируется, как центробежный регулятор или термостат.

Важным шагом в развитии саморегулирующихся контрольных механизмов стало открытие сенсоров. Сегодня к ним относят термоэлементы, фотоэлементы, рентгеновские аппараты, телекамеры и радары. Используемые комбинированно или по отдельности, они придают машинам удивительную степень автономии. Даже без компьютера, эти сенсоры позволяют работникам выполнять чрезвычайно опасные действия с помощью дистанционного управления. Их можно использовать и для того, чтобы превратить многие традиционно открытые системы в закрытые и тем самым расширить область автоматизации. К примеру, электрический свет, контролируемый часами, – достаточно простая открытая система; ее эффективность зависит исключительно от механических факторов. Если же он регулируется

фотоэлементом, который отключает его, как только становится светло, электрический свет подчиняется ежедневным изменениям, связанным с восходом и заходом солнца. Его функция и его работа теперь становятся взаимосвязанными.

С появлением компьютера мы вступили в совершенно новое измерение промышленных контрольных систем. Компьютер в состоянии выполнять всю рутинную работу, которая поколение назад сильно отягощала работника. В основе своей, современный цифровой компьютер – это электронно-вычислительное устройство, могущее совершать арифметические операции много быстрее, чем мозг человека[9]*. Эта скорость становится решающим фактором: гигантская скорость компьютера – количественное превосходство компьютера над вычислениями человека – имеет большое качественное значение. Благодаря скорости, компьютер может выполнять математические и логические операции высокой сложности. При поддержке запоминающих устройств, в которых умещаются миллионы источников информации, и при использовании бинарной арифметики (замены цифр 0–9 на цифры 0 и 1), правильно запрограммированный цифровой компьютер может совершать операции, приближающиеся ко многим высокоразвитым логическим действиям человеческого мозга. Можно спорить о том, является ли компьютерный «разум» творческим или способным к инновациям либо может стать таковым (хотя коренные изменения в компьютерной технологии происходят каждые несколько лет). Несомненно однако, что цифровой компьютер способен взять на себя все тяжелые и очевидно нетворческие умственные задачи человека в промышленности, науке, конструировании, информационном обеспечении и транспортном деле. На самом деле, современный человек построил себе электронный «мозг» для того, чтобы координировать, осуществлять и оценивать большинство рутинных видов своей промышленной деятельности. Если использовать их в характерной для них области, то компьютеры оказываются быстрее и эффективнее, нежели сам человек.

В чем конкретное значение этой новой индустриальной революции? Каковы ее непосредственные и предсказуемые воздействия на труд? Проследим за тем, как влияет новая технология на процесс труда на примере ее применения при производстве автомобильных моторов на фабрике «Форда» в Кливленде. Даже одно такое доказательство усовершенствования техники поможет нам оценить освободительный потенциал новой технологии во всех отраслях производства.

До применения кибернетики в автомобильной промышленности предприятию Форда требовалось около 300 рабочих, использовавших большое число инструментов и машин, чтобы сделать из моторного блока автомобильный мотор. Процесс от отливки до готового мотора длился многие рабочие часы. С развитием того, что мы в общем называем «автоматизированной» машинной системой, время превращения отлитых заготовок в мотор сократилось до менее чем 15 минут. Если не считать нескольких наблюдателей, которые наблюдают за автоматизированными контрольными арматурами, прежние 300 человек оказываются излишними. Позднее компьютер был присоединен к машинной системе, превратив ее в действительно закрытую кибернетическую систему. Компьютер управляет всем ходом работы машин и работает со скоростью такта в 0,3 миллиардных долей секунды.

Но даже эта система уже устарела. «Следующее поколение компьютеров работает в 1000 раз быстрее – со скоростью такта импульса тока в 0,3 миллиардных долей секунды, – замечает Элис Мэри Хилтон. – Скорости в миллионные и миллиардные доли секунды непостижимы для нашего ограниченного разума. Но мы, конечно же, в состоянии представить себе, что в течение года или пары лет это преимущество возрастает в 1000 раз. Можно обработать в 1000 раз больше информации или те же объемы информации в 1000 раз быстрее. Работа, занимающая более 16 часов, может быть сделана за минуту! И без вмешательства человека! Подобная система контролирует не только конвейер, но и весь процесс производства»[10]*.

Нет никаких причин, препятствующих применению основополагающих технологических принципов, которые прошли испытание при кибернетизации автомобильной промышленности, поистине во всех отраслях массового производства – от металлургии до пищевой промышленности, от электронной индустрии до производства игрушек, от изготовления типовых мостов до сооружения типовых домов. Многие этапы производства стали, сборки станков, изготовления электронного оборудования и промышленных химикатов сегодня частично или в значительной мере автоматизированы. Помешать в тенденции применению автоматизации на всех фазах современной промышленности могут, как кажется, огромные финансовые издержки, связанные с заменой нынешнего промышленного оборудования новым, более совершенным, а также врожденный консерватизм многих крупных предпринимателей. В конце концов, как я уже отмечал выше, во многих отраслях еще дешевле применять ручной труд вместо машин.

Конечно, в каждой отрасли имеются свои проблемы, и применение трудосберегающих технологий на том или ином предприятии, несомненно, столкнулось бы со множеством трудностей, которые потребовали бы своего разрешения. Во многих отраслях оказалось бы необходимым так изменить форму изделий и устройство предприятий, чтобы процесс изготовления сделал возможным применение автоматизированных технологий. Но утверждать на основании этих проблем, что применение полностью автоматизированных технологий в той или иной отрасли невозможно, было бы столь же неразумно, как утверждать 80 лет назад, что воздушные полеты невозможны, потому что пропеллер экспериментального самолета вращается с недостаточной скоростью или его рама слишком хрупка и не выдержит ударов ветра. Нет практически ни одной отрасли промышленности, которая не могла бы быть полностью автоматизирована, если мы готовы изменить концепцию изделия, предприятия, методов производства и обработки. Фактически, все трудности с описанием, как, где или когда та или иная отрасль может быть автоматизирована, зависят не от отдельных проблем, на которые мы, возможно, натолкнемся, а скорее от гигантских скачков, какие происходят в современной технологии каждые несколько лет. Почти каждый отчет о применении автоматизации должен рассматриваться как нечто предварительное: пока кто-нибудь описывает частичную автоматизацию отрасли, прогресс в технологии уже делает его описания устаревшими.

Но есть, по меньшей мере, одна отрасль хозяйства, в которой ценно любое описание технического прогресса – самая жестокая и унижительная для человека сфера труда. Если вывод об этическом уровне общества и впрямь можно сделать на основании того, как оно обращается с женщинами, то его чувствительность к человеческим страданиям можно

вывести из условий труда, приготавливаемых им для людей в сырьедобывающих отраслях, особенно на шахтах и в каменоломнях. В древности работа на шахтах зачастую являлась одной из форм каторги, на которую обрекались самые закоснелые преступники, самые строптивые рабы и самые ненавистные военнопленные. Шахта – это повседневная иллюстрация человеческих представлений о преисподней; это отупляющий, мрачный, хаотический мир, требующий чисто бездумного каторжного труда.

“ «Поле, лес, река и море – это окружающая среда жизни, моя же окружающая среда – руды, минералы и металлы..., – пишет Льюис Мэмфорд. – Извлекая наружу и разгребая содержимое земли, горняк не может увидеть форму вещей. Он видит только чистую материю, и пока он не доберется до нужного ему пласта, она для него – лишь препятствие, через которое он упрямо пробивается, выбрасывая его на поверхность. Когда горняк в колеблющемся свете свечей видит какие-то формы на стене своего подземелья, то это лишь чудовищные отражения его кирки или руки, формы ужаса. День отменен и ритм природы разорван: именно здесь впервые родилось непрерывное производство день и ночь. Горняк должен работать при искусственном освещении, даже когда наверху светит солнце; еще ниже, в подземельях, он принужден работать и при искусственной подаче воздуха: триумф «индустриальной» окружающей среды»[11]*.

Ликвидация шахтерского труда как сферы человеческой деятельности стала бы по-своему символом триумфа освободительной технологии. То, что в момент, когда пишутся эти строки, мы уже можем указать на пример такого достижения, служит предвестником свободы от каторжного труда, заложенной в технологии нашей эпохи.

Первым крупным шагом в этом направлении стал резак – огромная машина с лезвием в 2,7 м., которая за одну минуту добывает 8 тонн угля. Именно эта машина в сочетании с подвижными погрузочными машинами, бурильными машинами и скреплением болтами кровли пласта сократили число занятых в горном деле в таких районах, как Западная Виргиния, в 3 раза, по сравнению с уровнем 1948 г., при том что индивидуальная производительность выросла почти в 2 раза. Горнодобывающее предприятие по-прежнему нуждается в людях для того, чтобы включать машины и обслуживать их. Но последний прогресс в технологиях заменяет обслуживающие команды радарными сенсорами и позволяет совсем обойтись без шахтеров.

Состыковывая сенсорные приборы с автоматическими машинами, мы могли бы обойтись без работников не только на крупных горнодобывающих предприятиях, но и в ряде форм сельского хозяйства, которые заимствованы у современной индустрии. Хотя разумность индустриализации и механизации сельского хозяйства весьма сомнительны (к этой проблеме я еще вернусь), остается фактом, что общество может, при желании, автоматизировать многие области индустриального сельского хозяйства. Мы можем применять дистанционное управление почти любыми машинами – от гигантского резака в

горном карьере до комбайна на больших площадях – с помощью кибернетических сенсоров или телекамер. Усилия, затраченные на то, чтобы, сидя в комфортабельных помещениях, издали управлять этими приборами или машинами, были бы минимальными, если человек вообще понадобится для их обслуживания.

Нетрудно предвидеть не столь уж отдаленное будущее, когда рационально организованное хозяйство сможет, не прибегая к труду человека, производить небольшие «упакованные» фабрики. Отдельные детали можно было бы изготавливать настолько легко, что это позволило бы свести большинство работ по техническому обслуживанию к тому, чтобы вынуть из машины испортившуюся деталь и заменить ее другой. Такая работа не труднее, чем что-то вытащить или вставить. Машины стали бы изготавливать и чинить большинство машин, необходимых для хода высокоиндустриализованного хозяйства. Подобная технология, полностью переориентированная на нужды человека и чуждая любому мышлению в духе прибыли и убытков, смогла бы устранить муки нехватки и тяжелого труда – кару, наложенную на общество в форме отказа, страдания и бесчеловечности и приводимую в исполнение обществом, основанном на дефиците и работе.

Возможности, открываемые кибернетической технологией, не были бы более ограничены лишь удовлетворением материальных потребностей человека. У нас появилась бы свобода задаться вопросом, как можно использовать машину, фабрику и шахту для того, чтобы развивать человеческую солидарность и установить отношения равновесия с природой, подлинно органичное экосообщество. Была бы наша новая технология основана на том же национальном разделении труда, что и нынешняя? Господствующий тип индустриальной организации – распространение форм, созданных индустриальной революцией – отдает предпочтение индустриальной централизации (хотя система рабочего самоуправления, основанная на отдельной фабрике и местной общине, в значительной мере ликвидировала бы это положение).

Или же новая технология делает возможной систему производства в небольших масштабах, которая основана на региональном хозяйстве и физически встроена в человеческий масштаб? Такой вид промышленной организации передает все хозяйственные решения в руки местного сообщества. По мере децентрализации и локализации материального производства утвердился бы примат местных общин над общенациональными учреждениями, если подобные учреждения вообще развились бы в сколько-нибудь заметном масштабе. При таких обстоятельствах общее собрание местной общины, собирающееся на основе прямой демократии, берет на себя все руководство социальной жизнью. Вопрос состоит в том, будет ли новое общество строиться вокруг технологии, или же сама технология теперь настолько гибка, что ее можно организовать в соответствии с масштабами общества. Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется рассмотреть еще некоторые особенности новой технологии.

Новая технология и человеческий масштаб

В 1945 г. Дж. Преспер Экерт-младший и Джон У. Маучли из Пенсильванского университета расчехлили ENIAC – первый цифровой компьютер, построенный исключительно на электронных принципах. Понадобилось почти три года, чтобы разработать и построить ENIAC, созданный для решения проблем баллистики. Компьютер был огромным. Он весил более 30 тонн, имел 18 тысяч трубок с полумиллионом соединений (Экерту и Маучли потребовалось 2,5 года для того, чтобы спаять их), широкой сетью реостатов и километром проводов. Компьютеру требовался большой кондиционер, чтобы охлаждать его электрические детали. Он часто ломался или сбивался, что требовало больших потерь времени на ремонт и ожидание. И тем не менее, ENIAC, с точки зрения развития компьютеров, был настоящим электронным шедевром. Он мог производить 5000 операций в секунду и генерировал электроимпульсы с частотой в 100 тысяч в секунду. Ни один из использовавшихся тогда механических или электромеханических компьютеров не мог даже приблизиться к такой скорости расчетов.

Приблизительно через 20 лет «Компьютер контрол компании» из Фремингэма (Массачусетс) выбросила на рынок DDP-124. Это маленький, компактный компьютер, который выглядит наподобие настольного радиоприемника. Весь прибор, вместе с печатной машинкой и памятью, помещается на обычном письменном столе. DDP-124 производит более 285 тысяч операций в секунду. У него огромная программная память, которую можно расширить (вплоть до мощности в 33 тысячи слов). «Памяти» ENIAC, основанного на спаянных и соединенных штепселями проводах, так не хватало мобильности современных компьютеров. Частота DDP-124 достигает 1,75 млн. в секунду. Ему не требуется кондиционер, он полностью надежен и имеет очень маленький режим ожидания. Его можно построить во много раз дешевле, чем обошелся ENIAC. Различие между ENIAC и DDP-124 – количественное, но не принципиальное. За исключением памяти, оба цифровых компьютера работают на тех же самых электронных принципах. Однако же ENIAC был построен из традиционных электронных деталей (электронных трубок, реостатов и т.д.) и сотен метров проводов. DDP-124 же основан прежде всего на замкнутых электронных схемах. Это маленькие электронные детали, так что аналоги главных электронных компонентов ENIAC выглядят сейчас как четырехугольники со стороной в несколько миллиметров.

Параллельно с резким уменьшением размеров компьютерных деталей происходит заметное совершенствование традиционных форм технологий. Крупные машины начинают заменяться на все более мелкие. Так, например, произошел удивительный прорыв в направлении уменьшения широких прокатных станов. Такого рода предприятия – одни из самых больших и дорогостоящих сооружений современной индустрии. Их можно рассматривать как единую машину длиной в полмили, и она способна прокатать десятитонную стальную болванку толщиной в 15 и шириной в 125 сантиметров в тонкую полосу листовой стали толщиной в несколько миллиметров. Одно только это сооружение вместе с печами, упаковочными машинами, длинными прокатными столами, устройствами для откола литой корки и зданиями может стоить десятки миллионов долларов и занимать площадь в 50 или более акров. Оно производит 300 тонн листовой стали в час. Чтобы его эксплуатация окупалась, такую прокатную ленту надо использовать в сочетании с коксовальными установками, мартеновскими печами, блюмингами и т.д. Эти сооружения, вместе с установками горячего и холодного проката, могут занимать многие квадратные мили. Подобный сталелитейный комплекс ориентирован на национальное разделение

труда, сверхконцентрацию источников сырья (обычно, весьма удаленных друг от друга), большие национальные и интернациональные рынки. Даже если его полностью автоматизировать, его эксплуатация и управление им далеко превосходят возможности небольшой децентрализованной общины. Тот способ управления, какого он требует, в тенденции способствует формированию централизованных социальных структур.

К счастью, мы имеем определенное количество альтернатив по отношению к современному сталелитейному комплексу – во многом даже более эффективных. Мы могли бы заменить доменные и мартеновские печи различными электропечами, которые, как правило, меньше и производят великолепные чугун и сталь; они могли бы работать не на коксе, а на антраците, древесном и даже буром угле. Мы могли бы выбрать технологию HYL – камерных печей, в которых используется природный газ – для переработки богатых руд или концентратов в пористое железо. Или обратиться к Выборгскому методу, основанному на использовании древесного угля, угарного газа и водорода. В любом случае, мы могли бы уменьшить потребность в коксовальных установках, доменных и мартеновских печах, а возможно даже в твердых восстановителях.

Одним из самых значительных шагов в направлении приспособления сталелитейного дела к масштабам общины стало изобретение планетарного прокатного стана Т. Сендзимира. Этот стан превращает типичную прокатную линию в одно кругообразное устройство и устройство заключительной тонкой прокатки. Горячие стальные пластины толщиной в 5 – 6 сантиметров проходят через две пары небольших нагретых подающих валков и ряд рабочих валков, расположенных на двух кольцевых резервуарах, оснащенных также опорными валками. Когда опорные валки и резервуары вращаются с различной скоростью, рабочие валки вращаются в противоположном направлении. Это очень сильно сдавливает стальную плиту и прокатывает ее до толщины всего в 2-3 миллиметра. Планетарный прокатный стан Сендзимира – продукт настоящего технического гения. Маленькие рабочие валки, вращающиеся на кольцевых резервуарах, заменяют 4 огромных механизма предварительной прокатки и 6 устройств заключительной тонкой прокатки на широком прокатном стане.

Прокатка горячих стальных болванок по методу Сендзимира требует гораздо меньшей площади, чем широкий прокатный стан. К тому же, с помощью непрерывной разливки мы можем изготавливать стальные болванки без больших, дорогих линий заготовки. Будущее сталелитейное предприятие, работающее на базе электропечей, непрерывной разливки, планетарного прокатного стана и небольшой линии холодного проката, заняло бы ничтожную часть площади обыкновенного предприятия. Оно могло бы полностью удовлетворять потребности в стали нескольких общин среднего размера, при небольшом расходе горючего топлива.

Описанный мною комплекс не годится для удовлетворения потребностей национального рынка. Наоборот, он пригоден лишь для удовлетворения потребностей небольших или средних по размерам общин и индустриально неразвитых стран. Большинство электропечей для производства чугуна выплавляют примерно 250 тонн в день, тогда как крупные домны производят в день 3 тысячи тонн. Планетарный прокатный стан может прокатывать лишь 100 тонн стального листа в час, примерно треть выработки обычного прокатного стана. Но

именно масштабы представляемого нами сталелитейного предприятия и служат одной из самых привлекательных его черт. К тому же производимая на нем сталь будет служить дольше, так что производство для замены отработавших свой век стальных изделий можно будет сократить. Поскольку небольшому комплексу требуется сравнительно немного руды, топлива и восстановителей, многие общины смогли бы воспользоваться местными источниками сырья, разгрузив концентрирующие склады централизованных запасов. Это усилило бы независимость самих общин по отношению к традиционной централизованной экономике и сократило бы транспортные издержки. То, что на первый взгляд кажется дорогостоящим и неэффективным удвоением усилий, которого можно избежать с помощью сооружения нескольких немногих централизованных сталелитейных предприятий, в перспективе оказалось бы не только более эффективным, но и желательным.

Новая технология создала не только миниатюрные электронные приборы и более мелкие производственные единицы, но и куда более разносторонние станки. На протяжении более чем 100 лет тенденция в машиностроении вела в направлении технологической специализации и создания одноцелевых приборов, что подкрепляло необходимое для новой фабричной системы интенсивное разделение труда. Промышленная деятельность была полностью подчинена изделию. С течением времени, как замечали Эрик У. Ливер и Джон Дж. Браун, этот узколобый подход «увёл индустрию в станкостроении далеко от рациональной линии развития. Он привёл ко всё более неэкономичной специализации... Специализация машин означает, с точки зрения конечного продукта, что машина выбрасывается, если продукт больше не нужен. Но работа станка может быть сведена к набору основных функций – придавать форму, держать, резать и т.д. И эти функции, если их правильно проанализировать, можно соединить и использовать для обработки желаемой заготовки»[12]*. В идеальном варианте, сверлильный станок, как его представляли себе Ливер и Браун, мог бы просверливать дырки, и достаточно маленькие для тонкого провода, и достаточно большие для трубы. Машины с таким радиусом операций рассматривались прежде как экономически невозможные. Тем не менее, с середины 1950-х годов был разработан и использован целый ряд таких машин. Так, например, в 1954 году в Швейцарии был построен горизонтальный сверлильный станок для предприятия «Райвер-Руж» концерна Форда в Дирборне, штат Мичиган. Он оснащен пятью оптическими, похожими на микроскоп контрольными инструментами и сверлит дырки размером меньше иголочного ушка и больше кулака. Причем сверлит с точностью до десятитысячных долей дюйма.

Значение машин со столь широким диапазоном трудно переоценить. Они позволяют изготавливать многие, совершенно разные изделия на одном предприятии. Небольшая или средняя по размерам община, используя многоцелевые машины, могла бы самостоятельно удовлетворять многие из своих и так сократившихся потребностей, не обременяя себя сверхмощностями. Были бы меньше потери от износа инструментов; потребовалось бы меньше одноцелевых предприятий. Хозяйство общины стало бы более компактным и разносторонним, более целостным и самодостаточным, чем все, что мы обнаруживаем в индустриально развитых странах. Усилия, затрачиваемые на переориентацию машин на производство новых изделий, очень сильно сократились бы. Она в целом заключалась бы скорее в изменении размеров, а не способа функционирования. Наконец, такие многоцелевые машины с широкой областью применения сравнительно легко автоматизировать. Изменения, необходимые для того, чтобы подсоединить эти машины к

компьютеру, касались бы в большей мере подключения и программирования, нежели формы и структуры машин.

Разумеется, одноцелевые машины сохранились бы и использовались бы еще для массового производства многих различных благ. Многие сегодняшние высокоавтоматизированные одноцелевые машины с очень небольшими изменениями могли бы использоваться в децентрализованной общине. К примеру, фасовочные устройства – компактные, автоматические и высокорациональные установки. Мы могли бы ожидать увидеть также небольшие автоматические текстильные, химические и предназначенные для обработки пищи машины. Широкомасштабная переориентация с обычных автомашин, автобусов и грузовиков в сторону использования электромобилей, без сомнения, привела бы к возникновению промышленных предприятий, которые были бы куда меньше нынешних автомобильных фабрик. Многие из оставшихся централизованных объектов могли бы быть легко децентрализованы за счет того, что их делали бы как можно меньшими по размерам и предназначали для совместного использования несколькими общинами.

Я не утверждаю, что все экономические действия человека могут быть полностью децентрализованы, но большую их часть, безусловно, можно соразмерить с человеческими и адекватными общине масштабами. Не подлежит сомнению одно: мы можем перенести центр экономической мощи с национального на местный уровень, с централизованных бюрократических форм на местные общины народные собрания. Эта перегруппировка стала бы революционным изменением огромных размеров, поскольку заложило бы мощные экономические основы для автономии и суверенитета местной общины.

Экологическое использование технологии

До сих пор я пытался рассмотреть возможность устранить тяжелый рутинный труд, материальную неуверенность и централизованный экономический контроль – вопросы хотя и «утопические», но, по крайней мере, понятные. В этом разделе я хотел бы обсудить проблему, которая может показаться крайне субъективной, но имеет, тем не менее, неотложное значение: необходимость превратить зависимость человека от природы в видимую и живую составную часть его культуры.

Эта проблема характерна только для высокоиндустриализированного и урбанизированного общества. Почти во всех доиндустриальных культурах отношение человека к окружающей его природной среде было строго определенным, живым и освященным всей тяжестью традиции. Смена времен года, выпадение дождей, жизненные циклы растений и животных, от которых человек зависел в плане пищи и одежды, особенности местности, в которой жила община – все это близким и понятным и вызывало в людях чувство религиозного трепета, чувство единства с природой и – более прагматически – чувство уважительной зависимости. Мы можем обратиться к самым ранним цивилизациям Западного мира – и редко обнаружим там свидетельства системы столь тотальной и гнусной социальной

тирании, которая бы игнорировала эту связь. Нападения варваров и – в замаскированном виде – возникновение торговых цивилизаций разрушили почтительное отношение аграрных культур к природе, однако нормальное развитие аграрных систем, какими бы эксплуататорскими они ни были, редко вело к разрушению земли и почвы. В периоды самого большого угнетения в истории древних Египта и Междуречья господствующие классы поддерживали в хорошем состоянии ирригацию и пытались развивать рациональные методы производства пищи. Даже древние греки, унаследовавшие тонкую и горную лесную почву, сделали пригодными для обработки большую часть возделываемой ими земли благодаря тому, что организовали на них фруктовые сады и виноградники. Только когда сельское хозяйство было переведено на коммерческую основу и возникли сильно урбанизированные общества, началась неограниченная эксплуатация окружающей природной среды. Одни из худших примеров разрушения почвы в древности были порождены огромными, основанными на рабском труде латифундиями в Северной Африке и на Апеннинском полуострове.

В наше время развитие техники и рост городов довели отчуждение человека от природы до разрыва. Западный человек в значительной мере заключен в синтетическую окружающую среду, он физически удален от земли, и его отношения с природой осуществляются целиком через посредство машин. Ему недостает знания о том, как производится большинство благ, и продукты его питания весьма отдаленно напоминают животных и растения, из которых они сделаны. Запертому в стерильной городской среде (почти институционализированной по форме и по содержанию), как в коробку, современному человеку отведена роль зрителя в сельскохозяйственных и промышленных системах, которые удовлетворяют его потребности. Он является чистым потребителем, бесчувственным принимающим органом. Было бы, наверное, несправедливым сказать, что он не уважает окружающую его естественную среду; факт в том, что он вообще не знает, что такое экология и что необходимо его окружающей среде, чтобы сохранить равновесие.

Равновесие между человеком и природой должно быть восстановлено. В другом месте я попытался доказать, что жизнеспособность человечества окажется под большой угрозой, если такое равновесие не будет восстановлено[13]*. Здесь же я попытаюсь показать, как можно экологически использовать новую технологию, чтобы вновь оживить понимание человека своей зависимости от природы. Я попробую показать, как мы можем способствовать достижению целостности человека, вернув природу в его чувственную сферу.

Классические утописты полностью понимали, что первым шагом к полному развитию человека должна стать ликвидация противоречия между городом и деревней. «Невозможно, – писал Фурье почти 150 лет назад, – организовать регулярное и уравновешенное объединение, не включая труд на полях, в садах, на пастбищах, птичьих дворах и с большим количеством видов животных и растений». Шокированный социальными последствиями промышленной революции, он добавлял: «Этот принцип они игнорируют в Англии, где экспериментируют с ремесленниками, с чисто индустриальным трудом, которого самого по себе недостаточно, чтобы сохранить социальное единство жизни»[14]*.

Требовать от современного горожанина, чтобы он еще наслаждался «работой в поле», слегка отдавало бы юмором висельника. Восстановление крестьянского сельского хозяйства, каким оно было во времена Фурье, не было бы ни возможным, ни желательным. Прав был в своё время Шарль Жид, заметивший, что сельскохозяйственный труд «совершенно не обязательно более привлекателен, чем труд в промышленности; обработка земли всегда воспринималась как... форма мучительного труда, который следует исполнять «в поте лица своего»»[15]*.

Фурье не отвечает на этот аргумент предложением выращивать в фаланстерах, в первую очередь, фрукты и овощи, вместо зерновых культур[16]*. Если наш взгляд не должен простирается дальше прежних технологий возделывания земли, то единственной альтернативой крестьянскому сельскому хозяйству действительно была бы высокоспециализированная и крайне централизованная форма возделывания, чьи технологии соответствовали бы современной индустрии. Оставаясь далеки от восстановления равновесия между городом и деревней, мы вынуждены были бы иметь дело с синтетической окружающей средой, которая полностью ассимилировала бы природу.

Если мы исходим из необходимости физической реинтеграции земли и общины, из того, что община должна жить в определенных сельскохозяйственных рамках, проявляющих зависимость человека от природы, то перед нами встает проблема. Как мы можем добиться такого изменения, не обрекая общину на «мучительное вкалывание»? Короче говоря, как скотоводство, экологические формы производства продуктов питания и обработка земли могли бы осуществляться в человеческом масштабе, не отказываясь от механизации?

Некоторые из наиболее многообещающих технологических инноваций после Второй мировой войны столь же приспособлены к небольшим, экологическим формам обработки, как и к непомерным размерам полуиндустриальным предприятиям, которые стали преобладать за последние пару десятилетий. Возьмём один из примеров: автоматическое кормление скота иллюстрирует главный принцип рациональной механизации сельского хозяйства – комбинацию обычных машин и приборов таким образом, что они практически устраняют тяжелый труд. Соединяя силосную батарею с ложечным сверлом, можно смешивать различный корм и транспортировать его в кормушку, всего лишь нажимая пару кнопок и поворачивая выключатель. Работа, которую прежде выполняли 5 или 6 мужчин с вилами и ведрами за полдня, может теперь сделать один человек за несколько минут. Такой тип механизации, по сути своей, нейтрален: его можно использовать и для того, чтобы кормить огромное стадо или пару сотен голов скота; силос может содержать естественные или синтетические, гормональные корма; кормовой автомат может применяться на сравнительно небольших дворах со смешанным поголовьем скота и на больших фермах крупного рогатого скота или молочных фермах. Короче, автоматическое кормление может служить как для злостной капиталистической эксплуатации, так и для чуткого применения.

Это относится к большинству сельскохозяйственных машин, сконструированных за последние годы (во многих случаях, их просто переделали, чтобы достичь большей разносторонности). Современный трактор, к примеру, – продукт замечательной технической прозорливости. Маленькие модели могут с чрезвычайной гибкостью использоваться для множества различных задач; они лёгкие и чрезвычайно маневренные, могут следовать за

контурами самого тяжелого ландшафта, не причиняя ущерба полям. Большие трактора, особенно, в районах с жарким климатом, часто имеют кабины с кондиционерами; помимо подъемного оборудования, они могут иметь устройства для выкапывания ям, работать как автоподъемник или в качестве силовой установки для зерновых элеваторов. Разработаны плуги, которые выполняют любые задачи в земледелии. Прогрессивные модели отрегулированы даже таким образом, чтобы приспособлять пашущий механизм к форме ландшафта, поднимая или опуская его. Механические сеялки имеются практически для всех видов зерна. Удалось добиться, чтобы они минимально воздействовали на почву, рассеивая смесь из семян, удобрений и (конечно же) пестицидов – технология, которая соединяет множество действий воедино и снижает давление на почву, часто возникающее вследствие многократного использования тяжелых машин.

Разнообразие механических уборочных машин достигло удивительных масштабов. Такие машины разработаны для многих различных видов фруктов, ягод, винограда, овощей и полевых культур. Зернохранилища, кормушки и складские помещения подверглись революционным изменениям благодаря ложечным сверлам, конвейерам, воздухонепроницаемому силосу, автоматическому удалению удобрений, устройством по контролю за климатом и т.д. Урожай автоматически очищается, моется, подсчитывается, замораживается или упаковывается в банки, распаковывается и укладывается в ящики. Строительство ирригационных резервуаров с бетонной облицовкой стало простой механической операцией, которую могут выполнить один или два экскаватора. Площади с недостаточным дренажем или плохим подпочвенным слоем могут быть улучшены с помощью землеройных машин или земледельческих устройств, проникающих глубоко, в подпочвенный слой.

Хотя большая часть исследований в сельском хозяйстве связана с разработкой вредных химических средств и выведением плодов с сомнительной пищевой ценностью, был достигнут огромный прогресс в генетическом улучшении пищевых растений. Многие новые виды зерна и овощей устойчивы по отношению к насекомым, заболеваниям растений и холодам. Во многих случаях эти варианты представляют собой явные улучшения по сравнению с природными, материнскими видами, и их используют для возделывания широких целинных земель.

Давайте остановимся здесь и представим себе, как можно было бы соединить нашу свободную общину с окружающей его природной средой. Предположим, что община организована после тщательного изучения его естественной экологии – воздушных и водных ресурсов, климата, геологии, сырьевых запасов, почв, естественного растительного и животного мира. Возделывание полей в общине полностью определяется экологическими принципами, так что между окружающей средой и населяющими её людьми поддерживается равновесие. Индустриально самостоятельное, община образует отдельную единицу в рамках природного комплекса; в социальном и эстетическом отношении, оно находится в гармонии с населяемой им местностью.

Сельское хозяйство в общине высокомеханизировано, но как можно более смешанное (разнообразное) в том, что касается выращиваемых продуктов, скотоводства и лесного хозяйства. Поощряется разнообразие растительного и животного мира, что служит также

средством избежать нашествия вредителей и увеличить красоту ландшафта. Сельское хозяйство в крупных масштабах ведется лишь там, где это сообразуется с экологией местности. Из-за общего смешанного характера, сельское хозяйство ведется на небольших дворах, отделенных друг от друга поясом деревьев, кустарниками, лугами и пастбищами. В областях с волнистым, холмистым или горным ландшафтом земли с высокими откосами засаживаются лесом, чтобы избежать эрозии и сохранить воду. Почва тщательно исследуется, и земля засеивается лишь такими растениями, для которых она наиболее пригодна. Предпринимаются все усилия для того, чтобы слить друг с другом город и деревню, не отвергая вклада ни одного из них, поскольку оба служат источником опыта человечества. Экологический регион образует живые социальные, культурные и природные границы общины или общин, делящих друг с другом его богатства. Каждая община имеет множество огородов и цветников, декоративных деревьев, парков, а также ручьёв и прудов, в которых водятся рыбы и гнездятся водные птицы. Сельская местность, откуда поступают продукты питания и сырьё, не только служит естественным окружением общины и доступна каждому пешком, но и проникает в общину. Хотя город и деревня сохраняются, а их индивидуальность ценится и развивается, природа повсюду встречается в городе, а город придает природе своего рода мягкий, человеческий оттенок.

Я думаю, что свободная община будет заниматься сельским хозяйством бережно и с любовью, как деятельностью, столь же выразительной и приносящей удовлетворение, как и ремесло. Освобожденные от тяжкого труда сельскохозяйственными машинами, члены общины приступят к производству продуктов питания с тем же игровым, творческим настроением, какой часто проявляют люди, работая в своём саду. Сельское хозяйство станет живой частью человеческого общества, источником приятного физического труда и, благодаря своим экологическим критериям, интеллектуальным, научным и художественным стимулом. Члены общины столь органично сплавятся с миром жизни вокруг них, как сама община – со своим регионом. К ним вернётся чувство единства с природой, существовавшее в людях с незапамятных времен. Природа и органичное мышление, какое она всегда развивает, станут составной частью человеческой культуры. Она с новой свежестью обнаружится на картинах, в литературе, в философии, в танцах, архитектуре, быте людей, в их жестах и повседневных занятиях. Культура и человеческая психология обильно пропитаются новым анимизмом. Местность не будет больше подвергаться эксплуатации, но её будут использовать настолько полно, насколько это будет возможно. Община предпримет все усилия для того, чтобы удовлетворять свои потребности на местном уровне – использовать источники энергии, природные ископаемые, дерево, воду, почву, флору и фауну местности настолько рационально и гуманно, насколько это возможно, не нарушая экологических принципов. В этой связи мы можем предположить, что община будет использовать и такие новые технологии, которые еще только разрабатываются; многие из них прекрасно подходят для регионально структурированного хозяйства. Я имею в виду методы, позволяющие добывать из земли, воды и воздуха растворенные в них или содержащиеся в остатках вещества, солнечную, ветряную и геотермическую энергию, использование тепловых насосов, растительного горючего, солнечных прудов, термоэлектрических конвертеров и, наконец, контролируемый термоядерный синтез.

Существует своего рода археология индустрии, которая свидетельствует о том, что в различных регионах процветала хозяйственная деятельность, давно заброшенная нашими

предками. В долинах Гудзона, Рейна, в Аппалачах и Пиренеях мы обнаруживаем остатки шахт и некогда высокоразвитых металлообрабатывающих предприятий, сохранившиеся обломки местной промышленности и контуры давно покинутых крестьянских дворов – все это следы когда-то процветавших общин, основанных на местном сырье. Эти общины погибли, потому что изготавливавшиеся ими изделия были вытеснены крупной национальной индустрией, которая базировалась на массовом производстве и концентрации источников сырья. Старое сырье часто еще доступно лишь для использования в отдельных местностях. Оно не ценится в высокоиндустриальном обществе, но великолепным образом приспособлено для использования децентрализованными общинами и производства качественной продукции в малых масштабах. Если мы составим детальный перечень источников сырья во многих обезлюдивших уголках мира, может оказаться, что возможность общин удовлетворять многие из своих материальных потребностей прямо на месте куда выше, чем мы предполагаем.

Благодаря своему постоянному развитию, технология имеет тенденцию расширять местные возможности. Рассмотрим, к примеру, как можно использовать якобы низкопробное и недоступное сырье, используя достижения технологического прогресса. В конце 19 – начале 20 вв. Месаби-рэндж в Миннесоте поставляла американской сталелитейной индустрии весьма богатые руды, и это преимущество способствовало быстрому расширению местной металлообрабатывающей промышленности. Когда запасы стали сокращаться, встала проблема с добычей таконита, низкокачественной руды с примерно 40%-ным содержанием железа. Делать это с применением обычных методов добычи невозможно: породному буру требуется целый час, чтобы просверлить всего 30 см. таконита. Недавно однако добыча таконита стала возможной: был изобретен бур с остроконечным пламенем, который за час разрезает от 6 до 9 метров руды. После того, как бур выжигает дыры, руда взрывается и с помощью новых усовершенствованных процессов измельчения, раздробления и агломерации делается пригодной для сталелитейной промышленности.

Вскоре может оказаться возможным извлекать сильно распыленные или растворенные вещества из земли, моря и многих газообразных отходов. Многие из самых драгоценных наших материалов встречаются на самом деле довольно часто, но лишь в рассеянной форме или в качестве следов. Нет почти ни одного участка земли или обычной скалы, где не содержалось бы следов золота, большее количество урана и еще большие запасы таких элементов, важных для промышленности, как магний, цинк, медь и сера. Около 5% земной коры составляет железо. Как мы можем добыть это сырье? В принципе, по меньшей мере, теоретически проблема решается с помощью техники разложения, которую используют химики для обнаружения этих элементов. Как говорит химик Джейкоб Розин, есть основание надеяться на то, что если можно обнаружить элемент лабораторно, возможно и добывать его в достаточных для промышленности масштабах.

Уже более полувека большая часть промышленного азота на планете добывается из атмосферы. Магний, хлор, бром и едкий натр добываются из морской воды, сера – из сульфата кальция и промышленных отходов. Большое количество водорода, пригодного для промышленного использования, выделяется в качестве побочного продукта при электролизе соленой воды, но обычно его сжигают или выбрасывают в воздух на предприятиях по производству хлора. Углерод можно в огромных количествах добывать из дыма и

использовать в экономике (в природе он сравнительно редок), но его рассеивают в атмосфере вместе с другими газами.

Проблема при добыче ценных элементов из моря и обычного камня для промышленной химии состоит в стоимости необходимой для этого энергии. Есть два способа – ионный обмен и хроматография, и если усовершенствовать их дальше для промышленного использования, то их можно использовать для того, чтобы выделять или осаждать нужные вещества из растворов, но затрата энергии окажется слишком большой, по сравнению с результатом. Если не произойдет неожиданного прорыва в технологиях добычи, вероятность того, что можно будет использовать для решения проблемы такие обычные энергоносители, как уголь и нефть, очень мала.

Не то чтобы мы страдали из-за нехватки энергии как таковой, но мы только начинаем учиться использовать источники энергии, которые имеются в почти неограниченном количестве. Общая энергия излучения Солнца, которое доходит до поверхности Земли, более чем в 3 тысячи раз превосходит нынешнее годовое потребление энергии человечеством. Хотя часть этой энергии преобразуется в ветер или используется растениями при фотосинтезе, большое количество остается и может быть применено для других целей. Проблема в том, как ее собрать, чтобы покрыть часть нашей потребности в энергии. Если бы можно было, к примеру, использовать солнечную энергию для отопления домов, то 20 – 30% энергоисточников, на которые мы обыкновенно полагаемся, можно было бы переориентировать на другие нужды. Применяя солнечную энергию для всей нашей кухонной работы или ее части, для согревания воды, плавки металлов или производства электроэнергии, мы почти не испытывали бы больше потребности в ископаемых источниках горючего. Почти для всех этих работ можно сконструировать солнечные приборы. Мы могли бы исключительно за счет солнечной энергии отапливать наши дома, варить еду, согревать воду, плавить металлы и давать ток, но не в состоянии эффективно делать это на любой широте Земли и все еще сталкиваемся с целым рядом технических проблем, решить которые возможно лишь с помощью программы интенсивных исследований.

Сейчас, когда я пишу эти строки, уже построена пара домов, эффективно отапливаемых с помощью энергии Солнца. Наиболее известные из них в США – это опытное здание МТИ в Массачусетсе, дом Лофа в Денвере и жилые дома Томасона в Вашингтоне. Томасон, который тратит на горючее для отапливаемого Солнцем дома всего 5 долларов в год, разработал, вероятно, одну из самых практичных систем. В таком доме солнечное тепло собирается на крыше и с помощью циркулирующей воды доставляется в аккумулялирующий бак, расположенный в подвале (воду можно использовать также для охлаждения дома и в качестве питьевых и технических запасов). Система проста и довольно дешева. Вашингтон лежит примерно на широте в 40 градусов, и дома Томасона стоят на краю «солнечного пояса», который простирается от экватора до 40 градуса северной и южной широты. Этот пояс является географической областью, где солнечные лучи могут быть с наибольшей эффективностью использованы для получения энергии для домашних и промышленных целей. Имея эффективное солнечное отопление, Томасон нуждается для отопления своих вашингтонских домов лишь в мизерном количестве обычного горючего.

В более холодных областях можно представить себе две возможности отопления с помощью солнечной энергии. Отопительная система может быть более комплексной, что позволило бы сократить потребление обычного горючего до уровня, сравнимого с тем, который достигнут в домах Томасона, либо можно использовать системы с обычным горючим для покрытия 10 – 50% потребностей в тепле. Как замечает насчет соотношения издержек и пользы Ханс Тирринг, «самым решающим преимуществом солнечной энергии является тот факт, что она не требует никаких иных текущих расходов, кроме затрат на ток для работы вентиляторов, которые весьма скромны. Таким образом, одноразовые инвестиции в установку раз и навсегда покрывают все затраты на отопление дома до самого конца его существования. К тому же, система работает автоматически, не производя шума, копоти и вредных испарений, и избавляет от всех забот, связанных с подогревом, пополнением запасов горючего, чисткой, ремонтом и другими работами. Включение солнечного тепла в энергетическую систему страны поможет увеличить национальное богатство, и если все дома в приспособленной местности оснастить солнечным обогревом, можно сэкономить горючего на много миллионов фунтов в год. Работы Телькеса, Хоттела, Лофа, Блисса и других ученых, которые прокладывают дорогу солнечной энергии, – это настоящая работа первопроходцев, значение которой в полной мере выявиться только в будущем»[17]*.

Наиболее распространенные области применения аппаратов на солнечной энергии – это приготовление пищи и согревание воды. В развивающихся странах, Японии и США работают многие тысячи солнечных печей. Солнечная печь представляет из себя попросту похожий по форме на зонтик рефлектор с решеткой, на которой можно жарить мясо или при полном солнечном свете вскипятить за 15 минут литр воды. Подобное устройство надежно, компактно и чисто, ему не нужны ни горючее, ни дрова, и оно не издает противного шума. Переносная солнечная духовка дает температуры до 450 градусов; она еще компактнее и легче в использовании, чем солнечная печь. Нагреватели воды на базе солнечной энергии широко используются в частных и многоквартирных домах, прачечных и бассейнах. Только во Флориде имеется около 25 тысяч таких приборов, и они постепенно входят в моду в Калифорнии.

Некоторые из самых впечатляющих достижений в применении солнечной энергии отмечены в индустрии, хотя большая часть их касается побочных областей и в значительной мере носит экспериментальный характер. Наиболее простое – это солнечная плавильная печь. Ее коллектор обычно – это одно большое параболическое зеркало или же чаще установка из многих параболических зеркал, которые встроены и закреплены. Гелиостат, маленькое горизонтально расположенное зеркало, следующее за движением солнца, отражает лучи в коллектор. В настоящий момент работает несколько сотен таких печей. Одна из крупнейших, маунт-луисская печь Феликса Тромбса производит 75 кВт электрической энергии и используется прежде всего для высокотемпературных исследований. Поскольку солнечные лучи не дают никаких примесей, печь плавит 50 кг. Металла без каких-либо загрязнений, возникающих при обычных технологиях плавки. Подобная печь, построенная американским квартирмейстерским корпусом в Натике, штат Массачусетс, дает температуру в 5000 градусов, которой достаточно для плавки стальной балки.

Вероятно, солнечные плавильные печи имеют множество ограничений, но все они не непреодолимы. Эффективность печи могут существенно снизить дымка, туман, облака и

атмосферная пыль. То же касается сильного ветра, который может сбить настройку и помешать точной ориентации на солнечные лучи. Предпринимаются попытки решения некоторых из этих проблем с помощью «скользящих» крыш, покрытия зеркал специальным материалом и прочного, защищающего прикрепления. С другой стороны, солнечные плавильные печи чисты, эффективны, когда они находятся в хорошем состоянии, и производят крайне высококачественный металл, какой невозможно получить ни в одной из обычных доменных печей.

Столь же многообещающей областью исследований является преобразование солнечной энергии в электричество. Теоретически площадь в 1 кв.м., расположенная вертикально по отношению к солнечным лучам, принимает энергию в 1 кВт. «Если мы вспомним о том, что в сухих зонах земли для производства энергии в распоряжении имеются многие миллионы квадратных метров пустынь, то обнаружим, что если использовать всего один процент из этой имеющейся земли под солнечные электростанции, то можно будет достичь мощности, которая во много раз превзойдет мощность всех существующих тепловых и гидроэлектростанций мира», – пишет Тирринг[18]*. Практической работе в направлении, предложенном Тиррингом, препятствуют предполагаемые расходы, рыночные факторы (в неразвитых жарких странах, где имеются наилучшие условия для реализации проекта, нет такой потребности в электроэнергии) и, в первую очередь, консерватизм соответствующих конструкторов. Исследования сконцентрировались на разработке солнечных батарей, что в значительной мере стало результатом космических исследований.

Солнечные батареи основаны на термоэлектрическом эффекте. К примеру, если соединить полоски из сурьмы и висмута в проволочную петлю и одну часть нагреть, то разница в температурах будет давать электрическую энергию. Исследование в области солнечных батарей за последнее десятилетие привело к созданию приборов с 15%-ной степенью преобразования энергии, и в не слишком отдаленном будущем вполне возможно достичь уровня в 20-25%[19]*. Расположенные на больших площадях, солнечные батареи используются для снабжения током электромобилей, небольших судов, телефонных линий, радио, проигрывателей, часов, швейных машин и т.д. Ожидается, что стоимость производства солнечных батарей, в конечном счете, удастся снизить настолько, что они смогут давать электричество для частных домиков и небольших промышленных предприятий.

Наконец, солнечную энергию можно использовать и другим способом: аккумулируя тепло в некоем количестве воды. Уже в течение некоторого времени инженеры изучали возможность добывать электричество из разницы температур, до которых солнце нагревает море. Теоретически «солнечный пруд» площадью в 1 кв.км. может отдавать до 30 млн. кВтч в год – достаточно для того, чтобы заменить объем производства солидной электростанции, работающей по 12 часов в день. Как замечает Генри Тэйбор, энергию можно добывать без всяких расходов на горючее, просто «за счет того, что пруд нагревается солнцем»[20]*. Тепло можно собирать с дна пруда, пропуская горячую воду над преобразователем тепла и снова возвращая ее в пруд. В жарких широтах 25 тыс. кв.км. использованной таким образом площади произвело бы достаточно для удовлетворения потребностей 400 миллионов человек!

Еще один мало применяемый источник энергии, который можно использовать для производства электричества, – это океанские приливы. Мы могли бы улавливать океанскую воду во время прилива в какой-нибудь естественный бассейн – например, залив или устье реки – а при отливе вновь спускать через турбины. Есть целый ряд мест, где колебания уровня воды достаточно велики для того, чтобы производить электроэнергию в больших количествах. Французы уже построили огромную приливную электростанцию вблизи устья Ранс у Сен-Мало, которая, как ожидают, будет давать 544 млн. кВт в год. Они планируют также построить еще одну электростанцию в бухте Мон-Сен-Мишель. В Англии существуют весьма выгодные условия для сооружения приливной электростанции выше места слияния Северна и Уая. В этом месте можно производить электроэнергию, равную по количеству использованию 1 млн. тонн угля. Великолепным местом для производства электроэнергии из приливов является бухта Пассамакодди между Мэном и Нью-Брансуиком, хорошие условия для этого имеются и в Мезенском заливе на российском побережье Арктики. Аргентина планирует сооружение приливной электростанции у устья Рио-Десеадо на атлантическом побережье, у Пуэрто-Десире. Многие другие прибрежные местности могут быть использованы для получения электроэнергии из приливов, но кроме Франции ни одна страна еще не приступила к эксплуатации этого источника.

Мы могли бы использовать разницу температур в море или земле для производства электроэнергии в значительных объемах. Температурный перепад в 17 градусов – не редкость в верхних слоях тропических вод. В прибрежных районах Сибири зимой разница между температурой воды подо льдом и температурой воздуха достигает 30 градусов. Внутренние слои Земли тем горячее, чем глубже мы в них проникаем, что создает любую желательную нам разницу температур по сравнению с земной поверхностью. Можно использовать тепловые насосы, чтобы использовать эту разницу для промышленных целей или хотя бы для отопления. Тепловой насос работает так же как механический холодильник: циркулирующее охлаждающее средство забирает тепло у одного предмета, рассеивает его и повторяет процесс снова. Зимой можно использовать насосы, которые заставят циркулировать охлаждающее средство в плоской шахте, чтобы абсорбировать подземное тепло и передать его в дома. Летом можно прибегнуть к обратному процессу: взятое в доме тепло можно отводить в землю. Для насосов не требуются дорогие трубы, они не загрязняют атмосферу и избавляют от неприятностей, связанных с прочисткой печей и удалением золы. Если бы мы смогли получать электричество в виде прямого тепла из солнечной энергии, энергии ветра или разницы температур, то отопительная система жилого дома или фабрики стала бы полностью автаркичной, без необходимости растрачивать ценные ресурсы углеводородов и доставлять топливо извне.

Во многих местах планеты для получения электроэнергии можно также использовать ветер. Примерно одна сороковая часть солнечной энергии, достигающей Земли, превращается в ветер. Хотя многое из этого уходит в высотное струйное течение, значительная часть ветра доступна примерно в 100 метрах над поверхностью Земли. Согласно докладу ООН, в котором предпринята попытка оценить применимость силы ветра в финансовых величинах, во многих местностях эффективные ветряные генераторы могут производить электроэнергию по ценам, близким к цене энергии, производимой на обычных электростанциях. Множество ветряных генераторов уже с успехом используется. Знаменитый генератор на 1250 кВт в Грандпас-Ноб около Рутлэнда в штате Вермонт с

успехом снабжал переменным током электросеть Вермонтской компании общественных услуг до тех пор, пока нехватка запасных частей в период Второй мировой войны сделала невозможным поддерживать эксплуатацию установки. С тех пор разработаны и более крупные и эффективные генераторы. Перси Томас, работающий на Федеральную комиссию по энергетике, разработал ветряной мотор мощностью в 7500 кВт, который может давать электричество при капиталовложениях в 68 долларов на 1 кВт. Юджин Эйрис в этой связи замечает, что хотя стоимость сооружения ветряного мотора Томаса в два раза превысила первоначальные расчеты, «ветряные турбины, по всей видимости, все еще могут с успехом конкурировать с гидроэнергетическими установками, которые обходятся примерно в 300 долларов за 1 кВт»[21]*. Во многих районах мира существует огромный потенциал для получения электроэнергии из ветра. В Англии, к примеру, проведено тщательное трехлетнее исследование мест, пригодных для сооружения ветряных моторов: оно показало, что новейшие ветряные турбины могут давать по многу миллионов кВт и тем самым сэкономить от 2 до 4 млн. тонн угля в год.

Конечно, не следует строить себе иллюзий насчет возможностей добычи остаточных элементов из камня, солнечной и ветряной энергии или использования тепловых насосов. За исключением разве что энергии приливов и добычи сырья из моря, эти источники не смогут дать человеку сырье и энергию в количествах, необходимых для снабжения плотно сконцентрированного населения и высококонцентрированной индустрии. Аппараты на солнечной энергии, ветряные турбины и тепловые насосы могут давать сравнительно небольшое количество энергии. Если их использовать на местном уровне и в комбинации друг с другом, они могли бы, вероятно, полностью удовлетворить энергетические потребности небольшой общины, но мы ни на минуту не можем себе представить, как они смогли бы поставлять электричество в объемах, потребляемых сегодня Нью-Йорком, Лондоном или Парижем.

Однако ограничение в масштабах могло бы означать большое преимущество, с экологической точки зрения. Солнце, ветер и земля – эмпирически воспринимаемые реалии, к которым люди с незапамятных времен относились с чувством и почтением. Благодаря этим первоэлементам, человек развил в себе ощущение связи со своим естественным окружением и уважения к нему – связи, которая сдерживает его разрушительную деятельность. Последовавшая индустриальная революция затуманила роль природы в человеческом опыте, спрятав солнце под саваном дыма, сдержав ветер массивными сооружениями и изуродовав землю кишющими городами. Связь человека с природой стала невидимой, она приобрела теоретический и интеллектуальный характер, превратилась в тему учебников, монографий и докладов. Допустим, эта теоретическая связь дала нам взгляд на мир природы (хотя, в лучшем случае, неполный), но его односторонность лишила нас всякой эмоциональной связи и зрительного контакта, то есть единства с природой. Потеряв его, мы утратили частичку самих себя как чувствующего существа. Мы были отчуждены от природы. Наши технологии и окружающая среда стали совершенно бездушными, абсолютно синтетическими – полностью анорганическая физическая среда, которая способствовала бездуховности человека и его мышления.

Возвращение солнца, ветра и земли, мира жизни, в технологию, средство человеческого выживания, стало бы революционным обновлением связи человека с природой.

Восстановление этой связи в такой форме, какая породила бы в каждой общине чувство региональной уникальности, – ощущение не просто общей связи, но и связи с конкретным регионом с его особенностями – придало бы такому обновлению по-настоящему экологический характер. Возникла бы действительно экологическая система, чуткая система местных ресурсов, к которой относились бы с уважением, постоянно изучая и художественно изменяя ее. С ростом настоящего чувства регионализма каждое сырье заняло бы свое место в естественном и стабильном равновесии, органичном единстве социальных, технологических и природных элементов. Искусство ассимилировало бы технику, став социальным искусством, искусством общины как целого. Свободная община смогла бы вернуть темп жизни человека, условия его труда, архитектуру, транспорт и свои системы коммуникации к человеческим масштабам. Электромобили, спокойные, медленные и чистые, стали бы излюбленным средством ближнего сообщения, заменив шумные, вонючие и мчащиеся с безумной скоростью автомобили. Монорельсовые дороги связывали бы общины друг с другом, сократив число уродующих ландшафт автобанов. Ремесло вернуло бы себе свое почетное место в качестве дополнения к массовому производству. Оно превратилось бы в форму повседневной художественной деятельности на дому. На смену преобладающим сегодня, чисто количественным критериям, пришли бы, как мне представляется, высокие стандарты качества. Стремление к длительной службе благ и сохранению ресурсов встало бы на место убогих, проникнутых мелочным духом масштабов, результатом которых становится запланированный износ и бесчувственное потребление. Община превратилась бы в прекрасную арену жизни, живой источник культуры и глубоко личный, неиссякаемый источник человеческой солидарности.

Технология для жизни

Самая животрепещущая задача технологий в будущей революции будет состоять в том, чтобы произвести избыток благ с минимальными затратами труда. Непосредственная цель этой задачи будет состоять в том, чтобы постоянно открывать общественную арену революционному народу, сохранять революцию непрерывной. Все революции до сих пор разбивались о то, что звук набата не был слышен за грохотом в мастерской. Мечты о свободе и изобилии были запачканы этими земными повседневными заботами о производстве средств для выживания. Если мы взглянем на суровые факты истории, то обнаружится, что до тех пор пока революция означала для народа постоянные жертвы и воздержание, рычаги власти оказывались в руках «профессиональных политиков», посредственностей термидора. О том, насколько хорошо понимали это либеральные жирондисты французского Конвента, можно судить по их стараниям приглушить революционное воодушевление парижских народных ассамблей – великих соседских комитетов 1793 года. Они издали декрет о том, что собрания должны заканчиваться «в 10 часов вечера» или, как пишет Карлейль, «до прихода рабочего народа» с работы[22]*. Правда, декрет не действовал, но цель была поставлена верно. Трагедия прошлых революций состояла в том, что рано или поздно их двери закрывались «в 10 часов вечера». Главная функция современной технологии состоит в том, чтобы держать двери революции всегда открытыми!

Почти полвека назад, когда социал-демократические и коммунистические теоретики несли вздор об обществе «работы для всех», дадаисты – эти прекрасные безумцы – требовали

безработицы для всех. Минувшие десятилетия не умилили значения этого требования, но, напротив, усилили его. С того момента, как работа будет сведена к необходимому минимуму или исчезнет вовсе, проблемы выживания превратятся в проблемы жизни, а сама технология из рабыни непосредственной нужды человека – в его партнера по творчеству.

Рассмотрим это дело более пристально. О технике как «продлении человека» написано много строк. Само это предложение вводит в заблуждение, если относится к технологии в целом. Оно действительно, в первую очередь, для традиционного ремесла и, быть может, ранних стадий развития машин. Ремесленник контролирует свой инструмент; его труд, его художественные склонности, его личность служат определяющими факторами процесса производства. Труд – это не только расходование энергии, это еще и персонифицированный труд человека, чьи действия осознано направлены на то, чтобы подготовить свое изделие, придать ему форму и, наконец, украсить для использования людьми. Ремесленник ведет свой инструмент, а не инструмент – ремесленника. Так, отчуждение, которое возникает между ремесленником и его изделием, как подчеркивал Фридрих Вильгельмсен, сразу же побеждается «художественным восприятием, которое относится к создаваемой вещи»[23]*. Инструмент, орудие расширяет способности ремесленника как человека; он расширяет его способность к мастерству и к приданию сырому материалу его собственной идентичности как творческого существа.

Развитие машины демонстрирует тенденцию к тому, чтобы разорвать интимную связь между людьми и средствами производства. Она ассимилирует работника с заданными ему индустриальными заданиями, над которыми он не имеет ни малейшего контроля. Машина предстает теперь как чуждая сила – отделенная от самого производства жизненно необходимых благ, но в то же время теснейшим образом связанная с ним. Будучи первоначально «придатком человека», техника превращается в силу, которая стоит над человеком и выстраивает его жизнь по сценарию, который сочинен индустриальной бюрократией – повторяю, не людьми, а бюрократией, социальной машиной. С появлением массового производства как господствующей формы производства человек стал придатком машины – не только механических аппаратов в процессе производства, но и социальных аппаратов в жизни людей и их взаимодействии друг с другом. Превращаясь в придаток машины, человек перестает существовать, в соответствии с собственной волей. Общество управляется грубым принципом «Производство ради производства». Деграция ремесленника в рабочего, активной личности – во все более пассивную, находит свое завершение в человеке как потребителе – экономическом существе, чьими вкусами, ценностями, мыслями и ощущениями управляют бюрократические «команды» на «фабриках мысли». Стандартизированный машинами, человек сам превращается в машину. Человек-машина – таков бюрократический идеал[24]*. Этот идеал постоянно ставится под вопрос самим возрождением жизни, исканиями молодежи и противоречиями, внушающими неуверенность бюрократии. Каждое поколение приходится ассимилировать заново, и каждый раз – преодолевая взрывное сопротивление. Сама же бюрократия, со своей стороны, никогда не живет в соответствии с собственным идеалом. Закупоренная посредственностями, она находится в постоянном скитании. Ее сила суждений тонет в новых ситуациях; в своей бесчувственности, она страдает от социальной инерции и постоянно получает удары по голове от любой случайности. Любая брешь, открывающаяся в социальной машине, расширяется силами жизни.

Каким образом можем мы закрыть разрыв, разделяющий живых людей и мертвые машины, не жертвуя ни людьми, ни машинами? Как мы можем прекратить технологию выживания в технологию для жизни? Было бы полной глупостью пытаться дать ответ на эти вопросы с абсолютной уверенностью. Освобожденные люди будущего смогут выбирать из огромного разнообразия взаимоисключающих или взаимодополняющих видов труда, все из которых будут основаны на непредвиденных ныне технологических новшествах. Эти же люди будущего могут и сделать выбор в пользу того, чтобы попросту не обращать внимания на технологии. Они могут погрузить кибернетические машины в технологическую преисподнюю, полностью отделить их от общественной жизни, общины и творчества. Такие машины стали бы работать для людей. Почти укрытые от общества. В конце кибернетического конвейера стояли бы общины с корзинами и развозили продукцию по домам. Промышленность стала бы работать самостоятельно, как лишенная воли нервная система и нуждалась бы лишь в определенной починке, подобно той, которая требуется телу при случайных заболеваниях. Разрыв между человеком и машиной не был бы преодолен. На него просто не обращали бы внимания.

Игнорирование технологии – это, разумеется, не выход. Человек лишил бы себя жизненно важного опыта – импульса производительной деятельности, удовольствия от машины. Технология может играть важную роль в формировании человеческой личности. Любое искусство, говорил Льюис Мэмфорд, имеет свою техническую сторону, которая требует самомобилизации стихийности в выраженный порядок и устанавливает контакт с объективным миром в экстатические моменты переживания.

Освобожденное общество, как мне кажется, не захочет отрицать технологию как раз по той причине, что оно будет освобожденным и сможет восстановить равновесие. Оно вполне могло бы пожелать ассимилировать машину с художественным ремеслом. Я имею в виду, что машина могла бы удалить тяжелый труд из процесса производства и предоставить человеку возможность его художественного завершения. Машина на самом деле станет участником человеческого творчества. Нет ни малейшей причины, не дающей организовать автоматическое, кибернетически управляемое изготовление таким образом, чтобы завершение изделий, особенно тех, которые предназначены для личного использования, было предоставлено общине. Машина может взять на себя работы по добыче, плавке, транспортировке и первичной обработке сырого материала, а конечную стадию художественного изготовления и ремесла отдать индивиду. Большая часть камней, из которых сложены средневековые соборы, тщательно обтесаны, и им придана одинаковая форма, чтобы улучшить их кладку и соединение друг с другом – неблагоприятная, однообразно-повторяющаяся и неприятная работа, которую теперь быстро и без большого труда могли бы выполнить современные машины. Когда же обтесанные камни устанавливались на место, в дело вступали ремесленники, и место напряжения заступал творческий труд человека. В освобожденной общине сочетание промышленных машин с инструментом ремесленника смогло бы достичь такого уровня совершенства и творческого взаимодействия, какого не было еще никогда в человеческой истории. Видение Уильяма Морриса насчет возвращения к ремесленничеству было бы избавлено от ностальгических нюансов. Мы могли бы на самом деле вести речь о качественном прогрессе в технике – технологии для жизни.

Добившись живительного уважения к природной среде и ее богатствам, свободная децентрализованная община придаст новое значение слову «потребность». Марксово «царство необходимости» стало бы постепенно исчезать вместо того, чтобы все более расширяться; потребности формировались бы под воздействием более высокой оценки ценности жизни и творчества и гуманизировались бы. На смену количества и стандартизации пришли бы качество и художественный вкус. На место нынешнего запрограммированного износа встало бы длительное использование вещей – экономика любовно оберегаемых вещей, которая заменила бы бездумное, механически повторяемое преобразование благ чувством традиции и почтения к человеческой личности и мастерству прежних поколений. Нововведения предпринимались бы с пониманием естественных склонностей человека – в противовес организованному разрушению вкуса СМИ. Сохранение сменило бы выбрасывание всех вещей. Одежда, режим питания, мебель и жилье стали бы более художественными, личностными и строгими. Человек вернул бы себе чувство к вещам, предназначенным для людей – в отличие от вещей, которые людям навязаны. Взамен отвратительного ритуала торговли и накопительства утвердились бы полные чувства действия созидания и дарения. Вещи перестали бы служить клюкой для большого «я» и посредниками между искаженными индивидами и стали бы продуктами завершенных, творческих индивидуальностей, даром совершенных, развивающихся людей.

Технология для жизни может играть жизненно важную роль в соединении общин друг с другом. Если она будет ориентирована на оживление ремесла и новое понимание материальных потребностей, то новая технология сможет стать главной опорой конфедерации. Национальное разделение труда и индустриальная централизация опасны, поскольку в этих случаях технология начинает преступать пределы человеческой соразмерности; она становится все более непостижимой и подверженной бюрократическим манипуляциям. В той мере, в какой контроль над реальными материальными (технологическими и экономическими) вопросами ускользает из рук общины, реальная власть над жизнью людей приобретают централизованные институты, грозящие превратиться в источники принуждения. Основой технологии для жизни должна служить община; эта технология должна быть приспособлена к общине и региональному уровню. На этом уровне совместное использование фабрик и природных богатств может способствовать развитию солидарности между группами общин. Оно могло бы служить тому, чтобы соединяться друг с другом не только на основе общих духовных и культурных интересов, но и на базе общих материальных потребностей. В зависимости от богатств недр и особенностей отдельных регионов, можно было бы установить рациональное, гуманное равновесие между автаркией, промышленным союзом и страновым разделением труда.

Настолько ли «сложным» является общество, что продвинутая индустриальная цивилизация находится в противоречии с технологией для жизни? Мой ответ на этот вопрос: категорическое «НЕТ». Значительная часть социальной «сложности» нашего времени проистекает от бумажных войн, управления, манипуляций и непрерывной мани расточительства капиталистического предпринимательства. Мелкий буржуа испытывает священный трепет перед буржуазной системой порядка – рядами полок, заполненных актами, расчетами, бухгалтерскими книгами, страховыми полисами, налоговыми формулярами и неизбежными «делами». Он скован «экспертократией» менеджеров, инженеров, финансовых акул и боссов рекламы, и архитекторы рынка подпевают ему.

Государство совершенно ошеломляет его: полиция, суды, тюрьмы, государственные ведомства, министерства, – короче, весь этот испускающий вонь и больной организм принуждения, контроля и господства. Современное общество невероятно сложно, если принимать его посылки: собственность, «производство ради производства», конкуренцию, накопление капитала, эксплуатацию, финансы, централизацию, принуждение, бюрократию и господство человека над человеком. С любой из этих посылок связаны проводящие ее институты: бюро, миллионный «персонал», формуляры, бесчисленные тонны бумаг, письменные столы, пишущие машины, телефоны и, конечно же, ряды и ряды канцелярских шкафов. Как в романах Кафки, все эти вещи реальны, но на редкость призрачны – неопределимые тени в социальном ландшафте. Экономике свойственная бóльшая реальность, и она быстрее постигается разумом и чувством, но и она сверхусложнена – если предположить, что следует производить тысячи различных форм кнопок, что ткани должны иметь бесконечные варианты образцов и видов исключительно для удовлетворения иллюзии обновления и новизны, что ванны необходимо до предела набивать безумным разнообразием фармацевтических препаратов и жидкостей, а кухни – заполнять не имеющими конца рядами аппаратов для слабоумных. Если мы отберем из этого внушающего отвращение барахла один или два продукта высокого качества в нужных категориях и выкинем вон экономику денег, государственную власть, кредитную систему, писанину и работу полиции, необходимые исключительно для того, чтобы удерживать общество в вынужденном состоянии нехватки, неуверенности и господства, то общество станет не только разумнее и человечнее, но и куда проще.

Я не собираюсь обсуждать тот факт, что за метром электрического провода стоят медная шахта, машины, необходимые для ее работы, фабрика по производству изоляционных материалов, медеплавильное и литейное предприятие и транспортная система развоза проводов, а за каждым из них – другие шахты, предприятия, машиностроительные заводы и т.д. Медные шахты с таким типом добычи, какой возможен с нынешними машинами, имеются далеко не везде, хотя из отходов нашего современного общества можно количество меди и других полезных металлов, достаточное для того, чтобы обеспечить последующие поколения всем необходимым. Но предположим, что медь принадлежит к осязаемой группе таких материалов, которые могут быть предоставлены лишь с помощью транспортной сети, охватывающей всю страну. Насколько необходимо было бы при этом разделение труда в привычном нам смысле слова? Да ни насколько. Во-первых, медь можно распределять между свободными автономными общинами, наряду с другими продуктами – как производимыми, так и теми, в которых имеется потребность. Для такой системы распределения не нужно посредничество централизованного бюрократического организма. Во-вторых, что еще важнее, община, живущая в районе с крупными запасами меди, не была бы чисто медедобывающей общиной. Это стало бы лишь одним из многих видов ее хозяйственной деятельности – частью более крупной, законченной, органичной хозяйственной арены. То же самое относилось бы и к общинам, где климат оказался бы наиболее подходящим для выращивания определенных средств питания или чьи недра таили бы в себе редкие ископаемые, имеющие уникальное значение для всей страны. Каждая община приближалась бы к местному или региональному самообеспечению. Она пыталась бы достичь целостности, поскольку целостность рождает целостных, уравновешенных людей, живущих в симбиозе с окружающей их средой. Даже если бы осязаемая часть хозяйства области подпадала бы под разделение труда в масштабе страны,

подавляющее большинство экономического потенциала общества все равно оставалось бы у общин. Если не разрывать общины, то интересы части человечества никогда не будут приноситься в жертву интересам человечества в целом.

Основополагающее чувство порядочности, сопереживания и взаимопомощи составляет самую сердцевину поведения людей. Даже в нынешнем жалком буржуазном обществе мы не так уж редко видим, как взрослые спасают детей от опасности, даже, возможно, рискуя собственной жизнью. Мы не удивляемся тому, что шахтеры, например, рискуют жизнями для спасения засыпанных коллег, что солдаты даже под сильным обстрелом уносят с поля боя раненых товарищей. Наоборот, нас часто шокируют случаи, когда помощь не оказывается – когда крики девочки, которую убивают ножом и которая пытается спастись от смерти, затихают, не услышаны, посреди квартала, где обитает средний класс.

Но в этом обществе нет ничего, что гарантировало бы хоть малейшую солидарность. То, что от нее остается, существует вопреки современному обществу, вопреки всем его реалиям, как непрерывная борьба врожденного доброго начала в человеке против врожденного зла этого общества. Можем ли мы представить себе, как поведут себя люди, когда эта порядочность освободится в полной мере, когда общество заслужит уважения и даже любви со стороны отдельного человека? Мы – все еще отпрыски наполненной насилием, кровавой, низкой истории, конечные продукты господства человека над человеком. Возможно, мы так никогда и не сможем покончить с этим состоянием господства. Будущее может уничтожить нас и всю нашу цивилизацию в вагнеровской «гибели богов». Каким идиотизмом это было бы! Но мы можем и покончить с господством человека над человеком. Мы смогли бы, наконец, порвать цепи, что приковывают нас к прошлому, и добиться гуманного, анархического общества. Разве не стало бы верхом абсурда, даже бесстыдством пытаться измерить поведение будущих поколений теми же критериями, которые мы презираем в нашу собственную эпоху? Свободные люди не будут алчными; свободная община не станет пытаться господствовать над другими, обладая потенциальной монополией на медь. Компьютерные «эксперты» не будут пытаться поработить автомехаников. И никогда уже больше не будут писаться сентиментальные романы об умирающих от тоски и чахотки молодых девушках. Мы можем просить свободных мужчин и женщин будущего только об одном: простить нас за то, что все это продолжалось так долго и оказалось таким трудным. Подобно Брехту, мы можем просить их почтить нас со снисхождением, подарить нам свое сочувствие и понять, что мы обитали в самых глубинах социального ада.

Но тогда они и сами наверняка будут знать, что им следует думать, не нуждаясь в том, чтобы об этом сказали им мы.

Мюррей Букчин Нью-Йорк, май 1965 года

Примечания

[1] И Юнгер и Эллюль полагают, что поглощение человека машиной неотрывно от развития самой технологии, и их произведения заканчиваются яростно-разочарованными

замечаниями. Эта позиция служит отражением социального фатализма, о котором я говорил, особенно в форме, встречающейся у Эллюля. Его идеи симптоматичны для современных социальных наук. См.: Friedrich Georg Junger. *The Failure of Technology*. Chicago, 1956; Jacques Ellul. *The Technological Society*. London, 1965.

[2] См.: П.А. Кропоткин. *Взаимопомощь как фактор эволюции*. М., 2007.

[3] Думаю, что развитие «рабочего государства» в России в основном подтверждает анархистскую критику этатизма Маркса. Современным марксистам стоило бы привлечь на помощь критику товарного фетишизма самим же Марксом в «Капитале», чтобы понять, каким образом в условиях товарного обмена все (включая государство) имеет тенденцию превращаться в самоцель.

[4] Здесь следует учитывать разницу между трудом, приносящим человеку удовлетворение (work), и тяжелым трудом — «вкалыванием» (toil).

[5] Исключительно количественное представление о новой технологии, добавлю я, не только архаично с экономической точки зрения, но и реакционно в этическом отношении. Такой подход сохраняет старый принцип справедливости в противоположность новому принципу – свободы. Справедливость исторически вытекает из мира материальной нужды и труда; она предполагает нехватку ресурсов, которые распределяются «справедливо» или «несправедливо» с этической точки зрения. Справедливость, даже «равная справедливость» есть концепция ограничения, предполагающая и включающая отказ от благ и затрату времени и энергии на производство. В тот момент, когда мы преодолеваем концепцию справедливости, переходя от количественных к качественным возможностям современной технологии, мы вступаем в неизведанную область свободы, которая основана на спонтанной организации и полном доступе к жизненным благам.

[6] U.S. Congress. Joint Committee on the Economic Report “Automation and Technological Change: Hearings before the Subcommittee on Economic Stabilization”, 84th. Congress, 1st. Session (U.S. Govt. Printing Office, Washington, 1955). P.81.

[7] Например, на хлопковых плантациях в Южной глубинке, на автомобилестроительных заводах или в пошивочной промышленности.

[8] В биологии эффекторами называют вещества, которые способствуют или препятствуют энзимной реакции, не вызывая ее.

[9] Сегодня используются два класса компьютеров – аналоговые и цифровые. Аналоговый компьютер поддается лишь ограниченному использованию в промышленном производстве. В настоящей статье я буду говорить исключительно о цифровых компьютерах.

[10] A.M.Hilton. *Cyberculture // Fellowship for Reconciliation Paper*. Berkley, 1964. P.8.

[11] L.Mumford. *Technics and Civilization*. NY, 1934. P.69.

[12] E.W. Leaver, J.J. Brown. *Machines without Men // Fortune*. 1946. November.

- [13] См.: М.Букчин. Экология и революционное сознание.
- [14] F.M.C. Fourier. Selections from the Works. London, 1901. P.93.
- [15] Ch. Gide. Preface // F.M.C. Fourier. Op.cit. P.14.
- [16] Фаланстер – автономно хозяйствующая группа из 1200 – 1800 человек, в системе Фурье.
- [17] H. Thirring. Energy for Men. New York, 1958. P.266.
- [18] Ibis. P.269.
- [19] Для сравнения, эффективность бензинового мотора составляет 11%.
- [20] H. Tabor. Solar Energy // Science and the New Nations. New York, 1961. P.109.
- [21] Eugene Ayres. Major Sources of Energy // American Petroleum Institute Proceedings. Section 3. Division of Refining. Vol.28 (III). 1948. P.117.
- [22] Томас Карлейль. Французская революция. История. М., 1991. С.453.
- [23] Friedrich Wilhelmsen. Foreword // Friedrich G. Jünger. The Failure of Technology. Chicago, 1956. P.VII.
- [24] «Идеальный человек» полицейской бюрократии – это существо, в самые сокровенные мысли которого можно проникнуть с помощью детектора лжи, электронных подслушивающих устройств и «сыворотки правды». «Идеальный человек» политической бюрократии – это существо, чью самую сокровенную жизнь можно сформировать с помощью химических веществ, которые стимулируют генные мутации, и социально ассимилировать с помощью СМИ. «Идеальный человек» индустриальной бюрократии – это существо, в самую сокровенную жизнь которого можно проникнуть с помощью изощренной и делающей его предсказуемым рекламы. «Идеальный человек» военной бюрократии – это существо, в чью самую сокровенную жизнь можно вторгнуться с помощью опеки с целью геноцида.

Либертарный коммунизм

источник: [здесь](#)

Сегодня «политика» означает дуэль между избирательными комитетами бюрократических партий, которые во время предвыборной борьбы обещают многочисленные меры по достижению «социальной справедливости»- единственно и только для того, чтобы заманить неопределенных избирателей. Добившись власти, они превращают эти меры в жалкий набор компромиссов. И в этом многие европейские зеленые партии мало чем отличаются от традиционных партий.

Именно эти парламентские цели мы называем сегодня политикой. При таком понимании политика предстает как набор средств и методов для удержания власти в представительных учреждениях — прежде всего в законодательных и исполнительных органах — а не как новая этика на основе рациональности, сообщества и свободы.

Гражданская этика

«Либертарный коммунизм» представляет собой серьезную и исторически обоснованную попытку базисно-демократически организовать политическую сферу и придать ей этическое содержание. Это нечто большее, чем политическая стратегия. Это стремление перейти от скрытых или нарождающихся демократических возможностей к радикальному преобразованию общества, к коммунитарному обществу, ориентированному на потребности человека, удовлетворяющему экологическим требованиям и развивающему новую этику на основе солидарности. Это означает новое определение политики, возврат к исконному греческому значению — управлению сообществом или полисом посредством общего собрания, на котором формируются основные направления политики, опираясь на взаимность и солидарность.

Цели и средства

Здесь рационально соединяются цель и путь к ней. Понятие политики включает в себя прямой гласный контроль над обществом со стороны его членов, которые на собраниях добиваются базисной демократии и поддерживают ее. Эта политика принципиально отличается от государства и государственной власти — профессиональной корпорации бюрократов, полиции, военных и других чиновников, функционирующей как аппарат

принуждения, оторванный от населения и стоящий над ним. Сторонники либертарного коммунизма различают государственную власть — сегодняшнюю форму политики — и политику в том виде, как она существовала в докапиталистических демократических городах. Государство — это совершенно чуждый элемент, заноза в человеческой истории, внешняя величина, которая постоянно вторгается в общественную и политическую сферу. Часто оно превращается в чистейшую самоцель, как, например, в азиатских империях, древнем Риме и современных тоталитарных государствах.

При растущей концентрации и централизации власти новая политика должна быть организована вокруг сообщества (города). Это не только необходимо, это возможно даже в таких крупных городах как Нью-Йорк, Монреаль, Париж или Лондон. Институциональная децентрализация не будет представлять из себя проблемы.

Децентрализованный город, даже обладающий демократическими структурами — отнюдь не гарантия удовлетворения гуманных, рациональных и экологических критериев. «Либертарный коммунизм» предполагает борьбу за экологическое и рациональное общество, борьбу, которая зависит от образования и организации. Он исходит из потребности населения остановить растущую концентрацию власти и вернуть ее их городу и региону. Если нет движения, добивающегося этих целей (а я надеюсь, что эффективное лево-экологическое движение появится), децентрализация может столь же легко привести к провинциализму, как и к экологическому и гуманному коммунизму. Однако, хотя города и регионы могут попытаться достичь ощутимой меры самообеспечения, мы давно оставили позади эру, когда автаркические города могли следовать за своими предрассудками.

Федерализм

Очень важна также федерация, связь отдельных (городских) сообществ через посредство делегатов с императивным мандатом, избранных общими собраниями, делегатов, которые одни только выполняют исполнительные и координирующие функции. «Либертарный коммунизм» требует не федерации национальных государств, а федерации городов и сообществ.

При «Либертарном коммунизме» провинциализм может быть сдержан не только взаимной экономической зависимостью, но и обязательством городских меньшинств соблюдать решения большинства.

Политика будет определяться собранием (жителей) города, администрация будет осуществляться в федеративных органах, состоящих из делегатов с императивным мандатом. Если отдельные сообщества или какое-либо меньшинство принимают свое решение и идут собственным путем, но при этом нарушают права человека или причиняют экологический ущерб, большинство в местной или локальной федерации имеют право этому воспрепятствовать. Это не антидемократично, это выражение общего решения всех уважать права человека и экологическую целостность региона. Федерация — это сообщество сообществ, которая действует с согласованными правами человека и экологическими потребностями.

«Либертарный коммунизм» будет все больше вступать в противоречие с национальным государством. Он станет контр-властью, которая борется с законностью государственной власти. Это движение будет развиваться скорее медленно, быть может, спорадически, в отдельных сообществах то тут, то там, которые вначале будут требовать изменений с позиций морали, пока не возникнет достаточно федераций, которые заменят индустриальную власть государства.

Коммунализация хозяйства

«Либертарный коммунизм» требует коммунализации экономики, а не ее концентрации на «национализированных» предприятиях или — в более мелком варианте — на кооперативно-капиталистических предприятиях, контролируемых рабочими (или самоуправляющимися). Он предполагает, что земля и предприятия поставлены под контроль сообщества, точнее, собраний граждан и их делегатов в федеральном собрании. Как будет планироваться труд, какие технологии будут применяться и как будут распределяться блага — на эти вопросы сможет ответить только практика. Принцип «От каждого по способностям, каждому по его потребностям» должен стать фундаментом рациональной экономики. Блага должны ориентироваться на критерии долгосрочного использования и качества, а потребности — на экологические и рациональные стандарты; античное представление о равновесии должно заменить рыночные буржуазные законы «расти или уми».

Капиталистический принцип «расти или уми» находится в радикальном противоречии с экологическими требованиями взаимозависимости и ограничения. Эти принципы не могут существовать параллельно, и невозможно придумать общество, где это противоречие было бы примирено и существовала бы надежда на выживание. Или мы достигнем экологического общества — или общество погибнет, причем для всех, невзирая на то, кто какой статус имеет.

Экологическое общество

Будет ли это общество авторитарным или даже тоталитарным, иерархическим, таким, как оно выражается в понятии «космического корабля Земля»? Или оно будет демократическим? Если у истории должна быть какая-то точка опоры, демократическому обществу следует обрести свою собственную логику в ясном отличии от экологического командного общества. Основы этого демократического общества — базисные движения.

Могут ли люди, справедливо добивающиеся новых технологий, источников энергии и транспортных средств, обрести новое общество, которое не было бы сообществом сообществ, а основывалось бы на этатистских принципах? Мы уже сейчас живем в мире, где экономика чрезмерно глобализирована, централизована и бюрократизирована. Многие из того, что могло бы делаться на местном уровне, сегодня во-многом (прежде всего по соображениям прибыли, в военных целях, исходя из имперских притязаний) делается на глобальном уровне. В результате все приобретает видимость сложности — но эта сложность может быть без больших трудностей сокращена.

Если сегодня это кажется утопичным, тогда далекими от действительности следует считать и всю литературу с требованием радикального изменения в энергетической политике, далеко идущего сокращения загрязнения воздуха и воды, планы предотвращения парникового эффекта и озоновой дыры. Разве чрезмерным было бы несколько развить эти требования и добиваться институциональных и экономических перемен, которые продолжают демократическую традицию?

Мы не должны произвести эти перемены немедленно, Левые долго занимались минимальными и максимальными концепциями преобразования общества, которые позволяли бы предпринять немедленные шаги и были бы увязаны с переходами и промежуточными этапами для достижения предполагаемой великой цели. Можно предпринять маленькие шаги, например, создание лево-экологического коммуналистского движения, которое пропагандирует идею общих собраний (пусть даже имеющих вначале только моральную функцию) и выбирает делегатов в городские и местные собрания. Эти мельчайшие шаги могут постепенно привести к созданию федеративных институтов и узаконению действительно демократических органов. Банки, принадлежащие городу, могут купить предприятия и землю, чтобы возникли новые муниципальные и экологичные предприятия, может быть создана сеть базисных групп в социальной сфере. Все это может развиваться в таком темпе, чтобы изменить политическую жизнь. Капитал отвернется от городов, перешедших к «либертарному коммунизму» — с этой проблемой сталкивается каждый народ, каждый город, радикализировавший свою политическую жизнь.

Обычно капитал притекает в регионы, где он может получить большие прибыли и хозяйничать, невзирая на политическую ситуацию. Но из глубоко сидящего страха перед оттоком капитала может развиться напротив, благоприятная ситуация для стабилизации политического проекта. Предприятия, находящиеся в собственности города, могли бы производить новые экологически ценные и питательные продукты, которые бы все больше давали понять населению, какой дрянью его заваливали в течении десятилетий.

По моему мнению, либертарный коммунизм с его акцентом на федерализм — это действительно та коммуна коммун, за которую боролись анархисты в течении двух последних веков.

Мы — зеленые, мы — анархисты!

Источник: [здесь](#)

На сегодняшний день наши взаимоотношения с природным миром переживают критическую фазу, которая не имеет прецедентов в истории рода человеческого. Последние научные исследования по проблеме «парникового эффекта» (глобальное потепление климата), проведенные в США свидетельствуют о том, что уже сейчас мы должны найти способ уменьшить процентное содержание диоксида углерода, присутствующего в атмосфере, в которой мы живем. В противном случае это обернется не только серьезными химическими мутациями, более того выживание рода человеческого будет в серьезной опасности.

Не говорится ни о чем, кроме как о проблеме дурного воздействия ядов, которые присутствуют в пище, которой мы питаемся, в то время как нарушение больших геохимических циклов может положить конец жизни человечества на этой планете. Со своей стороны я осознаю необходимость немедленно реагировать, чтобы остановить процессы, которые наносят ущерб почве. Я полностью солидарен со многими группами экологов, и в последние 30 лет ежедневно вовлекаю людей в деятельность по защите окружающей среды: против атомных электростанций, против строительства новых шоссе, против уничтожения почвы и против неконтролируемого использования пестицидов и диоксидов, и за развитие повторной переработки и за качественный рост, а не только за количественный.

Эти экологические проблемы беспокоили меня годы и десятилетия, также и сейчас они продолжают меня беспокоить. Я согласен с вами, что необходимо заморозить ядерные реакторы и положить конец загрязнению атмосферы, сельскохозяйственных земель, посевов и избавить нас от ядов которые распыляются над всей планетой и которые ставят в опасность нас и вообще все живое на планете. Разделяю с вами все это, но мне хочется, чтобы мы пошли немного дальше этих вопросов.

Я думаю, что главное двигаться дальше, нужно видеть дальше собственного носа, потому что мы не можем продолжать принимать пожарные меры то здесь, то там, и заклеивать пластырем пробоины в нашем корабле, так мы не решим наших истинных проблем. Возможно, добьемся однажды закрытия какой-нибудь фабрики, загрязняющей атмосферу. Но в финале, чего мы добились?: строительства какой-нибудь новой АЭС.

На самом деле проблема гораздо более серьезна: мы уничтожаем планету. Мы подрываем экосистемы, которые формировались многие тысячи лет. Мы разрушаем пищевые цепочки. Мы разрываем естественные природные связи и переводим часы эволюции на миллионы лет

назад, когда вселенная была намного более простой и не была в состоянии обеспечивать жизнь человека.

Более целостный взгляд на мир

Много говорится о технологии. Несомненно, технологический контроль очень важен. Понятно, что мы нуждаемся в новой технологии, основанной на солнечной энергии и на энергии ветра, и необходимы новые способы обработки земель. На это без сомнения согласятся все.

Но суть всех этих проблем намного более серьезна, чем чрезмерное и неконтролируемое развитие технологии в наше время. Мы должны искать истинные корни возникновения и развития этих проблем. И в первую очередь мы должны искать источники их возникновения в экономике, основанной на идее «увеличения объема»: рыночной экономики; экономики, которая стимулирует конкуренцию, а не сотрудничество, которая основана на эксплуатации, а не на жизни в гармонии. И когда я говорю о жизни в гармонии, я подразумеваю не только гармонию с природой, но и между людьми также. Мы должны действовать для создания нового экологичного общества, которое изменится полностью, радикально трансформирует наши основные взаимоотношения. Пока мы живем в обществе, которое исходит из завоевания, силы, опирающееся на иерархию, на подавление и подчинение, не будет ничего кроме ухудшения экологических проблем, независимо от уступок и маленьких побед, которых нам иногда удастся добиться. Например, в Калифорнии нам были пожертвованы несколько гектаров посадок деревьев, а вслед за тем вырублены целые леса. В Европе происходит тоже самое.

Обещали, что иссякнут кислотные дожди, а кислотные дожди продолжают идти. Решили поставлять на рынок только натуральные продукты, не отравленные пестицидами, и действительно процентное содержание пестицидов уменьшилось, но не намного, а другие яды, которые стали присутствовать более опасны для организма. Наша проблема заключается не только в улучшении состояния окружающей среды, или остановки АЭС, прекращения строительства новых шоссе или чрезмерного строительства, расширения и перенаселения городов, загрязнения воздуха, воды и продуктов питания.

Вопрос, который должен стоять перед нами намного более сложный. Мы должны достичь намного более целостного видения мира. Мы не должны охранять птиц, забывая про АЭС, и бороться против АЭС, забывая про птиц и сельское хозяйство. Мы должны достичь понимания социальных механизмов и сделать его более целостным. Должны рассмотреть их взглядом более логичным, логикой, которая предусматривает долгосрочные радикальные изменения общества и нашего собственного восприятия. До тех пор пока мы не добьемся этого радикального изменения, будем добиваться только чего-то незначительного и маловажного. Победим в нескольких битвах, но проиграем войну, улучшим что-то, но не добьемся какой-либо победы. Сегодня мы живем в кульминационный момент экологического кризиса, который угрожает нашему собственному существованию, мы должны ускорить радикальные изменения, основанные на целостном, логичном взгляде, который охватывает все наши проблемы. Причины кризиса должны быть показаны ясно и

логично, таким образом, чтобы все могли понять. Другими словами все экологические проблемы и проблемы окружающей среды есть проблемы социальные, на которые нужно смотреть фундаментально, с широким взглядом на вещи и на систему общественных взаимоотношений, основанных на подчинении и иерархии. Это и есть проблемы, которые стоят перед нами на сегодняшний день.

Никаких подарков со стороны государства

Что же в таком случае должны делать зеленые?

Во-первых, все мы должны внести ясность в свои мысли. Должны выявить реально существующие взаимосвязи между экологическими проблемами и проблемами социальными.

Мы должны показать, что общество, основанное на рыночной экономике, на эксплуатации природы и конкуренции, в конце концов, уничтожит планету. Мы должны сделать все возможное, чтобы люди поняли, что если мы хотим разрешить хотя бы одну из наших проблем с природой, мы должны озаботиться социальными взаимоотношениями. Люди должны понять, что все должно быть соединено в одном целостном взгляде на мир, во взгляде основанном на анализе, на критике и решениях политического, индивидуального и исторического уровня.

Это означает вернуть народу силу. Мы должны создать анархистскую политическую культуру, не ограничивающую нас в наших проектах, как это делает Государство. Мы должны создавать политическую литературу, политическую культуру, которая приведет людей к участию, освобождению, автономии, к самоуправляющейся экономике и обществу, к самостоятельному восприятию.

В отношении технологии мы не должны беспокоиться только о том, как сделать ее более продуктивной, мы должны изобретать созидательную технологию, которая несет с собой не только более творческий, интеллектуальный труд, но и которая способствует улучшению природного мира в тоже время и которая улучшит характер и качество наших жизней.

Но все это не придет к нам сверху. Не может быть никаких подарков со стороны Государства. Это не может воплотиться в законах издаваемых Парламентом (Правительством). Это должны быть плоды народной культуры, политической и экологической культуры, распространяемой народом. Тогда мы должны будем не более чем разработать стратегию для изменения общества, используя различные существующие институты. Мы должны будем разработать анархические стратегии, которые приведут народ, людей к участию в процессе социального изменения, потому что если люди не захотят изменить общество, то в таком случае не произойдут никакие реальные и радикальные перемены.

Когда мы говорим об экологии, мы говорим о своей принадлежности к природному миру. Мы говорим, что мы люди разделяем сферу жизни вместе со всеми остальными живущими и с ними ищем применения системы взаимоотношений, которая сделает нас участниками экосистемы.

Но я вас спрашиваю, дорогие друзья, если мы хотим быть зелеными, если хотим возродить планету: как мы можем сделать это без обновления общества также? А если мы хотим обновить общество: как мы можем думать об участии в природном мире, если не принимаем во внимание народное участие в социальной жизни?

Если мы не хотим ничего большего, чем просто прийти к власти, чтобы изменить общество, я гарантирую, что мы придем к поражению. Это уже происходило с некоторыми из моих друзей среди немецких зеленых, которые с добрыми намерениями находились в Парламенте, ища возможности заключать союзы, альянсы с различными партиями и применять власть сверху. Некоторым образом они превращались в духовных лидеров стремящихся к власти. Мы должны покончить с условиями существования власти, эмоциональными и психологическими. Рассуждая сейчас таким образом, что «из двух зол выбирают меньшее» в финале мы придем к худшему из всех возможных зол. Это то чему история учит нас всегда.

Уже давно мы зеленые излагаем анархистскую точку зрения, анархистские взгляды которые приводят людей в движение зеленых, которые могут сделать движение зеленых более сильным движением. Движением зеленых, в котором нас не ограничивают в продвижении вперед нашего целостного проекта, и которое соединит все проблемы в программу и проанализирует в общем, кроме того, таким движением зеленых, в котором люди будут главными действующими лицами их истории. Мы должны поддерживать создание анархистского общества: экоанархистского.

Это то чему нас учат примеры Германии и США, где некоторые движения нашли поддержку целей зеленых, действуя сверху через законы, и мы давно уже должны покинуть позицию позади других.

Я не хочу сказать, что мы не должны стремиться довести до конца перемены, которые могут замедлить или остановить упадок современного общества и природного мира.

Я знаю, что мы уже не имеем много времени для подготовки и планирования. Настоящие проблемы вовлекают также два последующих поколения, и возможно даже что два ближайших поколения будут решающими относительно выживания нашего вида и сохранения нашей среды обитания и нашей планеты. Во всяком случае, если мы не можем дать людям единое представление, точку зрения практическую и этическую одновременно, пусть спросят тогда сами свое восприятие; знаете, вы кто забрал себе власть в этом хаосе?: правые, реакционеры.

Сегодня в Америке правые определяют сами себя как «моральное большинство» и говорят: «Мы возвращаем важность жизни. Возвращаем важность человеческих взаимоотношений». И к несчастью, то что оставшиеся левые американцы не делают ничего другого, кроме как

говорят «прогресс», «централизация» и всех других таких же вещей, которые социализм повторяет уже 150 лет.

Во-первых, мы должны вернуть себе те условия, в которых люди ищут истину, а не только выживают: тот образ жизни, который говорит о качестве, а не только о количестве. Мы должны распространить связное, логическое послание для всего общества, которое будет сообщать, учить, что значит быть гражданином и принимать решения самостоятельно. Другими словами, мы должны создать новую политику, зеленую политику, которая заменит старую авторитарную и централистскую политику, основанную на партийной системе и бюрократии. Это есть то наиболее важное, что мы должны запомнить. Если мы этого не достигнем, то движения зеленых будут постепенно поглощены традиционными движениями. Главная цель растворится в маленьких целях и маленьких победах.

Компромиссы с «меньшим злом» всегда приводят нас к худшему злу.

Люди будут говорить: «Что это? Такая же политика как всегда? Такая же бюрократия как всегда? Тот же парламентаризм, который был всегда? Почему я должен голосовать за зеленых? Почему я должен давать силу зеленым? Почему не должен я продолжать поддерживать демократическую партию, или партию коммунистов или какую-либо другую партию, которая гарантирует немедленные результаты?»

Мы должны отдавать себе отчет в том, что необходимо заменить старую, традиционную политику партийности, новой зеленой политикой. Что нужно решительно закладывать фундамент в здание человеческого единства, что необходимо применять анализ который пойдет дальше чистой окружающей среды и других важных проблем, которым мы посвящаем себя ежедневно (пестициды, ядерная энергия и т. д.)

Мы должны отдавать себе отчет, что это общество не только жестокое и бесчувственное, но и, кроме того, что его же собственные законы предусматривают его же собственное уничтожение, уничтожение планеты и оснований для выживания человечества. Мы должны создавать новые альтернативы, новые институты, основанные на местной демократии, на местном участии, которые смогут стать новой силой против централизованного государства, которые смогут создать новую систему социальных отношений, в которой с каждым разом количество людей реально принимающих активное участие в анархической политике будет увеличиваться.

Это наша единственная альтернатива, чтобы предотвратить падение в ту же политику партийности, коррупции и превосходства, которая превращает людей в циничных, равнодушных, закупоренных в своем тесном мирке индивидов.

Переходный момент

Позвольте мне закончить последним важным доводом. Мы боремся не только за улучшение наших человеческих взаимоотношений. Рыночная система, капиталистическая система продолжает уничтожать не только комплексную работу миллионов лет, но также и

духовное начало в человеке и человечестве, оставляя спутанность и пустоту, которые и формируют личности. Поэтому наша новая политика не должна иметь своей единственной целью спасение планеты и создание экологичного, зеленого общества анархического характера. Мы также должны смотреть намного дальше всего этого: если мы не положим конец «упрощению» планеты, человеческого единства и общества, то достигнем такого «упрощения» человеческого духа, что иссякнет и дух непокорности, единственный способный породить социальные изменения и реальное возрождение планеты.

Сегодня мы живем в переходный момент, не только от одного общества к другому, но и от одной личности к другой, новой.

Большое спасибо!

Мы не можем спасти окружающую среду без перестройки общества

1989, источник: [здесь](#)

У нас есть склонность считать экологические катастрофы — такие, как, например, разлив нефти при аварии танкера Exxon Valdez возле Аляски — просто «несчастными случаями»: отдельными явлениями, которые случаются неожиданно безо всякого предупреждения. Когда же, наконец, само слово «несчастный случай» станет уже более несоответствующим? Когда такие происшествия будут признаны неизбежным следствием нашего общественного развития, а не просто «несчастными случаями»?

Для защитников окружающей среды особенно важным должно быть понимание того, что глобальный экологический кризис — это результат социального и экономического устройства нашего общества, а не просто следствие отдельных неудач. Если происшествие с Exxon Valdez трактовать как несчастный случай — также, как и Чернобыль или Три Майл Айленд — общественное мнение снова будет отвлечено от кризиса поистине исторических пропорций: мы живем в обществе, которому присуща антиэкологичность. Это положение не может быть исправлено действиями государственных деятелей или отдельными законодательными актами. Нашей задачей является глубокое структурное изменение общества.

Пожалуй, наиболее заметной проблемой является бесконтрольный рост. В современном обществе неограниченный экономический рост принято считать свидетельством прогресса человечества. В действительности, рост является почти синонимом рыночной экономики, которая превалирует сегодня в США и в мире. Этот факт находит яркое отражение в популярном лозунге бизнеса: «Расти или погибнуть». Мы живем в мире соревновательности, в котором конкуренция является законом экономической жизни.

Недостаточно, однако, обвинять в наших экологических проблемах только лишь рост. Система глубоко укоренившихся структур — в которой рост является лишь поверхностным явлением — определяет наше общество. В широкой рыночной экономике (будь то корпоративный тип в Соединенных Штатах или бюрократический тип в Советском Союзе) конкуренция сама по себе порождает необходимость роста. Рост для каждого предприятия является лучшей защитой против угрозы поглощения конкурентом.

Если рассматривать рост в отрыве от его фундаментального источника — конкуренции в рыночном обществе — требования контроля за ростом бессмысленны, равно как и невыполнимы. Мы не можем ограничивать рост, оставляя неизменным рынок, также как и не можем сдержать эгоизм, оставляя неизменной конкуренцию.

Другое популярное объяснение экологического кризиса — увеличение населения планеты. Этот аргумент выглядел бы убедительным, если можно было бы показать, что страны с наибольшей скоростью роста населения являются наибольшими потребителями энергии, сырья или хотя бы пищи. Но не секрет, что индустриальные нации, которые демонстрируют самую низкую рождаемость наносят непропорционально большой экологический вред.

«Индустриальное общество», если применять это мягкое определение капитализма, также стало простым объяснением экологических бед, которые потрясают наше время. Но блаженное неведение скрывает тот факт, что несколько веков назад, большая часть лесов Англии, включая легендарные леса Робин Гуда, была уничтожена грубыми топорами пролетариев-угольщиков для получения ежедневного топлива для кузниц и для очистки земли под выпас овец. Это произошло задолго до индустриальной революции. Технология может углубить проблему или усилить ее воздействие. Но редко технология вызывает саму проблему как таковую.

Обсуждать возможность решения проблемы роста вне соответствующего социального и экономического контекста означает исказить и индивидуализировать экологическую проблематику. Несправедливо и неверно заставлять людей поверить в их личную ответственность за экологическую угрозу сегодняшнего дня по той лишь причине, что они слишком много потребляют или рожают слишком много детей.

Эта индивидуализация экологического кризиса привела многие природоохранные движения к полной неэффективности и угрожает снизить доверие к ним со стороны общественности. Если «простая жизнь» и ортодоксальное «вторичное использование продукции» являются нашим единственным ответом на экологический кризис, кризис будет безусловно усиливаться.

По иронии, множество простых людей и их семей не в состоянии «жить просто». Это рискованное предприятие, если принять во внимание высокую стоимость «простых» ручной работы вещей и несоразмерную цену органической или вторично переработанной продукции.

Общественная забота об окружающей среде не может быть ориентирована на обвинение роста, без объяснения причин этого роста. Но и объяснение не может быть исчерпано ссылками на «потребление» при игнорировании зловещей роли, которую играют соревнующиеся производители в удовлетворении общественного вкуса и направлении покупательской энергии. Социальные корни наших экологических проблем будут оставаться скрытыми, если упрощать кризис как таковой и мешать тем самым его разрешению.

Откуда мы пришли? Что мы из себя представляем? Куда мы идем?

1985, источник: [здесь](#)

Мюррей Букчин является автором множества книг и брошюр, самые знаменитые из которых — «Post-Scarcity Anarchism» и «The Ecology of Freedom». Его идеи оказали глубокое влияние на некоторых членов «Kick It Over». Это интервью было взято на конференции по экономическому развитию в Ватерлоо, провинция Онтарио в начале 1985. Спасибо Стиву за помощь и Мюррею Букчину за то, что уделил нам время. Интервью взято Роном Хэйли и отредактировано Александрой Дэйвон.

К.И.О.: В своих работах, вы говорили что в настоящее время мир претерпевает важные изменения, сравнимые с переходом от охоты и собирательства к земледелию или от земледелия к промышленному производству. Не могли бы вы поподробнее остановиться на том, почему это происходит сейчас?

Мюррей Букчин: Под этими трансформациями я подразумеваю кибернетизацию, генную инженерию, нуклоны, а также с выходом на новый уровень развития электронных технологий (в том числе и средств наблюдения) в различных сферах общественной жизни. Масштабы этих изменений поражают. На сегодняшний день мы имеем полностью разложившуюся экономику и общество, которое стремилось откопать секреты материи и жизни на самом фундаментальном уровне.

Однако такое общество, ни в каком отношении, не способно использовать это знание для извлечения общественной пользы. Очевидно, «есть остатки еды, упавшие с империалистического банкетного стола», но, в общем, мое знание и весь мой опыт общения с капитализмом и иерархическим обществом показывает, что почти каждое улучшение — в лучшем случае просто обещание, а в худшем — смертельные разрушения для мира.

Таким образом, когда речь заходит о произошедшем объединении... Только за время моей жизни когда произошло проникновение в глубочайшие секреты материи, развитие ядерной энергетики, превращения вещества в энергию и появление биоинженерии, я понимаю, что мы столкнулись с революцией грандиозного значения, и пока эта революция находится в руках капитала или государства ее воздействие на общество будет легко разрушаться.

Я не могу сказать, что это пойдет на пользу человеческому обществу или экологии нашей планеты настолько, насколько это будет использоваться для господства и иерархии, на чем как всегда, в той или иной степени, и заканчивается список применений технологических новаций.

Рамки революции могут быть обрисованы множеством способов. Прежде всего, кибернетика угрожает подрвать статус непрофессионального рабочего класса. У меня есть предположение, что если автоматизация укорениться, то увольнение десятков миллионов людей станет лишь вопросом времени. Численность индустриального рабочего класса по меньшей мере в главных Американских и Европейских центрах значительно сократится, по всей видимости до прослойки которая не превосходит численностью американских фермеров (а их, как известно, около 4 миллионов).

Мы уже являемся свидетелями угасания Американского рабочего движения, организованного движения профсоюзов в котором теперь состоит лишь каждый пятый рабочий, в отличие от каждого третьего (и это кстати уже показатель уменьшения силы рабочего класса). Это также говорит о деградации классового сознания на элементарном профсоюзном уровне. Я не говорю о синдикализме. Я имею ввиду обычный трейд-юнионизм. Еще можно ожидать, что численность рабочих которая сейчас составляет не более 17 млн. чел., после рывка в 27 миллионам, в итоге снизится до 10 млн., потом до 7, и в конечном итоге до 5 миллионов. Не нужно обладать даром предвидения, чтобы понять что рабочий класс стремительно сокращается.

Я еще застал время когда фермеров насчитывалось около 30 млн., а теперь же их численность составляет всего 4 млн. Это огромный перелом, прежде всего в процессе производства продукции. Это революция в классовой структуре данного общества.

Необходимо хорошо помнить, что, с точки зрения марксистов или анархистов, в особенности синдикалистов, население должно было стать более «пролетаризированным», а его сила заключалась в контроле над средствами производства.

Одним из основополагающих в анархо-синдикализме, не говоря уже о марксизме, всегда являлась идея о том, что рабочий класс является всемогущей силой, чей повсеместный удар должен парализовать систему. Но чем больше снижается его численность и чем больше производство становится роботизированным, тем бесполезней становятся концепции, подобные этой.

Это будет первым последствием, назовем его – ослабление рабочего класса, как реальной силы. Другим последствием должны были стать политические проблемы вызванные этим. Так сказать, какая политическая структура будет заниматься с таким количеством «ненужных» людей? Что будет с теми десятками миллионов людей не имеющих места в этом обществе? Как они будут использоваться? Где они будут работать?

Конституция Соединенных Штатов все еще в значительной мере аграрная, основанная на республиканских принципах, принять которые не могла даже буржуазия. Она извлекала из них пользу, но не принимала их. Речь идет о принципах, сформулированных Виргинскими

аристократами, которые все еще имели аграрные виды на будущее, хотя большинство и было уже зажато в тиски капитализма. Такова картина американского республиканизма и американской демократии. Я также бы включил бы сюда еще и аспекты канадского федерализма. Такие структуры (мы определяем их как «буржуазные революционные структуры») полностью не сопоставимы с дальнейшим развитием капитализма.

Система сдержек и противовесов существующая в американской конституции и которую мы однажды, как радикалы, окрестили очень реакционной потому как она не давала власти народу, фактически служит для контроля за исполнительной властью и сдерживает тоталитаризацию американской политической жизни. Рейган был вынужден вывести флот из Бейрута. Он не может легко оккупировать Никарагуа, из-за той самой системы сдержек и противовесов, которая однажды была названа недемократической, но которая сейчас в сущности не позволяет высоко авторитарному президенту творить в мире все что ему хочется.

Кроме того, у нас все еще существует республиканская система с демократическими чертами, которая не исключают возможности протеста, существования общественного мнения и держится на манипулировании населением и контроле за ним, в особенности это касается людей, стоящих у пропасти экономического уничтожения.

Таким образом, я вижу неестественный монтаж, конфликт между так называемым «буржуазным» прошлым и капиталистическим будущим. Я не думаю, что мы сможем игнорировать эту натянутость. Буржуазное прошлое имеет либертарные черты: городские собрания Новой Англии, муниципальное и местное управление, американский миф о том, что чем меньше государственный контроль тем лучше, а также американскую веру в независимость и индивидуализм. Все это полностью противоположно кибернетической, корпоративной экономике и высокоцентрализованной политической системе, которая необходима для управления этой экономикой во внутригосударственном и мировом масштабе, не говоря о буржуазии, которая во многом заинтересована в консолидации власти. Эти противоположности должны столкнуться. У них есть крайне радикальный потенциал и так ли иначе мы должны будем иметь с ними дело.

К.И.О.: В некоторых работах, вы и некоторые ваши коллеги говорили о том, как каждый способ производства, пользуясь марксистской терминологией, имеет тенденцию создавать собственную эпистемологию или, другими словами, взгляд на мир. Существуют ли заслуживающие внимания идеологические тенденции соответствующие данным экономическим изменениям?

Мюррей Букчин: Наиболее важная тенденция – это вторжение потребительского мировоззрения. Оно выражается во фразах, типа «Я куплю эту идею», «Какова прибыль?» или же «Я хотел бы некоторой компенсации». К таким выражениям нельзя относиться несерьезно. Они — не просто идиоматические попытки приспособиться к с теории систем и кибернетике. Эти фразы реально отражают предпринимательский и кибернетический менталитет, что очень важно с точки зрения теории познания.

Современная корпорация это система. И не случайно, что теория систем стала расцениваться сейчас как империалистически всепроникающая. Мы используем ее язык: обратная связь, вход, выход. Для нас слово диалог уже происходит не от греческого «диалогос», логос – означает мышление, так же как и речь. Мы используем слово информация в контексте данных, а не в смысле «придания формы чему-либо». Теперь мы мыслим в рамках типологий, (согласно определению словаря, доктрина или учения о типах или символах – прим. ред.) а не процессов. Таким образом, мы развиваем блок-схемы и ___ примеры (образцы, модели) которые с философской точки зрения расходятся с идеей изменения общества. Мы больше рассуждаем с точки зрения действующего баланса конкретного общества, нежели с точки зрения диалектической концепции изменения, самопреобразования и саморазрушения хозяйства, в котором семя саморазрушения вмуровывается в общество.

Такой тип логической и кибернетической ментальности показывает приспособление к статус-кво. Это предполагает некую данность – корпорации будут существовать корпорации – как мы собираемся сделать их более эффектными или эффективными? И если они деструктивны, то как снизить эту деструктивность. И если они разорительны, как сделать их менее разорительными. Это глубоко вредит не только нашему языку, поскольку множество мыслей формируется языком, самой способностью думать. Мы нуждаемся в действительной очистке языка, иначе такой тип ментальности разложит наше революционное мышление. Уже существуют писателей вроде Юргена Хабермаса, использующих типологии и схемы. Этот человек утверждает что он марксист, но, по моему мнению, он расходится уже с диалектической сущностью марксизма, которая построена на идее имманентного развития, где «разрушение» скрыто в любом общественном порядке. Типологический подход подразумевает отсутствие «разрушения», наличие только плана. Он рассматривает информацию действительно как форму, а не только данные. Вы предполагаете, что структура общества статична, и, исходя из этого, главным является изучение внутренних механизмов, как будто бы общество было двигателем. И все, что вам останется делать – это обсуждать где детали работают эффективно, а где их можно усовершенствовать техническими способами, таким образом, вы живете в рамках статус-кво по привычке, даже не зная, что вы живете именно так.

К.И.О.: То о чем Вы говорите, кажется связанным с целым курсом на информационно-ориентированную экономику. Это ставит меня в тупик. В прошлом всегда полагали, что практическим результатом экономики должно быть производство реальных товаров и услуг, реального блага. Теперь же таким результатом становится покупка, продажа и обработка информации. Не могли бы вы прокомментировать, что это означает с точки зрения экономики, почему это происходит сейчас и как соотносится с более традиционными экономическими процессами.

Мюррей Букчин: Интересно, что вы использовали термин «практический результат». Я не хочу показаться критичным. Я лишь показываю, насколько бессознательно мы оперируем такими понятиями в рамках парадигм и типологий капитализма.

Мы собираемся производить предметы потребления. Информация также является таким предметом, причем обладающим преувеличенной важностью. Но информация – это не

просто возможность продать что-либо, она используется для производства. Таким образом, я не вижу, что мы вошли в информационный век, однако я думаю, мы учимся собирать информацию и использовать ее для всех видов манипуляций, будь-то экономические, политические или психологические.

Я против использования слова «информация», также как и против использования слова «деиндустриализация». Я полагаю, то, что они делают – есть кибернетизация экономики, которая будет производить товары, главным образом для военных нужд. В США идет процесс не столько деиндустриализации, сколько реиндустриализации новым путем. Американцы поворачивают экономику на военные рельсы. Ее главными продуктами являются реактивные снаряды, ракеты, спутники, космические технологии, оружие и все, что с этим связано. Они готовы разрешить Японии, Азиатским странам производить в основном текстиль, а Мексике и Третьему миру товары традиционного капитализма. Они всегда поддерживали такой баланс, вместо того, кстати, чтобы, по меньшей мере, удовлетворить свои минимальные потребности.

К.И.О.: Существует большая поляризация экономики, связанная с тенденцией к комьютеризации, но, по правде говоря, я склонен думать, что она пойдет и дальше, потому в Северной Америке есть много людей, имеющих большие деньги. Пришло ли это из эксплуатации Третьего мира, как направление от обнищания рабочего класса к зажиточному консьюмеризму? Что будет происходить в связи с тем, что многие люди становятся «ненужными» с экономической точки зрения? Будут ли они искусственно поддерживаться как потребители или же будут доведены до нищеты?

Мюррей Букчин: Я не могу предугадать, что они будут делать. Это выходит за пределы моей жизни, моего времени и эры. Я могу лишь предложить различные варианты развития событий. Они могут милитаризовать все общество, где каждый слой будет, в форме или нет, но работать на военные нужды. Они также могут быть вынуждены начать регулировать рождаемость. Я не подразумеваю геноцид, но некоторые формы снижения численности населения вполне возможны. Они могут создать двухклассовое общество и экономику, в которых они будут богачами, а остальные люди будут заботиться о себе сами.

Существует футурама названная Blade Runner – наиболее реалистичная, из всех что я видел, по крайней мере, с позиций того как может выглядеть будущее. Разделенное уровневое устройство общества, привелигированные люди живут в ошеломляющих небоскребах, тем временем как ниже по улице можно наблюдать мерзость нищеты, деклассированный пролетариат. Биоинженерия в этой футураме играет важную роль.

Так или иначе, общество будет строго контролируемым. В этом я убежден. Тоталитарным или авторитарным – вот это сложно предугадать.

К.И.О.: Одной из наиболее волнующих вещей для меня является то, что говоря в контексте либертанных сил, а также некоторых описанных Вами вещей, никогда не было так сложно предугадать что происходит или какие различные тенденции существуют. Складывается довольно противоречивая ситуация.

М.Б.: Да. Я знаю. Это происходит потому что капитализм перестраивает всю свою классовую базу. Капитализм никогда не был чистой системой. Мы до сих пор не знаем, что из себя представляет сформировавшийся капитализм. Капиталистические общества 19 века имели большое количество доиндустриальных черт. По общему мнению, в производстве господствовал капитализм, но если вы бы сделали шаг из непосредственно промышленного сектора, то попали бы в пригороды, которые действительно докапиталистичны и доиндустриальны. Увидели бы семейные фермы и расширенные семьи. Здесь не было молотов или супермаркетов, однако небольшая семья образовывала истеблишмент.

Сейчас, и особенно с 1950-х, (и помните что я считаю Вторую мировую войну коренным переломным моментом в истории всего человечества, не только в истории капитализма) когда вы возвращаетесь домой, вы возвращаетесь в поле прямого медиа-контроля в форме ТВ. Вы привязаны к Betamax и VCR. У вас есть телефоны. У вас есть нуклеарные семьи (состоящая из родителей и детей) и холостяки, живущие в многоэтажках. У вас есть торговые центры. У вас есть авто. И капитализм захватывает вашу жизнь, язык, который вы используете, отношения, которые вы строите. Капитализм, более или менее, встал на свои позиции, и мы начинаем наблюдать, что из себя представляет зрелый капитализм, или по крайней мере наблюдать начала зрелой формы капитализма в контрасте с ранними капиталистическими системами, которые были еще очень смешаны с доиндустриальными, полуфеодальными патриархальными формами.

Я не утверждаю, что раннее общество было лучше, но я утверждаю, что по крайней мере дух сопротивления мог бы был вскормлен сетью общин, путем дискурса, в котором ты был бы свободен от масс-медиа и системы образования, что многие молодые люди сегодня не могу даже представить. Все памятные бунты против капитализма, взять Россию 1917 или Испанию 1930х, или другие восстания, на протяжении истории, в действительности были прежде всего «работой» крестьян. Это были люди, которые существовали в условиях трений между двумя культурами. Даже в 30-е это было возможно, потому что люди, жили в таком же состоянии. С одной стороны докапиталистической и доиндустриальной, с другой капиталистической и индустриальной.

Чистый рабочий класс – это фикция. Наследственный рабочий класс – это фикция. Фактически, где бы рабочий класс не становился наследуемым, он начинал снабжать систему. Это наиболее ярко проявилось в Германии, где у рабочих так или иначе никогда не было шанса на революцию. Не смотря на Розу Люксембург. Она понимала, что успешная революция рабочих в центральной Европе невозможна.

И до сегодняшнего дня, когда говорят о революциях, имеют ввиду национальные революции крестьянских масс. Таким образом, бунт обычно формировался среди классов, чуждых капитализму. Мы называли их рабочими, потому что они были связаны с фабриками, но мы забыли что они всего на один шаг ушли от деревни. Так было в случае с Россией. Так было в Испании. Так было, в большой степени, во Франции времен Парижской коммуна ремесленников и кустарей. Это были не промышленные рабочие, которые вели за собой Коммуну, а старые санкюлоты (согласно краткому оксфордскому словарю, парижские республиканцы, низы Французской революции).

Даже британские горнорабочие до сих пор живут в деревнях: они не являлись лондонским пролетариатом, который был в высшей степени недоволен их стачкой. Этот рабочий класс полностью исчезает. Он становится вымершим, и это серьезный вопрос, так или иначе, были ли рабочие, представители промышленного пролетариата, образующие массовое производство, чем так восторгался Маркс, революционны, были ли они когда-либо способными быть революционными как класс, а не как простые рабочие. Рабочие люди могут стать радикальными. Моя точка зрения заключается в том, что пролетариат, плотно объединенный как класс, в лоне капитализма, разрушит капиталистический общественный порядок за счет его максимального растягивания. Фактически, само распространение капитализма полностью разрушает класс, который проявляет даже простую надежду на любую форму революционной, или по крайней мере бунтарскую оппозицию капиталу.

К.И.О.: Существуют несколько любопытных разработок в области науки и философии (в особенности в биологии). Речь идет о смене парадигм и новых методах анализа вещей в философии. Например, Дэвид Бом написал книгу о теории «запутанного порядка». Это смотрится почти как будто бы все маленькие клочки пытаются соединиться и создать что-то новое, но какие шансы что это произойдет?

М.Б.: Что ж, я думаю, что в первую очередь необходимо развивать опору в чем-то больше нежели общественное мнение. Дабы подтвердить мои слова — идея смертной казни в особенности популярна во вторник, потому что 51% людей за, или непопулярна в среду потому что 51% против. Такая релятивистская мораль не имеет никакой ценности или значения. Я думаю, что мораль должна основываться на чем-то объективном. Греки пытались сделать это, основывая ее на природе, и их мысли явились некой концепцией закона природы или натурфилософии.

Экология возрождает эту мысль – искать что-то на чем действительно основывается идея или благо добродетели, некий критерий которого определяет что есть хорошо и что плохо, то есть не просто подчиненный превратности «Что хорошо для меня, то хорошо для меня, а то, что хорошо для тебя, хорошо для тебя» (весьма функциональная и замыкающаяся в себе мораль).

Я разрабатывал собственный подход к морали, достаточно оппозиционный по отношению к Викторианской концепции природы. Викторианская концепция природы подразумевала природу в царстве жестокости, будто бы у нее была своя мораль, природа ограничена, слепа и нема, а общество – царство разума и свободы. Эта детерминистская концепция заключалась в том, что технология несет освобождение, в отличие от скудных ресурсов и жадности природы. Экологический подход, с другой стороны, гласит о том, что природа ни добродетельна, ни жестока, ни что-либо другое. Наоборот, природа плодородна (богата, насыщена, итп), всегда технически прогрессивна, это сфера возможностей и трудностей, сменяющих друг друга экосистем. И вы можете поставить, так сказать, общество вне природы или же развивать моральные принципы неотделимые от природы.

Я мог детально рассказать об этом, но тогда нам потребовался бы отдельный разговор, чтобы определить как человек может преодолеть дуализм, существующий между душой и телом, природой и обществом, в котором две вещи противопоставлены друг другу.

Человеческое общество явно отличается от сообществ растений и животных тем, что у нас нет институтов, позволивших Николаю Второму стать русским царем, интеллектуально и психологически он не был готов даже к почтовой службе, или для Луи XVII стать кем-то большим чем обычный слесарь и подчинить себе судьбы миллионов людей.

Таким образом, различие между обществом и сообществами животных или растений должно быть определено, но я могу сказать как, путем посредничества отношений между матерью и ребенком, общество начинает пускать корни в длительную раннюю стадию развития молодежи. Это называется социация. Это характерный человеческий атрибут который в конечном итоге ведет к объединению семейных отношений сначала вокруг матери, а после вокруг общества целиком. Происхождение общества — это «не каждый против всех» как утверждал бы Гоббс или множество ярых индивидуалистов. Истоки общества прежде всего в объединении, партнерстве, участии и заботе.

Я думаю эта двойственность может быть преодолена в исторической перспективе. Дух не может быть отделен от тела, потому что дух происходит от тела. Фактически это естественная история развития мышления от простых, реактивных клеток до сложных нейронных сетей и, в конечном итоге, к различным формам интеллекта и их интеграции.

Я не думаю, что стоит связываться с пропастью между интеллектом и природой потому что интеллект появился из природы. Нет никакой необходимости работать с дуалистической концепцией. Мое видение природы – это не ограниченная, жестокая, слепая природа, которая должна быть завоевана, наоборот плодородная природа, всегда дающая рост великим сложностям, открывающая новые эволюционные магистрали по которым животные и растения, участвуют в эволюционном развитии. Так что существует не только естественный отбор. Существует участие видов в их собственной эволюции. Эволюция – это активный процесс, идущий как от самих видов, так и от их генетики или мутаций.

Все это приводит нас к мысли о том, что зародыш свободы возникает в природе. Речь не о той свободе, которую мы знаем, где мы осуществляем выбор, волю, сознательные решения, а о герминальной свободе, создающей возможности, путем которых животные сами участвуют в своем отборе для выживания. Это не только вопрос выживания в природе, это вопрос развития, роста и сложности. С этой позиции я могу сказать что свобода – это лейтмотив эволюции, не менее значимый чем сложность. Что развитие нервной системы – это лейтмотив эволюции, что сознание или движение к сознанию — это лейтмотив эволюции и эта эволюция растений и животных переходит в социальную эволюцию. Именно исходя из этого я очень тщательно прошупываю почву, созданную для морали. Я не говорю, что природа духовна. Мы духовны. Но основа морали может быть установлена так: свобода – лейтмотив эволюции жизни. Это не просто идеалистическая цель.

Что меня сбивает с толку во многих экофилософиях существующих сейчас, это то, что они структурированы вокруг теории систем. Я нахожу ее очень полезной, однако, она склонна к упрощению и корпоративна в некотором отношении, за что я уже начал критиковать эту теорию. Но чтобы империализировать ее и сказать, что это полнота всего – тревожит меня и возмущает, как если заявить, что пассивно-рецептивная эпистемология или Таоизм – это альфа и омега эко-философии. Я начинал говорить о множестве хорошо известных экологов,

рассматривающих системную теорию как метод и парадигму, и использующих пассивно-рецептивную точку зрения: «не вмешивайся, оставайся в стороне. Дайте природе идти своим путем. Любой тип технологий конфликтует с природой». Я считаю что люди могут сознательно вмешиваться в дела природы не пытаясь доминировать над ней. Они могут действовать как продукты природы, как обладающая самосознанием природа, способная упростить спонтанный и сложный процесс развития, идущий рука об руку с характером природной эволюции.

Моя эко-философия, если можно так выразиться, отлична от многих других эко-философов. Важно то, что люди чувствуют необходимость в эко-философии, и эта потребность исходить не от философов, а от ученых, как это ни странно. Они нуждаются в ней, по иронии судьбы философия, которая очерняет природу и рассматривающая ее как архаичную, сталкивает научное сообщество с растущей необходимостью обращения к философии или же выработки своей собственной. И если мы не сможем поддерживать огонь радикальной философии, можно будет получить весьма реакционную философию, включающую фантастику типа «почва и кровь», «ген эгоизма», или социобиологию Вильсона.

К.И.О: Один мой знакомый рассказал мне интересную вещь – много «Нью Эйдж» и феминистских духовных обществ Германии 20х годов разделяли идеи нацистской мистики.

М.Б.: Это чрезвычайно волнует меня с тех пор, как я глубоко занимался Немецкой историей. Были также и попытки приписать это германским Зеленым, но я думаю что все нелепое упрощение того, что происходило в Германии. Прежде всего, Вандерфогель был полностью раздроблен. Одна часть примкнула к фашистам, другая к социалистам. Некоторые же стали реакционерами или революционерами.

К.И.О: Что представлял из себя Вандерфогель?

М.Б.: Вандерфогель – «странствующие птицы». Молодежное движение, получившее развитие в начале 20 века, которое было наполнено романтической любовью к природе, коллективному существованию в близости к природному миру, пытавшееся раскрыть в человеке интуитивные чувства и отвращение к капитализму. Было бы однобоко считать, что в таких движениях не было ничего кроме стремления к органицизму – коллективное мышление людей, которое должно было привести к фашизму с его мифами о почве и крови. Ни коим образом такое движение не было вынуждено идти в этом направлении, и ни в коем случае оно не шло. Многие люди из Вандерфогеля позже ударились в натурфилософию марксизма, например Эрнест Блох, или примкнули к анархистам, как Густав Landauer. Не все они стали нацистами.

Фактически, нацизм вырос из французских товарищеских отношений солдат в сражениях времен Первой мировой. Оно послужило для Гитлера прототипом сообщества воинов в окопах. Большинство пыталось воспользоваться органическим течением в немецкой мысли, поэзии, традициях романтизма, даже возвращаясь к Хольдерлину, Гегелю и Шиллингу, но Гитлер сам по себе был животным и использовал все, что он мог найти, в том числе и социалистические идеи. Нацистский флаг представлял собой красное полотно со свастикой, а Муссолини принял черные рубашки из-за популярности анархизма в Италии. Их называли

чернорубашечники. Выбор черного был попыткой отождествиться с синдикалистскими тенденциями в среде итальянских рабочих, что же теперь, получается что анархизм ведет к фашизму? Я могу привести больше фактов о том, что социализм и социал-демократия ведет к фашизму, нежели к нему могут привести традиции романтизма.

Гитлер назвал свою партию Социал-демократическая партия Германии. Они использовали выражение «социал-демократия», «товарищ». Они использовали методы мобилизации масс, присущие социал-демократам. Фактически, когда Гитлер впервые посетил Вену, он был удивлен колоннами рабочих, марширующих с красными флагами, и был вдохновлен этим же на создание целого театра для Нюрнбургских съездов. Его программа была антикапиталистической. Он принял язык социалистического движения. Что я теперь должен сказать, что марксизм эквивалентен фашизму?

КЮ: Кто-то может.

М.Б.: Я не верю, что Маркс был фашистом. Я не думаю, что он пытался создать фундамент фашизма. Так же как я не верю, что Шиллинг был фашистом или что движение «Вандерфогель» создавало почву для фашизма. Это полное недоразумение. Кроме того, Гитлер цинично относился ко всему этому. Он использовал любые идеи, которые находил, и соединял их в эклектичную смесь, что породило брожения внутри нацистской партии, возглавляемые Грегором Штрассером. Он расколол нацистскую партию и призвал приноровиться к Прусскому Юнкерству и капиталистам, а также настоял, чтобы партия следовала социальной программе. Конечно Гитлер вычистил неверных, потому что буржуазия и Юнкера боялись движения, которое больше относилось к социализму, чем к расизму и фашистским вымыслам о почве и крови.

Это полная чепуха. Почему они не видят границ, до которых можно «высасывать» Гитлера из социализма, также как и Муссолини из анархизма? Муссолини считал Прудона своим наставником. Я не говорю, что социализм или анархизм ведет нацизму. Но я настойчиво спрашиваю где те люди, которые утверждали что немецкие романтические традиции или Немецкое движение «Вандерфогель» и любовь к природе содействуют нацизму? Почему они такие избирательные? Почему бы им не взглянуть на свои собственные идеологии и найти в какой мере они ведут к фашизму? Это выводит меня из себя потому что немецкие зеленые повсюду признаются виновными за их экологические взгляды. И я думаю, что это грубейшая разновидность не только редукционизма, но и вульгаризации крайне сложной немецкой истории и запутанной роли коммунарских и экологических взглядов в политике 20 века.

К.И.О: В северной Америке движение зеленых представляет собой смешанную картину. Я знаю что в Канаде, и это верно и для других мест, есть множество карьеристов слетающих на политику зеленых как мухи на труп, а также технократических тенденций внутри движения. Что вы видите нового в Североамериканском, или, будем брать шире, в общемировом Зеленом движении? Что является причиной его сложностей и расхождений?

М.Б.: Позвольте мне прежде всего объяснить, что я подразумеваю под политикой Зеленых, потому что я не имею ввиду парламентскую политику и не верю в капитуляцию государства или попытку действовать внутри него. Это большая ошибка. Я верю в либертарную

политику. Я говорю в сущности о том, что анархо-синдикализм не может больше служить для объяснения и мобилизовать силы, которые изменят капитализм и, будем надеяться, полностью избавят нас от этой системы. Что я подразумеваю под политикой? Прежде всего я вернусь к Греческому значению этого слова. Я не имею ввиду искусство управлять государством; оно действует как партия внутри государства с перспективой получить над государством контроль. Когда я использую слово «политика», я возвращаюсь к исходному эллинскому значению слова полис, Афинский полис.

Я прошу читателей не напоминать мне то, что я уже знаю; он был патриархальным, он был военизированным, он подразумевал рабовладельческое общество, а также был очень ограниченным. Когда я говорю о политике в Афинском смысле, я имею ввиду лучшие черты – участие граждан в открытой демократии, принятие решений, систему народного ополчения, наличие собственного оружия, систему ротации и т.п. Все это либертарные идеи. Таким образом, говоря о политике, я имею ввиду политику в значении полиса и сообщества, децентрализованного, конфедеративного, построенного на ротации, жеребьевке, и поиске консенсуса, насколько это возможно, в котором живут активные граждане, управляющие сами собой. Вот что для меня значит политика. Говоря же о либертарной политике, я буквально имею ввиду, политику, которая не только демократична, но либертарна и построена вокруг децентрализованного общества, без частной собственности, в котором есть коллективизация и, что важнее всего, муниципализация хозяйства.

Я также думаю, что явной ошибкой было бы разделять политику и искусство управления государством. Я нахожу очень важным для нас разделять эту пару. Я никогда бы не вступил в правительство Народного фронта как это сделало CNT в 1936. Но на локальном уровне я верю в то, что каждому следует пытаться и воссоздавать, восстанавливать и приводить в порядок структуру сообщества, соседства, советов и собраний граждан, и формировать реальный фундамент управления сообществом. Я бы голосовал на локальном уровне, но не национальном.

Я расхожусь во мнениях с немецкими зелеными по поводу их серьезной активности направленной на Бундестаг. Я полагаю, когда они «устраивают театр» вне его стен — это забавно. Я могу восхищаться этим, но когда они всерьез пытаются пройти в Бундестаг, я считаю это наивным и ведущим к коллаборационизму с социал-демократами и либералами. Это совсем не моя политика. Среди зеленых наблюдаются тенденции осознания этой опасности и противостояния ей. Многие из них наиболее радикальны и либертарны из всех зеленых фундаменталистов. Я испытываю огромное уважение к ним.

Сегодня мы не можем создать синдикалистское движение на фабриках, просто исходя из того, что фабрики исчезают, а рабочая сила в огромных объемах заменяется машинами. Это классическое место социалистических и анархических революций. Я вынужден спросить себя каковы другие сферы участия либертариюв, и это всегда была общинная сфера. Задолго до того как синдикализм появился в анархической традиции, существовала общинная традиция, восходящая к Прудону и появлявшаяся у Кропоткина. Мне не понятно почему она была полностью забыта. Если принять ее в серьез, изучить ее логику и адаптировать к нашему времени, то мне нужно будет поставить следующий вопрос: что я могу сделать, чтобы восстановить сообщества и общины? Как я могу помочь гражданам

взять контроль над своим сообществом на базисном уровне, не вступая в парламенты, бундестаги и конгрессы (если вы имеете такую возможность.. слава Богу, мы нет), и не развивая плохую привычку к парламентаризму, но пытаюсь создать соседские собрания, как например в Берлингтоне, где существует конфедерация сообществ и различных форм городского самоуправления против централизованного государства на основе либертарных традиций?

Демократические революции были неверно названы буржуазными. Французская революция боролась не за капитализм, капитализм питался Французской революцией. Он использовал ее. Он сопротивлялся ей как греху. Он был за конституционную монархию. Их моделью была Англия, а не Америка. В штатах, был острейший конфликт между фермерами с одной стороны и коммерческим интересом и аристократами с Атлантического побережья с другой. Восстание Дэна Шея в 1787 окончательно решило вопрос о новой конституции и сделало возможным «Статьи конфедерации», но все же новая конституция сохранила свои либертарные черты.

Я за демократизацию республики и радикализацию демократии, и осуществление это на низшем уровне: это укрепит либертарные институты, которые полностью совместимы с американской традицией. Мы не можем больше возвращаться к русской или испанской революциям. Эти революции чужды людям в Северной Америке. Вы не сможете перевести «Корреспондентские комитеты» в Партию большевиков. Городские собрания в съезды советов. Республиканскую или демократическую систему в диктатуру пролетариата. Вы не можете перевести эту республиканскую систему, как диктатуру пролетариата, если вы марксист с одной стороны, или как синдикалистское общество, с другой, особенно во времена, когда профсоюзы в Америке не могут помочь даже в жизненно важных делах. Я думаю, мы должны начать говорить словарем демократических революций. Мы должны раскопать и расширить их либертарное содержание. Я не вижу других стратегических, тактических, политических и экономических решений проблем, с которыми мы столкнулись. Мы не можем жить прошлым и просто повторять традиционные лозунги великих рабочих движений которые сошли на нет и уже не появятся, не смотря на Польшу, Венгрию и Чехословакию. Они не являются продуктами Просвещения, как социалистические и анархические движения 19 века. Последние вышли из французской и американской революций.

Сейчас мы живем в тени большевистской революции. 20 век попросту находится в тени большевистского успеха, который стал нашим самым большим провалом. Он принес нам холодные войны, парализовал все радикальные движения. Вы скажете что у Холодной Войны есть свои стороны. Мы должны высвободиться из этого капкана. Смотря шире на наши ошибки, я имею ввиду отважиться на мнение, что капитализм это система не следующая старым диалектическим критическим формам появления, развития и распада. Капитализм – это раковая опухоль. И всегда являлся таковым. Это величайшая из болезней общества.

Луддиты были действительно правы, и это не значит, что я хочу вернуться в каменный век, когда пытались остановить современное машинное оборудование, потому что оно в руках капитализма приведет к порабощению общества в долгосрочной перспективе. Для своего

времени луддиты проявляли гораздо больше проницательности чем мы могли от них ожидать. Попытки части английских помещиков сохранить британских фермеров на земле и не допустить их попадания в руки капиталистов, несмотря на то, что они работали сами на себя, были по меньшей мере чем-то, что послужило тормозом капитализма.

Капитализму было позволено распространяться со страшной силой. Первоначально он определялся как прогрессивный, и в своей прогрессивной фазе должен был создать технику. Он собирался также создать пролетариат, который совершил бы революцию. По сравнению с этим, бунтующее крестьянство действительно начинает все революции, которые мы сейчас наблюдаем в третьем мире. Ирония из ироний. Бакунину следовало бы воскреснуть сейчас чтобы посмеяться над Марксистской парадигмой.

Капитализм – рак общества. Это болезнь общества. Это общественное зло. И я без колебаний могу сказать, что наличие любое явление – даже немного худшее, чем капитализм, которое смогло бы остановить его развитие было бы положительным моментом. Я размышляю с многих позиций, в прошлом я придерживался идей марксизма, и даже анархизма в некоторой степени, и я осознал, что два поколения радикалов не знакомы с историей современного мира. Из-за нашей ошибки связанной с появлением патриархата, движение женщин прошло тысячелетнюю историю восстановления, я понимаю что также мы ошиблись с принятием капитализма. Мы сбились с пути сотни лет назад. Но мы работали с Викторианской идеологией, говорящей о прогрессивной роли капитализма, прогрессивной роли технологии и пролетариата. Все эти представления были ошибочны, что опять же не говорит о том, что я хочу вернуться в каменный век. Это не говорит также и о том, что я против технологии. Я против рыночно-капиталистического общества, которое считаю ужасным. Капитализм всегда прорывался там, где традиционные общества, пытавшиеся остановить его, разлагались. Это сапрофитный организм, подобен грибу, который мог вырасти и добиться успеха там, где традиционные формы приходили в упадок, который жил за счет корней традиционных обществ. Он никогда не был всеобъемлющим светом в мире. Это побудило меня подумать о 150 годах революционного мышления и задать себе некоторые очень «далеко идущие» вопросы.

Сейчас я рассматриваю капитализм только как разрушительный, в том смысле что он будет неистовствовать во всем (это не то, что мы (марксисты) подразумеваем под саморазрушением; мы думали что это создаст силы оппозиции ему и сдержит технологический рост. Наоборот, капитализм «сошел с ума» с технологической точки зрения, он обеспечивает технологический рост, который мир прежде никогда не видел; он выходит в космическое пространство. Но, в добавление, я думаю, что, так называемые, буржуазные революции не были таковыми. Французская революция рассматривалась буржуазией как грех. Это было конституционно-монархическая буржуазия, противостоявшая санкюлотам. В Америке революция ужасала Гамильтона, который кричал об установлении (и он являлся диссидентским голосом американской буржуазии) монархии и предупреждал Вашингтона стать первым Королем Джорждем. Вашингтон отказался, он был Виргинским аристократом, и настоял на добродетельной республиканской системе, и таким образом подтвердил движение к роялизму в Америке. Разработанная конституция была разработана не алчной буржуазией, а по большей части аграрными классами. Даже если большинство из них были вовлечены в капитализм, они оставались аграрными,

независимыми крестьянами, имевшие некапиталистические ценности, также как и Виргинские аристократы.

Я понимаю, что мы вынуждены «извлечь» либертарный аспект из этих революций, ибо я не верю, что существующая ныне буржуазия сможет повторить испанскую революцию. Она не продлилась бы и 6 часов. Забудьте о 4 днях. Они выйдут с гранатометами и ракетами, зелеными беретами, радарами, бомбами и уничтожат все, также как они сделали это в Чили, не обладающим современной армией. Они могли бы покончить с Вьетнамской войной, используя водородные бомбы, если бы захотели, если бы они не учитывали общественное мнение. Мы говорим, что их собственные республиканские институты парализуют их операции, а их собственная демократия запрещают им свободу действий. Следовательно, они будут вынуждены отказаться от этих республиканских и демократических институтов. Наша задача остановить это, расширить их и вынести их либертарные аспекты на муниципальный уровень, и в конечном итоге создать контр-силу уполномоченных граждан на локальном уровне и конфедерационную систему отношений. Я имею ввиду не ограниченные изолированные города, а двойную силу конфедерации, которая будет противостоять централизованной власти во имя высших идеалов революционной эры, простиравшейся от Английской до испанской революций. Готовы ли люди обдумать это, опередив время, и переоценить весь предыдущий опыт? Это дилемма, с которой лично я столкнулся при озвучивании этих мнений.

Зеленые в Германии представляли собой многообещающее движение, но не в своем намерении взять власть или функционировать как партия. Что меня поражает в немецких зеленых – это фракционализация идущая вместе с другими процессами, которые я косвенно освещу. Они не ощущают как я эти проблемы. Также как и не ощущают их так как должны ощущать. Но они инстинктивно чувствуют, что это те проблемы, которые они обсуждают, и различные группировки внутри зеленых сделали это движение наиболее радикальным, я имею ввиду из тех которые я видел в Европе или где-то еще. Когда говорят о зеленых в Канаде или США, необходимо помнить, что в Германии Зеленые выросли из непарламентского движения и вероятно достигли его пределов. Как далеко может пойти непарламентское движение? Оно может перерасти в своего рода синдикалистское движение и стабилизироваться как CNT в Испании или же удариться в мятежи. Но представьте Германию в мятеже! Таким образом они должны двигаться куда-то, иначе их непарламентаризм растворится в социал-демократии или будет деморализован, как многие подобные движения в Северной Америке. Если же движение вынуждено влиться в политическую сферу, то к какому роду политической сферы оно должно примкнуть? Станет ли оно авторитарным, либеральным или либертарным? Они выбрали либертарное направление, в общем и целом, и теперь выясняют так или иначе это либертарное направление собирается быть сохраненным с его ротацией представителей, и очень тесными связями с непарламентским движением. Или же они выберут строгую парламентскую форму? Побеждают те, кто сражаются.

В штатах и Канаде, все это идет сверху вниз. 6 людей объединяются и говорят: смотрите немецкие зеленые добились такого успеха. Они не знают почему. Они не понимают, что сотни и тысячи людей были приведены в движение борьбой с ядерными реакторами, ракетами, борьбой за движение гражданских инициатив, включая многих, кто ближе к

христианским демократам, чем к социал-демократам, и зеленые вышли из этого движения. Здесь, без социального движения, они организовали партию, сделав ее насколько возможно авторитарной, и начали диктовать людям какого рода парламентское движение они собираются создавать. Я считаю очень важно, чтобы либертарии начинали вводить такие разработки на локальном уровне, в противном случае они будут перениматься авторитариями, или марксистами, которые достаточно часто искусно перенимают многие наши начинания. Я также нахожу очень важным для нас обдумывать и обсуждать эти вещи, аккуратно взвешивая их. В противном случае, нам придется жить старыми мечтами Испании или парижской коммуны 1848, или Бакунина на баррикадах, или Кропоткина в Петрограде, а тем временем, история пройдет мимо нас.

К.И.О: Я хотел бы коротко поинтересоваться, какие виды либертарных течений вы наблюдали в Германии?

М.Б.: Наиболее удивительная вещь, которую я когда-либо наблюдал в Германии, это некоторые люди среди зеленых, люди, с которыми я случайно сталкивался или разговаривал, а также имевшие место дискуссии относительно попытки развития либертарного движения. Наиболее отчетливо это было видно среди Реймерских зеленых и в городском совете Франкфурта. «Фунди» (как называют наиболее радикальных зеленых) имеют очень четкую либертарную склонность оставаться независимыми от социал-демократов, страстно желают создать свою собственную либертарную форму организации, с тесной связью с непарламентским движением. Удивительной по сути была трансформация ленинистов/маоистов, как например Эберманн, Коммунистической лиги в Северной Германии и его коллег, претерпевших большие изменения. Я разговаривал с ними. Один из них сказал мне, что «2 года назад, то что вы сказали было бы анафемой, но теперь я согласен с 90 процентами ваших высказываний». Они в значительной мере отказываются от ленинских принципов, и двигаются в высоко либертарном направлении. Это, кстати, ортодоксальные маоисты, которые были в рабочем движении в пролетарском красном Гамбурге, посетив который единожды, Гитлер сказал «чертов Гамбург, если бы я только смог выкинуть его из Германии я был бы несказанно рад». Он хотел хирургически путем отрезать его. Это была цитадель социалистической и коммунистической партий 30х гг.

Это ужасно ободряло. В Германии существовала тщательно продуманная сеть, установившаяся через непарламентские движения, что очень радует, и я надеюсь будет действовать в качестве коррекции курса зеленых. Разрешите подчеркнуть что, если зеленые пойдут на союз с социал-демократами, им придется последовать очень прискорбной логике. Они потеряют свою идентичность.

Очень важная вещь, которую я также узнал, политика – это просвещение (образование), а не просто сила. Попытка развить либертарную политику означает научить людей не как брать власть, а как уполномочивать, организовывать самих себя. Вот почему я придаю особое значение локальному, а не национальному уровню. Мое беспокойство связано с коммуналистами, общественно ориентированным чувством и я просто пытаюсь осуществить логику этого в контексте 1980х

К.И.О: Не стало ли городское управление очень многослойным в последние 10 лет?

М.Б.: Да, государство появляется везде. Вопрос сейчас в том, чтобы попытаться высвободить города из-под государства посредством обоюдной конфедерации и развития некой сети распределения ресурсов. Я надеюсь на стабильную ситуацию, где работает муниципальное управление, сосуществующее с государственным правительством. Я заинтересован в развитии локальных институтов – соседские собрания, советы, которые составят динамичную оппозицию централизованному государству. Моя наибольшая забота — остановить централизацию экономической и политической силы, также как «разрушители машин» пытались остановить индустриализацию, не потому что они были против машин, а потому что они были против наемного труда и фабричной системы, и понимали, что это угрожает их образу жизни. К тому же, моя задача не в том чтобы основать муниципальную конфедерацию, которая существует бок о бок с сильным государством. Моя задача – увидеть что муниципальный уровень действует в качестве тормоза централизации государства и в конечном итоге ведет к его ликвидации и создания свободной муниципальной конфедерации городов и деревень, структурированных в либертарной форме.

Вы знаете что все хорошее проверено временем. Это относится к ранней Швейцарской конфедерации, а не к настоящим. Такой идеал существовал в Новой Англии. Фермеры в Нью Хемпшире и Вермонте пытались установить республику городов в противовес централизованному федеративному государству во время американской революции и после нее. Эти идеи, которые американцы могли уяснить, и которые контрастировали со старыми представлениями социалистов о национализации экономики. Помните также, что существует экономическая программа муниципализации, а не просто коллективизации. Тауншип должен контролировать землю и различные отрасли промышленности. Коллективизация сама по себе может иметь много различных направлений. Так, в Испании, координирующая роль профсоюзов была не без централистских черт. Только давайте, пожалуйста, не будем строить иллюзий по поводу испанских промышленных коллективов времен революции. Также может существовать и конкуренция между коллективизированными отраслями в рыночной экономике. Муниципализация означает муниципальный контроль посредством соседских организаций и городских собраний.

Помните, что я говорю не только об определенном виде либертарной политики. Я также говорю о муниципальной экономике. Многие думают, что эти идеи новы для меня, но это не так. В последнем номере *Anarchos*, опубликованном в 1971 году, я написал отрывок, названный «Spring Offensives and Summer Vacations». То были дни в 1960х когда весной наступала активность. И я посмеялся над идеей, что они «переходят в наступление весной, а когда летом отправляются отдыхать, все умирает». Но что я выделил в этой статье -, я говорю об идеях 15 летней давности, была коммуна коммун основанная на американской либертарной традиции выросшей из революции. Я писал о том, что анархистам необходимо вмешиваться в локальную политику и создавать новые формы локальных муниципальных структур (соседские собрания, городские советы,...), чтобы взять контроль над муниципальными правительствами и конфедерировать их в общенациональном масштабе и противопоставить их централизованному государству. Все это появилось в 1971 и кто-то написал мне ответ, в котором утверждал, что анархисты никогда не должны участвовать в каких-либо выборах и критиковал меня за такую точку зрения.

К.И.О: Что ж, Мюррей, защищаете ли вы точку зрения о том, что анархисты должны включиться в городское управление?

М.Б.: Нет. Я думаю, что городское управление, как вы его назвали, должно быть реструктурировано на базовом уровне. Эти правительства не будут правительствами традиционной государственной формы. Следовательно, анархистам следует, без колебаний, быть вовлеченными в локальную политику, чтобы создать такие формы организации. Есть 2 пути в которых вы сможете участвовать в электоральном процессе на низшем муниципальном уровне. Первый состоит в том, чтобы помочь создать такие формы, как мы пытались сделать в Берлингтоне. Мы были единственными, кто организовал плановые соседские собрания и предложил идею о том, чтобы основать их в 5 административных районах Берлингтона. Сейчас мы имеем 5 таких собраний. Это предложили не социалисты. Они взяли кредит на это, но не они предложили ничего подобного. Что ж, я говорил о 2 путях действия. Второй состоит в том, чтобы запустить, или подвигнуть людей, или поддержать тех, кто будет запускать эти формы организации на муниципальном уровне. Мы должны либертаризировать наши сообщества, чтобы создать и институционализировать основы демократии которая сможет противодействовать централизации власти, с кооперативной или политической сторон.

Послушай, марксист!

1969, источник: [здесь](#). Статья Мюррея Букчина «Listen, Marxist!» была написана в 1969м году и вошла позднее в книгу «Анархизм пост-дефицита» 1971го года: Bookchin M. Post-scarcity anarchism. — Montreal-Buffalo: Black Rose Books, 1986. P. 193-244

Всё старое дерьмо тридцатых годов возвращается снова – дерьмо о «классовой линии», «роли рабочего класса», «подготовке кадров», «авангардной партии» и «диктатуре пролетариата». Это всё снова возвращается, и в еще более пошлой форме, чем когда-либо. Прогрессивная Рабочая партия не единственный пример, просто он наихудший. Каждый чувствует запах одного и того же дерьма в различных ответвлениях СДС, и в марксистских и социалистических клубах в университетских городках, не говоря уже о троцкистских группах, Международных социалистических клубах (International Socialist Clubs) и Молодежи против войны и фашизма (Youth Against War and Fascism).

В тридцатые годы это было, по крайней мере, понятно. Соединенные Штаты были парализованы хроническим экономическим кризисом, самым глубоким и самым продолжительным в их истории. Единственными живыми силами, которые, казалось бы, били в стены капитализма, были большие организованные профсоюзы Конгресса производственных профсоюзов США (КПП), с их драматическими сидячими забастовками, радикальной воинственностью и кровавыми столкновениями с полицией. Политическая атмосфера всего мира была наэлектризована Гражданской войной в Испании, последней в череде классических рабочих революций, когда все радикальные секты Американской Левой могли отождествлять себя с соответствующими колоннами милиции в Мадриде и Барселоне. Это было тридцать лет назад. Это было время, когда любой, кто потребовал бы «Занимайтесь любовью, а не войной», воспринимался бы как фрик. Тогда требовали «Занимайтесь работой, а не войной»: требование времени, обремененного дефицитом, когда достижение социализма предполагало «жертвы» и «переходный период» к эпохе материального изобилия. Восемнадцатилетнему ребенку 1937-го года само понятие компьютеризации показалось бы дикой научной фантастикой, фантазией, сопоставимой с представлением о космических путешествиях. Тот восемнадцатилетний ребенок достиг теперь пятидесятилетнего возраста, и его корни уходят в столь отдаленную эпоху, которая качественно отличается от современных реалий Соединенных Штатов. Сам капитализм изменился с тех пор, принимая все более слоистые формы, какие тридцать лет назад можно был лишь смутно представить. И вот теперь нас призывают вернуться к «классовой линии», «стратегии», «кадрам» и организационным формам того далекого от нас периода при почти вопиющем игнорировании вновь возникших проблем и возможностей.

Когда, черт возьми, мы, наконец, соберемся создать движение, которое будет смотреть в будущее, а не в прошлое? Когда мы начнем учиться у того что рождается, а не у того, что умирает? Маркс, к его чести, пытался в свое время это сделать, он попытался вызвать дух будущности в революционном движении 1840-х –1850-х годов. «Традиции всех мертвых

поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых, – писал он в «Восемнадцатом Брюмера Луи Бонапарта». – И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, па этом заимствованном языке разыграть новую сцену всемирной истории. Так, Лютер переодевался апостолом Павлом, революция 1789–1814 гг. драпировалась поочередно то в костюм Римской республики, то в костюм Римской империи, а революция 1848 г. не нашла ничего лучшего, как пародировать то 1789 год, то революционные традиции 1793–1795 годов. (...) Социальная революция XIX века может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого. Она не может начать осуществлять свою собственную задачу прежде, чем она не покончит со всяким суеверным почитанием старины (...) чтобы обмануть себя насчет своего собственного содержания. Революция XIX века должна предоставить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе собственное содержание. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше фразы» (Karl Marx, «The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte,» in Marx and Engels, Selected Works, vol. 2, p. 318.).

Изменилась ли эта проблема сегодня, когда мы приближаемся к двадцать первому столетию? Снова мертвые ходят среди нас – по иронии судьбы, прикрываясь именем Маркса, человека, который пытался похоронить мертвых девятнадцатого столетия. Получается, что революция наших дней не может сделать ничего лучше, кроме как пародировать, в свою очередь, Октябрьскую Революцию 1917-го года и гражданскую войну 1918-1920 годов, с их «классовой линией», большевистской партией, «диктатурой пролетариата», пуританской моралью, и даже лозунгом «Советской власти». Полная, всесторонняя революция наших дней, которая может, наконец, решить исторический «социальный вопрос», рожденный в условиях дефицита, господства и иерархии, следует традиции частичных, односторонних, неполных революций прошлого, которые всего лишь изменили форму «социального вопроса», заменив одну систему господства и иерархии другой. В то время, когда само буржуазное общество находится в процессе распада всех социальных классов, которые некогда придали ему устойчивость, мы слышим глупые требования «классовой линии». В то время, когда все политические институты иерархического общества входят в период глубокого распада, мы слышим глупые требования «политических партий» и «рабочего государства». В то время, когда ставится под вопрос иерархия как таковая, мы слышим глупые требования «кадров», «авангарда» и «вождей». В то время, когда централизация и государство дошли до самой взрывоопасной точки исторического отрицания, мы слышим глупые требования «централизованного движения» и «диктатуры пролетариата».

Этот поиск гарантии в прошлом, эта попытка найти убежище в неподвижной догме и организационной иерархии взамен творческой мысли и практики является горьким свидетельством того, насколько в малой степени многие революционеры способны «реконструировать себя и вещи», и тем более реконструировать общество в целом. Закоренелый консерватизм «революционеров» из ПРП[1]* болезненно очевиден; на смену патриарху и школьной бюрократии приходят авторитарный руководитель и иерархия; дисциплина Движения сменяет дисциплину буржуазного общества; кредо «пролетарской морали» заменяет пуританские нравы и трудовую этику. Старая суть эксплуататорского

общества вновь возникает в новых формах, завернутых в красный флаг, декорированных портретом Мао (либо Кастро или Че) и украшенных маленькой «Красной книгой» и другим священным текстом.

Большинство людей, которые сегодня остаются в ПРП, достойны такой участи. Если они могут жить с движением, которое цинично приделывает свои лозунги к фотографиям пикетов DRUM[2]*; если они в состоянии читать журнал, который задается вопросом, является ли Маркузе «трусливым соглашателем или копом»; если они могут принять «дисциплину», которая нивелирует их до роли бесстрастных, запрограммированных автоматов; если они могут использовать самые отвратительные методы (методы, заимствованные из выгребной ямы буржуазных деловых операций и парламентаризма), чтобы манипулировать другими организациями; если они могут паразитировать практически на любых действиях и ситуациях единственно лишь для роста собственной партии – даже если это означает поражение самого действия – тогда они не заслуживают даже презрения. Для этих людей называть себя красными, а критику в свой адрес – преследованием красных есть форма маккартизма наизнанку. Перефразируя сочное описание Троцким сталинизма, они – сифилис современного радикального молодежного движения. И для сифилиса есть только одно лечение – антибиотик, не аргумент.

Нас беспокоят те честные революционеры, которые обратились к марксизму, ленинизму или троцкизму в искренних поисках последовательной социальной перспективы и эффективной стратегии революции. Мы беспокоимся также о тех, кто испытывает трепет перед теоретическим репертуаром марксистской идеологии и настроен на флирт с ней в свете отсутствия более систематических альтернатив. К этим людям мы обращаемся, как к нашим братьям и сестрам, и призываем их к серьезной дискуссии и к всеобъемлющей переоценке. Мы считаем, что марксизм больше неприменим к нашему времени – не потому что он является слишком мечтательным или революционным, но именно потому что он недостаточно мечтательный и революционный. Мы утверждаем, что он родился в эпоху дефицита и выступил с блестящей критикой той эпохи, особенно индустриального капитализма, но теперь зарождается новая эра, которую марксизм не в состоянии адекватно осмыслить, и очертания которой он лишь частично и односторонне предчувствовал. Мы утверждаем, что проблема заключается не в «отказе» от марксизма или его «аннулировании», но в его диалектическом преодолении, как сам Маркс выходил за рамки гегелевской философии, рикардовской экономики, и бланкистских тактики и способов организации. Мы намерены доказать, что на более продвинутой стадии капитализма, чем та, с какой Маркс имел дело столетие назад, и на более продвинутой стадии технологического развития, нежели Маркс мог ясно предвидеть, необходима новая критика, что, в свою очередь ведет к новым формам борьбы, организации, пропаганды и образа жизни. Называйте эти новые способы так как вы того пожелаете. Мы же решили назвать этот новый подход анархизмом постдефицита, по ряду веских причин, которые станут очевидными на последующих страницах.

Исторические рамки марксизма

Идея, будто человек, чьи основные теоретические выкладки были сделаны между 1840 и 1880 гг., может «предвидеть» всю диалектику капитализма, на первый же взгляд совершенно нелепа. Если мы все еще можем многое почерпнуть из идей Маркса, то еще больше мы можем почерпнуть из неизбежных ошибок человека, который был ограничен эпохой материального дефицита и технологий, лишь только приступавших к использованию электроэнергии. Мы можем изучить, насколько отличается наша собственная эра от всего прошлого, насколько качественно новыми являются потенциальные возможности, с которыми мы сталкиваемся, насколько уникальны проблемы, анализ и практика, которые стоят перед нами, если мы желаем совершить революцию, а не очередной исторический аборт.

Проблема не в том, что марксизм – это некий «метод», который должен быть по-новому применен к «новым ситуациям», или что следует разработать некий неомарксизм, чтобы преодолеть ограниченность «классического марксизма». Попытка спасти марксистское наследие, делая упор на системный метод или добавляя приставку «нео» к священному слову, есть явная мистификация, если все практические выводы из системы категорически противоречат этим усилиям[3]*. Именно таково положение дел в сегодняшнем толковании марксизма. Марксисты опираются на тот факт, что система дала блестящее истолкование прошлого, но сознательно игнорируют те ее черты, которые вводят в заблуждение, когда речь заходит о настоящем и будущем. Они ссылаются на последовательность истолкования истории в историческом материализме и классовом анализе, на экономическую прозорливость «Капитала» в том, что касалось развития индустриального капитализма, на блестящий анализ Марксом ранних революций и сделанные им тактические выводы, отказываясь признать, что возникли качественно новые проблемы, каких вовсе не существовало в его время. Действительно ли можно перенести исторические проблемы и методы классового анализа, полностью основанного на неминуемом дефиците, в новую эпоху потенциального изобилия? Может ли экономический анализ, сосредоточенный, в первую очередь, на системе «свободной конкуренции» индустриального капитализма, быть перенесен на управленческую систему капитализма, в которой государство и монополии объединяются, чтобы манипулировать экономической жизнью? Возможно ли, в самом деле, перенести стратегический и тактический репертуар, сформулированный в период, когда сталь и уголь являлись основой промышленной технологии, на эпоху, основанную на радикально новых источниках энергии, электронике, компьютеризации?

В результате такого переноса теоретический свод, несший сто лет назад освобождение, превратился ныне в смиренную рубашку. Нас призывают сосредоточиться на рабочем классе как на «агенте» революционных перемен в то время, когда капитализм явно восстанавливает против себя практически все слои общества, особенно молодежь, порождая среди них революционеров. Нас призывают руководствоваться в своих тактических методах представлением о «хроническом экономическом кризисе», несмотря на то, что никакого подобного кризиса не было в течение последних тридцати лет[4]*. Нас зовут принять «диктатуру пролетариата» как длительный «переходный период», функция которого состоит не просто в подавлении контрреволюционеров, но, прежде всего, в развитии технологии изобилия – в то время как технология изобилия у нас в руках. Нас призывают ориентировать наши «стратегию» и «тактику» на бедность и материальную нищету в то время, когда революционный настрой порождается банальностью жизни в

условиях материального изобилия (данное утверждение Мюррея Букчина было применено, в первую очередь, к т.н. «развитым» странам, да и там эта эпоха стала уходить в прошлое с начала 1980-х годов, когда началось сворачивание модели социального государства и переход к неолиберализму, что привело к массовому распространению «новой бедности» – прим. пер.). Нас убеждают создавать политические партии, централизованные организации, «революционные» иерархии и элиты, и новое государство в то время, когда политические институты как таковые распадаются, и когда централизация, элитаризм и государство оказываются под вопросом в такой мере, как никогда еще прежде в истории иерархического общества.

Короче говоря, нас зовут вернуться в прошлое, сдержаться, а не развивать пульсирующую реальность нашего времени, с ее надеждами и обещаниями, – вернуться к мертвящим предрассудкам отжившей эпохи. Нас призывают действовать в соответствии с принципами, которые были превзойдены не только теоретически, но и самим общественным развитием. История не остановилась после смерти Маркса, Энгельса, Ленина и Троцкого, и при этом не следовала упрощенному направлению, какое было начертано мыслителями – какими бы блестящими они ни были – чьи умы все еще произрастали из девятнадцатого или самого начала двадцатого столетия. Мы видели, как сам капитализм выполнил многие из тех задач (включая развитие технологии изобилия), которые расценивались как социалистические; мы видели, как он «национализировал» собственность, объединяя экономику и государство везде, где это необходимо. Мы видели рабочий класс, нейтрализованный как «агент революционных изменений», хотя и все еще борющийся в буржуазных рамках за большую заработную плату, сокращение рабочего дня и «дополнительные» льготы. Классовая борьба в классическом смысле не исчезла; она в значительной степени была притуплена, встроена в капитализм. Революционная борьба в развитых капиталистических странах перешла на новую историческую почву: она стала борьбой между поколением молодежи, которая не знала хронического экономического кризиса, и культурой, ценностями и институтами старого, консервативного поколения, чей взгляд на жизнь формировался дефицитом, чувством вины, отказом, трудовой этикой и стремлением к материальной обеспеченности. Наши враги – это не только явно укрепившаяся буржуазия и государственный аппарат, но также и мировоззрение, которое находит поддержку среди либералов, социал-демократов, прислужников коррумпированных средств массовой информации, «революционных» партий прошлого и – как бы это ни было больно для приспешников марксизма – рабочих, находящихся во власти фабричной иерархии, индустриальной рутины и трудовой этики. Дело в том, что разделение теперь пролегает через фактически все традиционные классовые линии и поднимают спектр проблем, которые никто из марксистов, опираясь на аналогии с обществом дефицита, не мог предвидеть.

Миф о пролетариате

Давайте отбросим все идеологические обломки прошлого и обратимся к теоретическим корням проблемы. Для нашей эпохи наибольшим вкладом Маркса в революционную мысль является его диалектика общественного развития. Маркс обнаружил великое движение от первобытного коммунизма, через частную собственность, к коммунизму в его высшей форме – коммунальному обществу, опирающемуся на освободительные технологии. В этом

движении, согласно Марксу, человек переходит от господства природы над человеком, к господству человека над человеком, и, наконец, к господству человека над природой[5]*, а также от социального господства как такового. В рамках этой масштабной диалектики Маркс исследует диалектику самого капитализма – общественного строя, который представляет собой последнюю историческую «стадию» в господстве человека над человеком. Здесь Маркс делает не только глубокий вклад в современную революционную мысль (в частности, в своем блестящем анализе товарных отношений), но и демонстрирует ту ограниченность во времени и в месте, которая играет столь сдерживающую роль в наше время.

Наиболее серьезное из этих ограничений возникает из попытки Маркса объяснить переход от капитализма к социализму, от классового к бесклассовому обществу. Крайне важно подчеркнуть, что это объяснение было обосновано почти полностью по аналогии с переходом от феодализма к капитализму – то есть, от одного классового общества к другому классовому обществу, от одной системы собственности к другой. Таким образом, Маркс указывает, что так же как и буржуазия развивалась в рамках феодализма в результате раскола между городом и деревней (точнее, между ремеслами и сельским хозяйством), современный пролетариат развивается в рамках капитализма в результате индустриального технологического прогресса. Оба класса, говорят нам, развивают собственные общественные интересы — по сути, революционные общественные интересы, которые бросают их против старого общества, в котором они возникли. Если буржуазия получила контроль над экономической жизнью задолго до того как свергла феодальное общество, то пролетариат, в свою очередь, обретает свою революционную власть, благодаря тому факту, что он «дисциплинируется, объединяется, организовывается» фабричной системой[6]*. В обоих случаях развитие производительных сил становится несовместимым с традиционной системой общественных отношений. «Оболочка разрывается на куски». Старое общество сменяется новым.

Насущный вопрос, с которым мы сталкиваемся, заключается в следующем: можем ли мы объяснить переход от классового к бесклассовому обществу посредством тех же диалектических методов, что и переход от одного классового общества к другому? Это не проблема из учебника, вовлекающая в жонглирование логическими абстракциями, но весьма реальная и конкретная проблема для нашего времени. Существуют глубокие различия между развитием буржуазии в эпоху феодализма и пролетариата при капитализме; Маркс или не сумел их предвидеть, или же никогда с ними ясно не сталкивался. Буржуазия контролировала экономическую жизнь задолго до того как завоевала государственную власть; она стала доминирующим классом в материальном, культурном и идеологическом плане прежде чем утвердила свое политическое господство. Пролетариат не контролирует экономическую жизнь. Несмотря на свою незаменимую роль в производственном процессе, промышленный рабочий класс даже не является большинством населения, и его стратегическое экономическое положение разрушается под натиском компьютеризации и других технологических инноваций[7]*. Следовательно, для пролетариата необходимо наличие высокого уровня сознательности, чтобы он использовал свою мощь для свершения социальной революции. До сих пор достижение этой сознательности было заблокировано тем фактом, что фабричная среда – одна из наиболее укоренившихся сфер трудовой этики, иерархической системы управления, повиновения

руководителям, а в последнее время производство все более служит изготовлению излишних товаров и вооружений. Завод служит не только для того чтобы «дисциплинировать», «объединять» и «организовывать» рабочих, но также и для того чтобы прививать буржуазную моду. На заводе, капиталистическом производстве не только ежедневно воспроизводятся капиталистические социальные отношения, как отмечал Маркс, но также и психология, ценности и идеология капитализма.

(Критика Букчина верна по отношению к традиционному марксистскому пониманию пролетариата, которое считало наиболее последовательным воплощением пролетариата работников физического труда, занятых исключительно в материальном, в первую очередь, фабричном производстве. Следует отметить, что в анархо-синдикализме пролетариат понимается иначе. «...Промышленный или сельскохозяйственный рабочий, городской или сельский ремесленник (...), частный или государственный служащий, прораб, техник, преподаватель, ученый, писатель, человек искусства, которые живут исключительно результатами собственного труда, принадлежат к одному и тому же классу – пролетариату», – объяснял в этой связи французский анархо-синдикалист Пьер Бенар. При таком понимании, пролетариат составляет подавляющую часть населения большинства стран мира. В то же время, рабочий анархизм не считает, что революционная сознательность пролетариата автоматически вытекает из его классового положения, и не считает фабричную иерархию той школой, «учеба» в которой способствует развитию освободительных стремлений у пролетариев. – Прим. В.Д.)

Маркс в достаточной мере ощущал это обстоятельство, чтобы искать причины, более привлекательные для развития революционной деятельности, нежели просто сам факт эксплуатации или же конфликтов по поводу заработной платы и рабочего времени. В своей общей теории капиталистического накопления он попытался выделить жесткие, объективные законы, которые вынуждают пролетариат к принятию революционной роли. Соответственно, он выдвинул знаменитую теорию обнищания: конкуренция между капиталистами заставляет их сбивать цены друг друга, что, в свою очередь, приводит к непрерывному сокращению заработной платы и абсолютному обнищанию рабочих. Пролетариат вынужден восставать, потому что в процессе конкуренции и централизации капитала происходит «массовое возрастание нищеты, угнетения, рабства, деградации»[8]*.

Но капитализм не стоял на месте со времен Маркса. Размышляя в середине девятнадцатого столетия, Маркс не был в состоянии осознать все значение своих догадок о централизации капитала и технологического развития. Он не мог предположить, что капитализм будет развиваться не только от меркантилизма к преобладающей индустриальной форме его дней – от получающих финансовую помощь от государства торговых монополий к высоко конкурентоспособным промышленным предприятиям. В дальнейшем, с централизацией капитала, капитализм вернулся к собственным торговым основам на более высоком уровне развития и повторно обрел получающую финансовую помощь от государства монополистическую форму. Экономика имеет тенденцию сливаться с государством, и капитализм начинает «планировать» свое развитие вместо того чтобы оставить его исключительно взаимодействию конкурирующих рыночных сил. Безусловно, система не отменяет традиционную классовую борьбу, но умеет сдерживать ее, используя свои огромные технологические ресурсы, чтобы ассимилировать большинство стратегически

важных слоев рабочего класса.

Таким образом, ударная сила теории обнищания притупляется и в Соединенных Штатах традиционная классовая борьба не может развиваться в классовую войну. Она продолжает полностью оставаться в буржуазных рамках. Марксизм, по сути, становится идеологией. Он ассимилируется наиболее передовыми формами государственного капитализма – в особенности это касается России. По невероятной иронии истории, марксистский «социализм» все больше и больше оборачивается государственным капитализмом, чего Маркс не был в состоянии предвидеть в диалектике капитализма[9]*. Пролетариат, вместо того чтобы развиваться в революционный класс в недрах капитализма, оказывается одним из органов тела буржуазного общества.

Вопрос, который мы должны задать в этот предельный исторический момент, таков: может ли социальная революция, которая стремится достигнуть бесклассового общества, вырасти из конфликта между традиционными классами в классовом обществе, или же такая социальная революция может возникнуть только из разложения традиционных классов, по сути, из возникновения совершенно нового «класса», сама суть которого в том, что это не-класс, растущий слой революционеров. В попытке ответить на данный вопрос мы больше поймем, вернувшись к более широкой диалектике – той, какую Маркс вывел для человеческого общества в целом, а не к модели, которую он заимствовал из перехода от феодализма к капиталистическому обществу. Подобно тому, как первобытные родственные кланы начали разлагаться на классы, так же и в наши дни существует тенденция распада классов на совершенно новые субкультуры, которые несут в себе сходство с некапиталистическими формами отношений. Они больше не являются строго экономическими группами; фактически, они отражают тенденции социального развития, выходящие за рамки экономических категорий общества дефицита. Они представляют собой, в действительности, незрелое, неясное культурное предформирование движения от дефицита к обществу постдефицита.

Процесс классового разложения должен быть понят всесторонне. Следует подчеркнуть слово «процесс»: традиционные классы не исчезают, это не имеет и отношения к классовой борьбе. Только социальная революция способна устранить сложившуюся общественную структуру и порожденные ею конфликты. Дело в том, что традиционная классовая борьба утрачивает революционное значение; она проявляется как физиология бытующего общества, а не как родовые схватки нового. На самом деле, традиционная классовая борьба стабилизирует капиталистическое общество, «исправляя» его злоупотребления (в заработной плате, сфере рабочего времени, инфляции, занятости и т.д.). Профсоюзы в капиталистическом обществе формируются в борьбе контр-«монополий» с индустриальными монополиями и включены в неомеркантилистскую стратифицированную экономику как ее часть. В этих пределах существуют большие или меньшие конфликты, однако же, взятые в целом, профсоюзы только укрепляют систему и служат ее увековечиванию (Речь может в данном случае идти только о тред-юнионах – профсоюзах, не ставящих своей целью свержение капиталистического общества, но встроенных в систему капиталистических отношений, то есть профсоюзах типичного социал-партнерского характера. Анархо-синдикалистские профсоюзы, ведущие борьбу за революционное переустройство общества, под данное описание не попадают по сути своей деятельности. О том, что представляет

собой анархо-синдикализм, см. например: Банс П., Дешан Э. Что такое анархо-синдикализм; Дамье В. В. Из истории анархо-синдикализма; Rocker R. AnarchoSyndicalism – прим. пер.).

Укреплять эту классовую структуру с помощью лепета насчет «роли рабочего класса», усиливать традиционную классовую борьбу, вводя в нее «революционный» контекст, заражать новое революционное движение нашего времени «рабочизмом» – реакционно по своей сути. Как часто марксистским доктринерам необходимо напоминать, что история классовой борьбы – это история болезни, ран, вскрытых знаменитым «социальным вопросом», односторонним развитием человека в попытке получить контроль над природой, господствуя над другим человеком? Если побочным продуктом данной болезни стал технический прогресс, то главным продуктом явились репрессии, ужасное пролитие человеческой крови и кошмарное извращение человеческой психики.

Поскольку болезнь приближается к своему концу, а раны начинают заживать из глубины, процесс теперь постепенно ведет к целостности; революционная подоплека традиционной классовой борьбы теряет свое значение как теоретическая конструкция и как социальная реальность. Процесс разложения охватывает не только традиционную классовую структуру, но также и патриархальную семью, авторитарные способы воспитания, влияние религии, государственные институты, и традиции, построенные на основе тяжелого труда, отречения, чувства вины и подавляемой сексуальности. Замкнутый процесс распада, теперь становится всеобщим и затрагивает практически все традиционные классы, ценности и институты. Это создает совершенно новые проблемы, способы борьбы и формы организации и требует совершенно нового подхода к теории и практике.

Что это означает конкретно? Давайте сопоставим два подхода, марксистский и революционный. Марксистский доктринер хотел бы приблизить нас к рабочему – или точнее, «проникнуть» на фабрику – и убедить его в «предпочтении» перед кем-либо иным. Цель? – сделать рабочих «классово сознательными». Приведа наиболее неандертальский из примеров действий старых левых: подстричь волосы, облачиться в консервативный спортивный костюм, отказаться от травки в пользу табака и пива, танцевать «обычные» танцы, имитировать грубые манеры и ходить с лишенным следа юмора, ужасающе-серьезным и напыщенным видом[10]*.

Короче говоря, человек становится худшей карикатурой на рабочего – разумеется, не «мелкобуржуазным перерожденцем», а выродившимся буржуа. Он становится подобием рабочего в той степени, в какой рабочий является подобием своих хозяев. Нисходящая метаморфоза студента до «рабочего» пронизана порочным цинизмом. Активист пытается использовать дисциплину, привитую фабричной средой, чтобы навязать рабочему дисциплину, делающего его пригодной для партийной среды. Он пытается использовать уважительное отношение рабочего к промышленной иерархии, чтобы скрестить рабочего с партийной иерархией. Это отвратительный процесс, который в случае успеха может привести лишь к замене одной иерархии другой, под прикрытием озабоченности повседневными экономическими требованиями рабочего. Даже марксистская теория деградирует в соответствии с таким карикатурным пониманием рабочего. (См. едва ли ни каждую копию Challenge, являющего собой National Enquirer левых. Ничто не может быть скучнее для рабочего, чем подобная литература). В конце концов, рабочий достаточно

проницателен, чтобы понять, что он добьется лучших результатов в повседневной классовой борьбе с помощью своего бюрократического профсоюза, чем марксистской партийной бюрократии. Сороковые годы показали это настолько ярко, что через год или два, практически без протестов со стороны рядовых членов, профсоюзам удалось изгнать тысячи «марксистов», которые более десятилетия вели подготовительную работу, даже поднимаясь до высшего руководства старого Конгресса производственных профсоюзов США.

Рабочий становится революционером, не становясь в еще большей степени рабочим, а покончив со своей «рабочестью». И в этом он не одинок: то же самое относится к фермеру, студенту, клерку, солдату, чиновнику, специалисту – и к марксисту. Рабочий не в меньшей степени «буржуазен», чем фермер, студент, клерк, солдат, чиновник, специалист – и марксист. Его «рабочесть» является болезнью, от которой он страдает, социальным несчастьем, проявляющимся на индивидуальном уровне, как под увеличительным стеклом. Ленин понял это в работе «Что делать?», но протащил старую иерархию под красным флагом и некоей революционной фразеологией. Рабочий начинает революционизироваться, когда порывает со своей «рабочестью», когда начинает питать отвращение к своему классовому статусу здесь и сейчас, когда начинает избавляться от тех черт, которые марксисты больше всего в нем ценят – от своей трудовой этики, своего характера, созданного промышленной дисциплиной, своего уважения к иерархии, своего повиновения руководителям, своего потребительства, остатков своего пуританства. В этом смысле, рабочий становится революционером в той степени, в какой он избавляется от своего классового статуса и достигает не-классового сознания. (Хотя Мюррей Букчин верно характеризует пути революционизации человеческого сознания, он допускает неточность в формулировках. Дело в том, что в революционизированном сознании человека, испытывающего отвращение к своему социальному, классовому статусу многое основывается на классовом сознании как понимании своего угнетенного положения в классовом обществе. Классовое сознание в этом смысле выступает как осознание своего классового статуса в сочетании с нежеланием находиться далее в этой роли и со стремлением устранить классовую стратификацию в обществе вообще, но не в стремлении установить власть «своего класса». Иными словами, «классовое» проявляется здесь как выразитель не-классовых, человеческих, освободительных ценностей, – прим. пер.). Он вырождается – и это вырождение прекрасно. То, от чего он избавляется – это как раз те самые классовые оковы, которые связывают его со всеми системами господства и подчинения. Он отказывается от этих классовых интересов, которые подчиняют его потребительству, жизни в городских предместьях и бухгалтерской жизненной концепции[11]*.

Наиболее перспективным для развития на фабриках сегодня является появление молодых рабочих, которые курят травку, кладут х*й на свою работу, перемещаются с завода на завод, носят длинные или удлиненные волосы, требуют большего свободного времени, а не большей платы, воруют, тревожат всех представителей власти, идут на дикие забастовки и подключают к этому своих коллег. Еще более перспективным является появление людей подобного типа в профессионально-технических училищах и средних школах, источниках будущего индустриального рабочего класса. В той мере, в какой рабочие, учащиеся профессионально-технических училищ и средних школ связывают свой образ жизни с

различными аспектами анархистской молодежной культуры, в той же мере пролетариат может трансформироваться из силы, сохраняющей установленный порядок вещей, в революционную силу.

Когда человек сталкивается с переходом от репрессивного классового общества, основывающегося на материальном дефиците, к либертарному бесклассовому обществу, основывающемуся на материальном изобилии, возникает качественно новая ситуация. Из разлагающейся традиционной классовой структуры создается новый постоянно увеличивающийся человеческий тип: революционер. Этот революционер начинает бросать вызов не только экономическим и политическим исходным условиям иерархического общества, но и иерархии как таковой. Он не только увеличивает необходимость социальной революции, но также пытается и жить по-революционному в той степени, в какой это возможно в современном обществе[12]*. Он не только нападает на формы, созданные наследием господства и подчинения, но также и импровизирует с новыми либертарными формами, которые черпают свою поэзию из будущего.

(Характерно, что впоследствии Мюррей Букчин в значительной степени пересмотрел свое отношение к «прежним левым» и к так называемому «анархизму образа жизни», приобретшему откровенно карикатурный, псевдореволюционный, развлекательный характер. «...В Прежнейлевой рабочий класс, по крайней мере, рассматривался (пусть с ошибками) как «не-классовый» класс – то есть, как особенный класс, которого сами внутренние тенденции капитализма побуждают выражать универсальные интересы человечества и его потенциальную способность создать разумное общество. Такой подход хотя бы предполагал, что существуют общие человеческие интересы, которые могут быть... реализованы при социализме, коммунизме или анархизме. Сегодняшняя левая «деконструировала» этот призыв к универсальности до такой степени, что отрицает ее ценность... Что осталось в нашем времени от 60-х, так это нескритичный в основе своей набор узких интересов..., которые сводят универсальные задачи к частным. Великий идеал освобожденного человечества – желательно, в гармонии с нечеловеческой природой – прочно разлагается частными притязаниями на гегемонию тех или иных тенденций на основе гендера, этноса и т.д.» – см.: M. Bookchin. «Social anarchism or lifestyle anarchism: An unbridgeable chasm». – Edinburgh: AK Press, 1995. P.67–68. Прежде левые опирались на массы и стремились к созданию массового движения, теперь они погрузились в чисто индивидуалистическую или групповую самореализацию. Букчин видел в этом проявление буржуазного индивидуализма «среднего класса»: «...Тысячи самозванных анархистов мало-помалу пожертвовали социальной сердцевинкой анархистских идей в пользу повсеместному персонализму яппи и «нью эйджа», которым отмечена нынешняя упадочническая, обуржуазившаяся эра. Они перестали быть социалистами в подлинном смысле слова – сторонниками ориентированного на коммуну либертарного общества – и избегают каких-либо серьезных обязательств относительно организованной, программно-цельной социальной конфронтации с существующим порядком. Во все большем числе они следуют за широкой тенденцией среднего класса нынешнего времени, ведущей к упадочническому персонализму во имя собственной суверенной «автономии», к щепетильному мистицизму во имя «интуитивизма» и к мечтам об истории до грехопадения во имя «примитивизма»» – Там же. P.1–2 – прим. пер. и В.Д.)

Эта подготовка к будущему, это экспериментирование с освободительными постдефицитными формами социальных отношений могут оказаться иллюзорными, если будущее повлечет смену одного классового общества другим; однако же они совершенно необходимы для создания в будущем бесклассового общества, основанного на руинах классового общества. Кто же будет в этом случае «агентом» революционных преобразований? Это будет буквально подавляющее большинство общества, собранное из всех различных традиционных классов и слившееся в общую революционную силу распадом институтов, социальных форм, ценностей и образа жизни господствующей классовой структуры. Как правило, его наиболее передовым элементом является молодежь – поколение, которое не знало хронического экономического кризиса и которое все менее и менее ориентируется на миф о материальной гарантированности, столь широко распространенный среди поколения тридцатых годов.

Верно, что социальная революция не может быть достигнута без активной или пассивной поддержки рабочих, но не менее верно и то, что она не может быть достигнута без активной или пассивной поддержки крестьян, техников и специалистов. И прежде всего, она не может быть достигнута без поддержки молодежи, из которой правящий класс черпает пополнение для своих вооруженных сил. Если правящий класс сохраняет свою вооруженную мощь, революция погибла вне зависимости от того, насколько много рабочих спланивается в ее поддержку. Это было наглядно продемонстрировано не только в Испании тридцатых, но и в Венгрии в пятидесятых и в Чехословакии в шестидесятых. Сегодняшняя революция – по самой своей природе, по своему стремлению к целостности – победит не только при участии солдат и рабочих, но именно поколения, к которому принадлежат солдаты, рабочие, техники, крестьяне, ученые, специалисты и даже трудящиеся-чиновники. Отказываясь от тактических инструкций прошлого, революция будущего следует по пути наименьшего сопротивления, пролагая наиболее короткий путь к самым восприимчивым областям населения вне зависимости от их «классового положения». Она вскармливается всеми противоречиями буржуазного общества, а не только противоречиями 1860-х годов или 1917 года. Поэтому она привлекает всех, кто ощущает бремя эксплуатации, бедности, расизма, империализма и, конечно, тех, чьи жизни не состоялись из-за потребительства, жизни в пригородах, СМИ, семьи, школы, супермаркета и господствующей системы подавленной сексуальности. Здесь форма революции становится тотальной, посредством своей бесклассовой составляющей, антисобственничества, антиерархичности и целостного освободительного характера. .

Ринуться в этот революционный процесс с изношенными рецептами марксизма, лепетать о «классовой линии» и «роли рабочего класса» – означало бы подрыв настоящего и будущего прошлым. Разрабатывать эту мертвую идеологию, лепеча о «кадрах», «авангардной партии», «демократическом централизме» и «диктатуре пролетариата», – это чистейшая контрреволюция. Именно на это содержание «организационного вопроса» — этого губительного вклада ленинизма в марксизм – мы вынуждены теперь обратить наше внимание.

Миф о партии

Социальные революции делают не партии, группы или кадры, они возникают в результате глубинных исторических сил и противоречий, которые приводят в движение широкие слои населения. Они происходят не просто потому что «массы» посчитали существующее общество невыносимым (как утверждает Троцкий), но также из-за противоречий между действительным и возможным, между тем, что есть, и тем, что может быть. Крайняя нищета сама по себе не производит революций; гораздо чаще она порождает бесцельную деморализацию, или, того хуже, в особенности, индивидуальную борьбу за выживание.

Российская революция 1917 давит на мозги живых, словно ночной кошмар, потому что была в значительной степени результатом «невыносимых условий» разрушительной империалистической войны. Если у нее и были мечты, все они были разбиты еще более кровавой гражданской войной, голодом и предательством. То, что возникло из революции, было не развалинами старого общества, а руинами всех имевшихся надежд на достижение нового. Российская революция провалилась с треском; она заменила царизм государственным капитализмом[13]*. Большевики оказались трагическими жертвами собственной идеологии и поплатились за это большим количеством собственных жизней во время чисток тридцатых годов. Пытаться извлечь какую-либо уникальную мудрость из этой революции дефицита – просто смехотворно. Из революций прошлого мы можем извлечь лишь тот урок, что все эти революции имеют общие и глубокие ограничения по сравнению с теми огромными возможностями, что открыты для нас теперь.

Самой поразительной особенностью прошлых революций является то, что все они начинались спонтанно. Выберет ли для изучения исследователь первые фазы Великой французской революции 1789 г., революции 1848 г., Парижскую Коммуну, Российскую революцию 1905 г., свержение царизма в 1917 г., Венгерскую революцию 1956 г. или всеобщую забастовку во Франции 1968 г., – начальные этапы, как правило, окажутся одними и теми же: период брожения спонтанно взрывается в массовый подъем. Будет подъем успешным или нет, зависит от его решительности, и от того, перейдут ли войска на сторону народа.

«Славная партия», если она одна, почти неизменно отстает от развития событий. В феврале 1917 г. петроградская организация большевиков выступала против объявления забастовки непосредственно накануне революции, которой было суждено свергнуть царя. К счастью, рабочие проигнорировали большевистские «директивы» и все равно объявили забастовку. В последовавших за этим событиях, никто не удивился революции больше чем «революционные» партии, в том числе большевики. Как вспоминал большевистский лидер: «Руководящих начал от партийных центров совершенно не ощущалось... Петроградский Комитет был арестован, а представитель Ц. К. тов. Шляпников бессилён был дать директивы завтрашнего дня» (Quoted in Leon Trotsky, *The History of the Russian Revolution* (Simon & Schuster; New York, 1932), vol. 1, p. 144.). Возможно, в этом было его везение. Накануне ареста Петроградского комитета, его оценка ситуации и его собственная роль были столь мрачными, что если бы рабочие последовали за его руководством, то весьма сомнительно, что революция произошла бы именно тогда.

Подобная же история может быть рассказана о восстаниях, которые предшествовали 1917 г., и о тех, которые последовали позднее – достаточно упомянуть последнее, студенческий

подъем и всеобщую забастовку в мае – июне 1968 г. во Франции. Существует удобная тенденция забывать, что в это время в Париже существовало около дюжины «жестко централизованных» организаций большевистского типа. Крайне редко упоминается, что практически все эти «авангардные» группы презрительно относились к студенческому восстанию вплоть до 7 мая, когда уличные бои вспыхнули всерьез. Троцкисты из «Революционной коммунистической молодежи» (Jeunesse Communiste Revolutionnaire) были известным исключением – и они, по сути, просто следовали за инициативой «Движения 22 марта»[14]*. До 7 мая все маоистские группы критиковали студенческое восстание как периферийное и незначительное; троцкистская «Федерация революционных студентов» (Federation des Etudiants Revolutionnaires) рассматривала его как «авантюристическое» и пыталась заставить студентов покинуть баррикады 10 мая; Коммунистическая партия, конечно же, играла совершенно предательскую роль. Далекие от того, чтобы возглавить народное движение, маоисты и троцкисты были во всем его пленниками. Как ни странно, большинство из этих большевистских групп бесстыдно использовали манипулятивные методы на Сорбонской студенческой ассамблее, для того чтобы «контролировать» его, создавая подрывную атмосферу, которая деморализовывала все тело. Наконец, в довершение иронии, все эти большевистские группы лепетали о необходимости «централизованного руководства», в то время как народное движение спало – движение, которое возникло, несмотря на их директивы и часто вопреки им.

Более или менее заметные революции и восстания имели не только замечательно анархичные начальные фазы, но также и тенденции к спонтанному созданию собственных форм революционного самоуправления. Парижские секции 1793–1794 годов были самыми замечательными формами самоуправления, из когда-либо созданных в истории социальных революций (См. [главу] «The Forms of Freedom»). Более известны по форме «советы», которые петроградские рабочие создавали в 1905 году. Хотя и менее демократические чем секции, советы вновь появлялись в ходе многих последующих революциях. Еще одной формой революционного самоуправления были фабрично-заводские комитеты, которые создавались анархистами в ходе Испанской революции 1936 года. Наконец, секции вновь возникают в виде студенческих ассамблей и комитетов действия в ходе майско-июньского восстания и всеобщей забастовки в Париже в 1968 году[15]*.

Здесь мы должны задаться вопросом о том, какую роль «революционная» партия играет во всех этих событиях. С самого начала, как мы видели, она имеет тормозящую функцию, не роль «авангарда». Там, где она пользуется влиянием, такая партия, как правило, замедляет ход событий, а не «координирует» революционные силы. И это не случайно. Партия организована по иерархической схеме, отражающей то самое общество, против которого она, как утверждается, выступает. Несмотря на свои теоретические претензии, это – буржуазный организм, государство в миниатюре, с аппаратом и кадрами, чьей функцией является захват власти, а не ликвидация власти. Уходя своими корнями в дореволюционный период, она вбирает все формы, методы и менталитет бюрократии. Ее члены обучены в условиях послушания и предрассудков жестких догм и учатся почитать руководство. Руководство партии, в свою очередь, прошло обучение привычкам, порожденным командованием, властью, манипулированием и самовлюбленностью. Данная ситуация усугубляется, когда партия участвует в парламентских выборах. В избирательных кампаниях авангардная партия полностью моделирует себя в соответствии с

существующими буржуазными формами и даже приобретает атрибуты избирательной партии. Ситуация обретает поистине критические масштабы, когда партия обзаводится большой прессой, дорогостоящей штаб-квартирой и большим количеством контролируемых ею централизованных периодических изданий, и развивает оплачиваемый «аппарат» – одним словом, бюрократию, преследующую собственные материальные интересы.

Поскольку ряды партии расширяются, дистанция между руководством и низами неизменно увеличивается. Ее лидеры не только становятся «персонами», они теряют связь с живой ситуацией, над которой они возвышаются. Группы на местах, которые знают ситуацию у себя лучше, нежели любой отдаленный руководитель, обязаны подчинять свое понимание директивам сверху. Руководство, испытывая недостаток в сведениях о местных проблемах, реагирует вяло и осторожно. Хотя оно настаивает на том, что оно обладает более «широким представлением» и большей «теоретической компетенцией», в действительности его компетенция имеет тенденцию к уменьшению по мере подъема по ступеням командной иерархии. Чем ближе к тому уровню, где принимаются реальные решения, тем более консервативной является природа процесса принятия решений, тем больше играют роль бюрократические и посторонние факторы, тем больше соображения престижа и ограничения подменяют творчество и бескорыстную преданность революционным целям.

Партия становится менее эффективной с революционной точки зрения, но тем больше она старается добиться эффективности с помощью иерархии, кадров и централизации. Хотя все идет в ногу, порядка, как правило, нет, особенно когда события начинают быстро развиваться и принимать неожиданные повороты – как это происходит во всех революциях. Партия является эффективной только в одном отношении – в формировании общества по своему иерархическому подобию, если революция оказывается успешной. Она воссоздает бюрократию, централизацию и государство. Она укрепляет их. Она возвращает именно те социальные условия, которые оправдывают такого рода общества. Таким образом, вместо «отмирания», государство, контролируемое «славной партией», сохраняет в себе те самые «необходимые» условия для существования государства – и партия «охраняет» это.

С другой стороны, такого рода партии чрезвычайно уязвимы в периоды репрессий. Буржуазии достаточно только схватить руководство, чтобы уничтожить практически все движение. Когда ее руководители оказываются в тюрьме или бегах, партия парализована; послушным членам некому повиноваться, и они проявляют тенденцию к колебаниям. Происходит быстрая деморализация. Партия разлагается не только из-за атмосферы репрессий, но также из-за убогости своих внутренних ресурсов.

Описанный процесс – отнюдь не перечень гипотетических выводов, но общий набросок пути всей массы марксистских партий прошедшего столетия: социал-демократов, коммунистов и троцкистской партии острова Цейлон (единственной массовой партии среди троцкистов). Утверждение, что эти партии не смогли серьезно отнестись к своим марксистским принципам, таит в себе следующий вопрос: почему это произошло? А дело в том, что эти партии были кооптированы в буржуазное общество, потому что были построены по буржуазным схемам. Зародыш предательства существовал в них от рождения.

Большевистская партия избежала участи между 1904 и 1917 гг. только по одной причине: она была нелегальной организацией на протяжении большей части времени, предшествовавшего революции. Партия непрерывно разрушалась и воссоздавалась, так что до тех пор, пока не пришла к власти, она никогда не становилась действительно централизованной, бюрократизированной, иерархической машиной. Кроме того, она была разделена на фракции; напряженная фракционная атмосфера сохранялась на протяжении всего 1917 года и гражданской войны. Тем не менее, большевистское руководство было чрезвычайно консервативно – черта, с которой Ленин боролся на протяжении 1917 года: сначала в попытках переориентировать Центральный комитет против Временного правительства (знаменитый конфликт вокруг «Апрельских тезисов»), а позднее в подталкивании ЦК к октябрьскому восстанию. В обоих случаях он пригрозил выйти из Центрального комитета и донести свои взгляды до «низов партии».

В 1918 году фракционные споры по проблеме Брестского мира стали настолько серьезными, что большевики, по сути, разделились на две враждующие коммунистические партии. Оппозиционные большевистские группы, такие как Демократические централисты и Рабочая оппозиция, вели жесткую борьбу внутри партии в течение 1919 и 1920 годов, не говоря уже об оппозиционных течениях, развивавшихся в Красной армии из-за пристрастия Троцкого к централизации. Полной централизации партии большевиков – достижения «ленинского единства», как оно было позже названо – не произошло вплоть до 1921 года, когда Ленин сумел убедить X съезд партии запретить фракции. К этому времени большинство белогвардейцев было разбито, и иностранные интервенты вывели свои войска из России.

Не будет преувеличением подчеркнуть, что тенденция большевиков к централизации собственной партии дошла до такой степени, что они изолировались от рабочего класса. Эти взаимоотношения редко изучаются в современных ленинистских кругах, хотя Ленин был достаточно честен, чтобы признавать этот факт. История Российской революции – это не только история партии большевиков и ее сторонников. Под внешней официальной лакировкой событий, описанных советскими историками, шло другое, более фундаментальное, развитие – стихийное движение рабочих и революционных крестьян, которые впоследствии ожесточенно столкнулись с политикой большевиков. После свержения царя в феврале 1917 года рабочие практически всех заводов России стихийно создавали фабрично-заводские комитеты, заявлявшие о своих правах в области промышленных операций. В июне 1917 года в Петрограде была созвана всероссийская конференция фабрично-заводских комитетов, которая призывала к «организации полного рабочего контроля над производством и распределением». Требования данной конференции редко упоминаются в ленинистских докладах о Российской революции, несмотря на то, что конференция высказалась в поддержку большевиков. Троцкий, который описывает фабзавкомы как «наиболее непосредственное и неоспоримое представительство пролетариата всей страны», оставляет их на периферии своей обширной трехтомной истории революции. И все же эти стихийные органы были столь важны, что Ленин, отчаявшись захватить Советы летом 1917 года, был готов выбросить за борт лозунг «Вся власть Советам», заменив его другим: «Вся власть Фабрично-заводским комитетам». Это требование забросило бы большевиков совершенно на анархо-синдикалистские позиции, хотя вызывает сомнения, что они оставались бы там очень уж надолго.

С Октябрьской революцией фабзавкомы взяли под контроль заводы, изгнав буржуазию и взяв промышленность под полный контроль. Принимая концепцию рабочего контроля, известный ленинский декрет от 14 ноября 1917 года всего лишь признал свершившийся факт; большевики тогда еще не осмеливались выступать против рабочих. Но они стали сводить на нет власть фабрично-заводских комитетов. В январе 1918 года, спустя всего лишь два месяца после провозглашения рабочего контроля, Ленин начал настаивать на передаче управления на фабриках под контроль профсоюзов. История о том, что большевики будто бы «терпеливо» экспериментировали с рабочим контролем, пока не обнаружили его «неэффективность» и «хаотичность», является мифом. Их «терпение» длилось не более нескольких недель. Мало того что Ленин выступил против прямого рабочего контроля в течение нескольких недель после декрета от 14 ноября – даже профсоюзный контроль закончился уже вскоре после установления. К лету 1918 года практически во всей российской промышленности были введены буржуазные формы управления. Как писал Ленин, «революция (...) именно в интересах социализма, требует беспрекословного повиновения масс единой воле руководителей трудового процесса»[16]*. После этого рабочий контроль был осужден не только как «неэффективный», «хаотичный» и «нецелесообразный», но также и как «мелкобуржуазный»!

Левый коммунист Осинский резко нападал на все эти ложные претензии и предупреждал партию: «Социализм и социалистическая организация труда будут построены самим пролетариатом, или они не будут вовсе построены, а будет построено нечто иное – государственный капитализм» (В.В. Осинский. Строительство социализма // «Коммунист», №2, 27 апреля 1918). В «интересах социализма» большевистская партия вытесняла пролетариат из всех сфер, которые он завоевал, благодаря своим усилиям и инициативе. Партия не координировала ход революции или даже не вела ее; она господствовала над ней. Первоначальный рабочий контроль и более поздний профсоюзный контроль были заменены замысловатой иерархией, столь же чудовищной, что и любая структура, существовавшая в дореволюционное время. Как показали последующие годы, пророчества Осинского стали реальностью.

Проблема «кто кого» – большевики или российские «массы» – ни в коем случае не ограничивалась пределами фабрик. Тот же вопрос встал не только в городах, но и на селе. Широкая крестьянская война поддержала рабочее движение. Вопреки официальным ленинистским отчетам, сельское восстание ни в коем случае не ограничивалось перераспределением земель в частные наделы. На Украине, крестьяне под влиянием анархистской милиции Нестора Махно и руководствуясь коммунистическим принципом «От каждого по способностям, каждому по потребностям», создали ряд сельских коммун. Несколько тысяч подобных же структур были созданы и в других районах, на Севере и в Советской Азии, отчасти по инициативе левых эсеров и в значительной степени под воздействием традиционных импульсов к коллективизму, исходящих из российской деревни, мира. Не так важно, были ли эти коммуны многочисленными и какое число крестьян они охватывали; важно, что они были подлинными народными органами, ядрами морального и социального духа, стоявшего куда выше бесчеловечных ценностей буржуазного общества.

Большевики с самого начала не одобряли эти органы и, в конце концов, осудили их. Для Ленина наиболее предпочтительной «социалистической» формой сельскохозяйственного предприятия было государственное хозяйство (совхоз, – прим. перевод.) – сельскохозяйственная фабрика, в которой государство владеет землей и сельскохозяйственной техникой, назначает руководителей, которые нанимают крестьян за зарплату. В таком отношении к рабочему контролю и сельскохозяйственным коммунам очевидны в высшей мере буржуазный дух и менталитет, которыми была пронизана большевистская партия изнутри и которые проистекали не только из их теорий, но и из корпоративной модели организации. В декабре 1918 года Ленин начал атаку против коммун под тем предлогом, что крестьян «принуждали» вступать в них «силой». На самом деле, принуждение при организации подобного рода форм коммунистического самоуправления использовалось весьма редко, если вообще использовалось. Как заключает Роберт Дж. Вессон, подробно изучавший советские коммуны: «Те, кто шел в коммуны, должно быть, поступали так в значительной степени по собственному желанию» (Robert G. Wesson, *Soviet Communes* (Rutgers University Press; New Brunswick, N.J., 1963), p. 110.). Коммуны не были подавлены, но у людей отбили охоту создавать их, а затем Сталин объединил весь процесс в управляемую принудительную коллективизацию конца двадцатых и начала тридцатых годов.

К 1920 году большевики изолировали себя от российского рабочего класса и крестьянства. Устранение рабочего контроля, подавление махновцев, атмосфера политических запретов в стране, раздувание бюрократии и сокрушительная материальная нищета, унаследованные из гражданской войны, – все это в совокупности породило глубокую враждебность к большевистской власти. С окончанием военных действий из глубин российского общества поднялось движение за «третью революцию» – не за реставрацию прошлого, как утверждали большевики, но за реализацию тех подлинных целей свободы, как экономической, так и политической, которые сплотили массы вокруг большевистской программы 1917 года. Новое движение обрело свою наиболее сознательную форму среди петроградского пролетариата и матросов Кронштадта. Оно также нашло отражение и в партии: рост антицентралистских и анархо-синдикалистских тенденций среди большевиков достиг таких масштабов, что блок оппозиционных групп, ориентированных на эти темы, получил 124 места на Московской губернской конференции против 154 у сторонников Центрального комитета.

2 марта 1921 года «красные матросы» Кронштадта подняли открытое восстание, подняв знамя «Третьей революции трудящихся». Программа Кронштадта строилась вокруг требований о свободных выборах в Советы, свободе слова для анархистов и левых социалистических партий, о свободных профсоюзах и освобождении всех заключенных, принадлежавших к социалистическим партиям. Для объяснения этого восстания большевики сфабриковали самые бесстыдные истории, но в последующие годы они были признаны беспардонной ложью. Восстание было охарактеризовано как «белогвардейский заговор», несмотря на то, что подавляющее большинство членов компартии в Кронштадте присоединилось к матросам – именно как коммунисты – осудив партийное руководство как предателей Октябрьской революции. Как замечает в своем исследовании об оппозиционных движениях среди большевиков Роберт Винсент Дэниелс: «Рядовые коммунисты действительно были настолько ненадежны... что правительство не полагалось на них ни

при штурме Кронштадта, ни для поддержания порядка в Петрограде, где кронштадтцы прежде всего стремились получить поддержку. Основную часть выставленных войск составляли чекисты и курсанты тренировочных школ Красной армии. Последний штурм Кронштадта был возглавлен чиновничьей верхушкой Коммунистической партии – большой группой делегатов X Съезда партии, доставленных для этой цели из Москвы» (R. V. Daniels. *The Conscience of the Revolution: Communist Opposition in Soviet Russia*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960, p. 145.). Режим был настолько внутренне ослаблен, что элите пришлось самой делать эту грязную работу.

Еще более значительным, чем Кронштадтское восстание, было забастовочное движение, которое развилось в Петрограде, – движение, ставшее искрой для восстания матросов. Ленинистские истории не рассказывают подробно об этом важном критическом процессе. Первые забастовки на Трубочном заводе начались 23 февраля 1921 года. В течение нескольких дней движение охватывало одну фабрику за другой, вплоть до того, что 28 февраля прославленные путиловские рабочие – «горнило Революции» — вышли на забастовку. Были выдвинуты не только экономические требования, рабочие столь же определенно выдвинули и политические, предвосхитив все те требования, которые были подняты матросами Кронштадта несколькими днями позднее. 24 февраля большевики объявили в Петрограде «осадное положение» и арестовали лидеров забастовщиков, подавляя рабочие демонстрации с помощью курсантов. Фактически большевики не просто подавили «матросский мятеж»; они сокрушили сам рабочий класс. Именно в этот момент Ленин потребовал запрета фракций в Коммунистической партии. Централизация партии была теперь завершена – и был вымощен путь для Сталина.

Мы подробно остановились на этих событиях, так как они приводят к выводу, которого старательно избегают марксисты-ленинцы последующего разлива: большевистская партия достигла максимального уровня централизации в дни Ленина не ради доведения до конца революции или подавления белогвардейской контрреволюции, но ради того чтобы произвести свою собственную контрреволюцию против социальных сил, которые она якобы представляла. Фракции были запрещены, и была создана монолитная партия – не для предотвращения «капиталистической реставрации», но чтобы сдержать массовое рабочее движение к советской демократии и социальной свободе. Ленин 1921 года выступил против Ленина 1917 года.

После этого Ленин попросту барахтался в трясине. Этот человек, который, прежде всего, стремился прикрепить проблемы своей партии к социальным противоречиям, оказался в буквальном смысле слова участником организационной «игры в цифры» в последней отчаянной попытке остановить им же порожденную бюрократизацию. Нет ничего более патетичного и трагичного чем последние годы Ленина. Скованный упрощенным набором марксистских формул, он не мог представить себе иных контрмер, кроме носящих организационный характер. Он предложил организовать Рабоче-крестьянскую инспекцию для устранения бюрократических деформаций в партии и государстве – и этот орган попал под сталинский контроль и сам стало крайне бюрократизированным. Тогда Ленин предложил сократить размеры Рабоче-крестьянской инспекции и объединить ее с Контрольной комиссией партии. Он выступил за расширение Центрального комитета. Так это и катилось: этот орган расширить, тот объединить с другим, третий изменить или

ликвидировать. Странный балет организационных форм продолжался до самой смерти Ленина, как если бы эта проблема могла быть разрешена организационными средствами. Как признает Моше Левин, известный поклонник Ленина, большевистский лидер «подошел к проблемам управления как руководитель с “элитаристским” складом ума. Он не применил методы социального анализа к управлению и довольствовался рассмотрением этого вопроса исключительно с точки зрения организационных методов». (Mosche Lewin, *Lenin's Last Struggle* (Pantheon; New York, 1968), p. 122..)

Если верно, что в буржуазных революциях «фраза выходит за рамки содержания», в большевистской революции формы подменили содержание. Советы заменили рабочих и их фабзавкомы, партия заменила Советы, ЦК заменил партию, и Политбюро заменило Центральный комитет. Короче говоря, средства заменили цели. Эта невероятная подмена формой содержания является одной из характерных черт марксизма-ленинизма. Во Франции в ходе событий в мае-июне, все большевистские организации были готовы уничтожить ассамблеи студентов Сорбонны, с тем чтобы увеличить свое влияние и число членов. Принципиальным вопросом для них были не революция или подлинные социальные формы, созданные студентами, но рост собственной партии.

Только одна сила была способна остановить рост бюрократии в России: социальная сила. Если бы российскому пролетариату и крестьянству удалось расширить сферу самоуправления путем развития жизнеспособных фабрично-заводских комитетов, сельских коммун и свободных Советов, история страны, возможно, получила бы совсем иной поворот. Не подлежит сомнению, что провал социалистической революции в Европе после Первой мировой войны привел к изоляции революции в России. Материальная бедность в России, в сочетании с давлением окружающего капиталистического мира, явно препятствовала социалистическому или либертарному по своей сути обществу. Но это ни в ком случае это не предопределяло, что Россия должна была развиваться по пути государственного капитализма. Вопреки первоначальному ожиданию Ленина и Троцкого, революция была побеждена внутренними силами, а не армиями, вторгшимися из-за границы. Если бы движение снизу восстановило первоначальные достижения революции 1917 года, возможно, возникла бы многогранная социальная структура, основанная на рабочем контроле над промышленностью, свободно развивающемся крестьянском сельском хозяйстве, а также живом взаимодействии идей, программ и политических движений. По крайней мере, Россия не оказалась бы скована тоталитарными цепями, и сталинизм не отравил бы мировое революционное движение, проложив дорогу фашизму и Второй мировой войне.

И однако же, развитие партии большевиков сделало невозможным такой процесс – невзирая на «добрые намерения» Ленина и Троцкого. Уничтожая власть фабзавкомов в промышленности и громя махновцев, петроградских рабочих и кронштадтских матросов, большевики по сути гарантировали триумф российской бюрократии над российским обществом. Централизованная партия – полностью буржуазный институт – стала прибежищем контрреволюции в ее наиболее зловещей форме. Это было скрытой контрреволюцией, прикрывавшейся красным флагом и терминологией Маркса. В конечном счете, большевики подавили в 1921 году не «идеологию» или заговор «белогвардейцев», но стихийную борьбу русского народа за свое освобождение от оков и контроль над своей

судьбой[17]*. Для России это означало кошмар Сталинской диктатуры; а для поколения тридцатых – ужас фашизма и предательство коммунистических партий в Европе и Соединенных Штатах.

Две традиции

Было бы невероятно наивно полагать, будто ленинизм был творением только одного человека. Болезнь лежит гораздо глубже, не только в ограниченности марксистской теории, но и в ограничениях социальной эпохи, породившей марксизм. Если это не будет четко понято, то мы останемся столь же слепыми к диалектике сегодняшних событий, как Маркс, Энгельс, Ленин и Троцкий в свое время. Для нас эта слепота тем более предосудительна, потому что за нами богатство опыта, которого этим людям не доставало для развития их теорий.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс были централистами – не только в политическом смысле, но и в социально-экономическом. Они никогда не отрицали данного факта, а их сочинения изобилуют пылкими восхвалениями политической, организационной и экономической централизации. Уже в марте 1850 года, в известном «Обращении Центрального комитета к Союзу коммунистов», они призывали рабочих бороться не только за «единую и нераздельную германскую республику, но и добиваться в этой республике самой решительной централизации силы в руках государственной власти». Дабы требование было воспринято, оно неоднократно повторяется в том же параграфе, который заканчивается так: «Как во Франции в 1793г., так и теперь в Германии проведение строжайшей централизации является задачей действительно революционной партии» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Обращение Центрального Комитета к Союзу коммунистов. Март 1850. Соч. Изд. 2. Т. 7).

Та же самая тема вновь и вновь возникает в последующие годы. Например, после начала франко-прусской войны Маркс написал Энгельсу: «Французов надо вздуть. Если прусаки победят, то централизация государственной мощи будет использована для централизации германского рабочего класса» (Karl Marx and Frederick Engels, Selected Correspondence (International Publishers; New York, 1942), p. 292.).

Однако Маркс и Энгельс были централистами не потому что верили в централизм сам по себе. Как раз наоборот: и марксизм, и анархизм всегда соглашались, что освобождение, коммунистическое общество влекут за собой широкую децентрализацию, исчезновение бюрократии, ликвидацию государств и распад больших городов. «... уничтожение противоположности между городом и деревней не только возможно, – отмечает Энгельс в «Анти-Дюринге», – оно стало прямой необходимостью (...) Только путем слияния города и деревни можно устранить нынешнее отравление воздуха, воды и почвы (...)». Для Энгельса речь идет о как можно более равномерном распределении [промышленности, а затем и населения в целом] по всей стране (Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом. М: Политиздат, 1977. С.300-301), – короче говоря, о физической децентрализации городов.

Истоки марксистского централизма лежат в проблемах, связанных с формированием национального государства. Вплоть до второй половины девятнадцатого столетия Германия и Италия были разделены на множество независимых княжеств, герцогств и королевств. Консолидацию этих географических единиц в единые нации Маркс и Энгельс считали *sine qua non* (непременным условием) развития современной промышленности и капитализма. Их похвалы централизму были порождены не какой-то там централистской мистикой, но событиями того периода, в котором они жили – развитием технологий, торговли, объединением рабочего класса и национальным государством. Их обеспокоенность на этот счет, вкратце, связана с возникновением капитализма, задачами буржуазной революции в эпоху неизбежного материального дефицита. Подход Маркса к «пролетарской революции», с другой стороны, заметно отличается. Он восторженно хвалит Парижскую Коммуну как образец «всем большим промышленным центрам Франции»: «Если бы коммунальный строй, – пишет он, – установился в Париже и второстепенных центрах, старое централизованное правительство уступило бы место самоуправлению производителей и в провинции» (выделено нами – М.Б.) (К.Маркс. Гражданская война во Франции). Единство нации, конечно же, не исчезло бы, и центральное правительство существовало бы в период перехода к коммунизму, но его функции были бы ограничены.

Наша цель, однако же, заключается не в том, чтобы обсуждать цитаты из Маркса и Энгельса, а в том, чтобы подчеркнуть в какой мере ключевые принципы марксизма – которые принимаются сегодня столь некритически – являются на самом деле продуктом эпохи, которая уже давно преодолена развитием капитализма в Соединенных Штатах и Западной Европе. В свое время Маркс был занят проблемами не только «пролетарской революции», но также и буржуазной революции, в особенности в Германии, Испании, Италии и Восточной Европе. Он рассматривал проблемы перехода от капитализма к социализму в капиталистических странах, которые еще далеко не достигли пределов угольно-стальной технологии Индустриальной революции, и проблемы перехода от феодализма к капитализму в странах, которые едва вышли за рамки ремесленного производства и цехового строя. Чтобы широко изложить эти вопросы, Маркс, прежде всего, занимался предпосылками свободы (технологическое развитие, национальное объединение, материальное изобилие), а не условиями свободы (децентрализация, создание сообществ, развитие человека, прямая демократия). Его теории была все еще укоренена в царстве выживания, а не в царстве жизни.

Только осознав это, можно придать теоретическому наследию Маркса осмысленную перспективу – чтобы отделить его богатый вклад от исторических ограничений, которые в наше время действительно парализуют и сковывают. Марксистская диалектика, содержащая множество проницательных догадок, обеспеченных историческим материализмом, превосходный критический анализ товарных отношений, многие элементы экономических теорий, теория отчуждения, и, прежде всего, понимание того, что у свободы есть материальные предпосылки – все это остается прочным вкладом в революционную мысль.

В то же время, сосредоточенность Маркса на промышленном пролетариате как «агенте» революционных преобразований, его «классовый анализ» для объяснения перехода от классового к бесклассовому обществу, его концепция диктатуры пролетариата, его упор на

централизм, его теория капиталистического развития (которая имеет тенденцию смешивать государственный капитализм и социализм), его пропаганда политической борьбы посредством партийных выборов – все эти и многие связанные с ними концепции являются ложными в контексте нашего времени и вводили в заблуждение, как мы увидим далее, даже в его дни. Они проистекают из ограниченности его видения – а точнее, из ограничений его времени. Они будут иметь смысл, только если помнить, что Маркс оценивал капитализм как исторически прогрессивный и необходимую стадию в развитии к социализму, и они были применимы на практике только в то время, когда Германия, в частности, сталкивалась с буржуазно-демократическими задачами и национальным объединением. (Мы не утверждаем при этом, что Маркс был прав в поддержке такого подхода, только потому, что такой подход имеет смысл, если рассматривать его применительно к его времени и месту.)

Подобно тому, как Российская революция включала подспудное движение «масс», которые вступали в противоречие с большевизмом, точно так же в истории есть подспудные движения, которые вступают в противоречие с любой системой власти. Данное движение вошло в нашу эпоху под именем «анархизма», хотя оно никогда не охватывалось единой идеологией или набором священных текстов. Анархизм – это либидиозное движение человечества против любых форм принуждения, уходящее во времени к самому возникновению собственнического общества, классового господства и государства. С тех пор и в дальнейшем, угнетенные сопротивлялись всем тем формам, которые стремятся лишить свободы стихийное развитие общественного порядка. Анархизм вышел на передний план социальной арены в период главного перехода от одной исторической эпохи к другой. Упадок античного и феодального миров явил подъем массовых движений, в некоторых случаях имевших дикий, дионисийский характер. Они требовали положить конец всем системам власти, привилегий и принуждения.

Анархические движения прошлого потерпели неудачу в значительной степени, потому что материальный дефицит, проявление низкого технологического уровня, не позволял осуществить органическую гармонизацию человеческих интересов. Любое общество, которое может обещать не многим большее, нежели неизменное равенство бедности, неминуемо порождает глубинные тенденции к восстановлению новых систем привилегий. В случае отсутствия технологий, которые способны заметно сократить рабочий день, необходимость работать исказит социальные институты, основанные на самоуправлении. Жирондисты Французской революции проницательно сознавали, что могут использовать рабочий день против революционного Парижа. Чтобы исключить радикальные элементы из секций, они попытались ввести в действие законопроект, который бы заканчивал все собрания до десяти часов вечера, когда парижские рабочие возвращались с работы. На самом деле, конец анархическим фазам прошлых революций положили не только техника манипулирования и предательство со стороны «авангардной» организации, но и материальные пределы прошлых эпох. «Массы» всегда были вынуждены возвращаться к тяжелым трудовым будням и в редких случаях имели свободу создавать органы самоуправления, способные сохраниться после революции.

Такие анархисты как Бакунин и Кропоткин, были, однако же, отнюдь не неправы в критике Маркса из-за его акцента на централизме и элитарных представлений об организации. Действительно ли централизм был абсолютно необходим для технических достижений

прошлого? Действительно ли национальное государство было необходимым для распространения торговли? Получило ли рабочее движение пользу от появления высокоцентрализованных экономических предприятий и «неделимого» государства? Мы склонны слишком некритично принимать эти марксистские принципы, во многом, потому что капитализм развивался в пределах централизованной политической сферы. Анархисты прошлого столетия предупреждали, что централистский подход Маркса, поскольку он находился под влиянием событий того времени, так усилит буржуазию и государственный аппарат, что ниспровержение капитализма станет делом чрезвычайно трудным. Революционная партия, дублируя эти централистские, иерархические особенности, будет воспроизводить иерархию и централизм в послереволюционном обществе.

Бакунин, Кропоткин и Малатеста отнюдь не были столь наивны, чтобы полагать, что анархизм может быть установлен в одночасье. Приписывая это мнение Бакунину, Маркс и Энгельс преднамеренно исказили взгляды российского анархиста. Также анархисты прошлого века не верили, будто упразднение государства повлечет «складывание оружия» немедленно после революции, пользуясь мракобесной терминологией Маркса, бездумно повторенной Лениным в «Государстве и революции». На самом деле, многое из того, что выдается в «Государстве и революции» за «марксизм» – это чистейший анархизм, например, замена профессиональных вооруженных сил революционной милицией и замена парламентских органов органами самоуправления. То, что является в ленинском памфлете подлинно марксистским, так это требование строгой централизации, признание «новой» бюрократии, и идентификация Советов с государством.

Анархисты прошлого столетия были глубоко озабочены вопросом о том, как провести индустриализацию без подавления революционного духа «масс» и взращивания новых препятствий на пути к освобождению. Они опасались, что централизация укрепит способность буржуазии к сопротивлению революции и вселит в рабочих чувство покорности. Они старались спасти все те докапиталистические общественные формы (такие как российский мир и испанское пуэбло), которые могли бы дать толчок к свободному обществу, не только в структурном, но и в духовном смысле. Поэтому они подчеркивали необходимость децентрализации даже в условиях капитализма. В отличие от марксистских партий, их организации уделяли значительное внимание тому, что они называли «интегральным образованием» — всесторонним развитием человека – чтобы противодействовать ухудшающему и опошляющему влиянию буржуазного общества. Анархисты старались жить ценностями будущего в той степени, в какой это возможно в условиях капитализма. Они верили в прямое действие, укрепляющее инициативу «масс», сохраняющее дух восстания, поощряющее спонтанность. Они пытались развивать организации, основывающиеся на взаимопомощи и братстве, контроль в которых будет осуществляться снизу вверх, а не сверху вниз.

Здесь мы должны остановиться на более детальном исследовании природы анархистских организационных форм, потому что данная тема была сокрыта под ужасным количеством шелухи. Анархисты, или, по крайней мере, анархо-коммунисты, признавали необходимость организации[18]*. Быть вынужденными повторять это снова и снова столь же абсурдно, как спорить о том, признавал ли Маркс необходимость социальной революции.

Реальный вопрос здесь не «организация против не-организации», а то, какую организацию анархо-коммунисты пытаются создать. Общее для различных типов анархо-коммунистических организаций в том, что они органически вырастают снизу, а не являются органами, искусственно вызванными к жизни сверху. Они являются социальными движениями, комбинирующими творческий революционный образ жизни с творческой революционной теорией, а не политическими партиями, чей образ жизни ничем не отличается от окружающей буржуазной среды и идеология которых сводится к жестким «опробованным и проверенным программам». Насколько это в человеческих силах, они пытаются быть отражением освобожденного общества, а не по-рабски дублировать существующую систему иерархии, классов и власти. Они строятся вокруг братских и сестринских групп людей, близких друг другу – аффинити-групп – чья способность к взаимодействию основана на инициативе, свободно принятых убеждениях, и на глубокой личной заинтересованности, а не строится вокруг бюрократического аппарата, расширенного за счет послушных членов и управляемого сверху горсткой всезнающих руководителей.

Анархо-коммунисты не отрицают необходимость координации между различными группами, дисциплины, тщательного планирования и единства действий. Но они полагают, что согласованность, дисциплина, планирование и единство действий должны быть достигнуты добровольно, посредством самодисциплины, которую питают понимание и убежденность, а не путем принуждения и бессмысленного, беспрекословного подчинения приказам сверху. Они стремятся достичь эффективности, приписываемой централизму, посредством добровольности и понимания, а не путем создания иерархической, централизованной структуры. В зависимости от потребностей или обстоятельств, аффинити-группы могут добиться этой эффективности через собрания, комитеты действий, местные, региональные и национальные конференции. Но они выступают решительно против создания организационной структуры, которая становится самоцелью, комитетов, которые засиживаются после того как все практические задачи были выполнены, «лидерства», которое низводит «революционера» до безмозглого робота.

Эти выводы не являются следствием легкомысленных «индивидуалистических» импульсов: как раз наоборот, они возникают из придирчивых исследований прошлых революций, влияния централизованных партий, оказанного на революционный процесс, и природы социальных преобразований в эпоху потенциального материального изобилия. Анархо-коммунисты стремятся сохранить и расширить анархическую фазу, которая открывала все великие социальные революции. Даже в большей мере, чем марксисты, они признают, что революции вызываются глубинными историческими процессами. Не центральный комитет «делает» социальную революцию; в лучшем случае он может организовать государственный переворот, замену одной иерархии на другую – или в худшем, задержать революционный процесс, если он пользуется сколь-нибудь широким влиянием. Центральный комитет является органом для взятия власти, для воссоздания власти, для захвата в свои руки того, чего «массы» добились своими собственными революционными усилиями. Нужно быть слепым ко всему, что произошло за последние два столетия, чтобы не признавать эти важные факты.

В прошлом, марксисты могли выдвигать вразумительные (хотя и безосновательные) притязания насчет необходимости централизованной партии, потому что анархический период революции сводился на нет материальным дефицитом. В экономическом плане «массы» всегда были вынуждены возвращаться к повседневной трудовой жизни. Революция закрывалась в 10 часов вечера, совершенно независимо от реакционных намерений жирондистов 1793 года; она была остановлена низким технологическим уровнем. Сегодня даже этот предлог был устранен развитием технологии пост-дефицита, в особенности в США и Западной Европе. Теперь достигнута та точка, когда «массы» могут начать, почти в одночасье, радикально расширить «царство свободы» в марксистском смысле – для приобретения досуга, необходимого для достижения высокой степени самоуправления.

Майско-июньские [1968 года] события во Франции продемонстрировали отнюдь не необходимость партии большевистского типа, но потребность в большей сознательности «масс». Парижские демонстранты показали, что организация необходима для того, чтобы систематически распространять идеи – и не просто идеи, но идеи, которые способствуют продвижению концепции самоуправления. То, чего недоставало французским «массам» – это не центрального комитета и не Ленина, чтобы «организовать» или «командовать» ими, а убежденности в том, что они сами могут управлять фабриками, а не просто захватывать их. Примечательно, что ни одна партия большевистского типа во Франции не провозгласила требования самоуправления. Требование было выдвинуто только анархистами и ситуационистами.

Необходимость в революционной организации существует – но ее функции всегда должны быть ясными и понятными. Ее первой задачей является пропаганда, чтобы «терпеливо разъяснять», как говорил Ленин. В революционной ситуации, революционная организация представляет самые передовые требования: она готова на каждом повороте событий сформулировать – самым конкретным образом – непосредственные задачи, которые должны быть выполнены, чтобы продвигать революционный процесс вперед. Она обеспечивает самые смелые элементы в действии и в процессе принятия решений органами революции.

В чем же тогда анархо-коммунистические группы отличаются от партий большевистского типа? Конечно не в таких вопросах как необходимость организации, планирования, координации, пропаганды во всех ее формах или потребность в социальной программе. По сути, они отличаются от партий большевистского типа в своем убеждении, что подлинные революционеры должны действовать в рамках форм, созданных революцией, а не форм, созданных партией. Это означает, что они ориентируются на революционные органы самоуправления, а не на революционную «организацию», на социальные, а не политические формы. Анархо-коммунисты стремятся склонить фабрично-заводские комитеты, ассамблеи или советы к тому, чтобы те превратились в подлинные органы народного самоуправления, а не доминировать над ними, манипулировать ими, или присоединить их к всезнающей политической партии. Анархо-коммунисты не стремятся воздвигать государственную структуру над этими народными революционными органами, но, напротив, хотят растворить все организационные формы, развитые в предреволюционный период (включая их собственные), в этих подлинных революционных органах.

Эти различия имеют решающее значение. Несмотря на риторику и лозунги, российские большевики никогда не верили в Советы; они рассматривали их в качестве инструментов большевистской партии, – позиция, которую французские троцкисты добросовестно дублируют в своем отношении к студенческим ассамблеям в Сорбонне, французские маоисты – к французским профсоюзам, и старые левые – к СДС. К 1921 году Советы были практически мертвы, и все решения принимались в ЦК Политбюро большевиков. Анархо-коммунисты не только стремятся помешать марксистским партиям повторить все это; они хотят не дать и своей собственной организации сыграть подобную роль. Соответственно, они стараются предотвратить появление в своей среде бюрократии, иерархии и элиты. Не менее важно то, что они стараются переделать себя; чтобы искоренить в себе самих те авторитарные черты и элитарные наклонности, которые усваиваются в иерархическом обществе чуть ли не с рождения. Обеспокоенность анархистского движения образом жизни – это забота не только о своей собственной целостности, но и о целостности самой революции[19]*.

Посреди всех сбивающих с толку идеологических переплетений нашего времени один вопрос должен всегда оставаться на переднем плане: какого черта мы пытаемся сделать революцию? Мы пытаемся сделать революцию, чтобы обновить иерархию, мельтеша призрачной мечтой о будущей свободе перед глазами человечества? Чтобы содействовать дальнейшему техническому прогрессу для создания еще большего изобилия товаров, чем существует сегодня? Чтобы «свести счеты» с буржуазией? Чтобы привести к власти ПРП? Или компартию? Или Социалистическую рабочую партию? Чтобы эмансипировать такие абстракции как «Пролетариат», «Люди», «История», «Общество»?

Или революция должна, наконец, ликвидировать иерархию, классовое господство и принуждение – чтобы позволить каждому человеку получить контроль над его повседневной жизнью? Чтобы сделать каждый миг столь же чудесным, каким он мог бы быть, а жизненный путь каждого индивида – опытом полной самореализации? Если истинная цель революции состоит в том, чтобы привести к власти неандертальцев из ПРП, ее не стоит совершать. Мы вряд ли должны обсуждать глупые вопросы о том, может ли индивидуальное развитие быть отделено от социального и коммунального развития; очевидно, что оба они идут рука об руку. Основа бытия цельного человека – окружающее общество; основа для свободного человека – свободное общество.

Оставив в стороне эти вопросы, мы по-прежнему столкнемся с вопросом, который Маркс поднял в 1850 году: когда мы начнем черпать свою поэзию из будущего, а не из прошлого? Надо дать мертвым похоронить своих мертвецов. Марксизм мертв, потому что он уходит корнями в общество материального дефицита, ограниченного в своих возможностях материальной нуждой. Наиболее важное социальное послание марксизма состоит в том, что свобода имеет материальные предпосылки – мы должны выжить, чтобы жить. С развитием технологии, которая, возможно, не могла быть понята дикой научной фантастикой времен Маркса, возможное общества пост-дефицита теперь находятся перед нами. Все институты собственнического общества – классовое господство, иерархия, патриархальная семья, большой город, государство – исчерпали себя. Сегодня децентрализация является не только желательной в качестве средства человеческого развития, она необходима для воссоздания жизнеспособной экологии, сохранения жизни на нашей планете от разрушительного

воздействия загрязняющих веществ и эрозии почв, сохранения атмосферы и равновесия в природе. Необходимо развивать стихийность, если социальная революция призвана дать каждому человеку контроль над его повседневной жизнью. Старые формы борьбы полностью не исчезают с разложением классового общества, но они в настоящее время перекрываются вопросами бесклассового общества. Не может быть никакой социальной революции без участия трудящихся, следовательно, они должны получать нашу активную солидарность во всякой борьбе, которую они ведут против эксплуатации. Мы боремся против социальных преступлений везде, где они появляются; а промышленная эксплуатация – это серьезное социальное преступление. Но социальные преступления – это также расизм, отказ в праве на самоопределение, империализм и нищета, – и если на то пошло, загрязнения, необузданная урбанизация, злобная социализация молодежи, а также сексуальные притеснения. Что касается проблем вовлечения рабочего класса в революцию, мы должны принять во внимание, что предварительное условие для существования буржуазии – развитие пролетариата. Капитализм как социальная система предполагает существование обоих классов и увековечен развитием обоих классов. Мы начинаем подрывать здание классового господства до такой степени, что способствуем деклассированию не-буржуазных классов, по крайней мере, в институциональном, психологическом и культурном отношении.

Впервые в истории анархическая фаза, которая открывала все революции прошлого, может быть сохранена в качестве перманентного условия, благодаря передовым технологиям нашего времени. Анархические институты этой фазы – ассамблеи, фабзавкомы, комитеты действия – могут быть установлены в качестве элементов освобожденного общества, элементов новой системы самоуправления. Сможем ли мы построить движение, которое сможет их защитить? Сможем ли мы создать организацию аффинити-групп, которые способны раствориться в этих революционных институтах? Или мы построим иерархическую, централизованную, бюрократическую партию, которая попытается доминировать над ними, вытесняя их, и, наконец, уничтожит их?

Послушай, марксист: Организация, которую мы пытаемся построить, является типом общества, которое создаст наша революция. Либо мы избавимся от прошлого – в самих себе, так же как в наших группах – либо просто напросто не будет никакого будущего, чтобы победить.

Нью-Йорк Май 1969

Примечание об аффинити-группах

Термин «аффинити группа» является английским переводом испанского выражения grupo de afinidad. Так называлась организационная форма, выработанная еще в дофранкистский период как основа грозной Federation Anarquista Iberica, Федерации анархистов Иберии. (ФАИ состояла из самых идейных активистов НКТ, огромного анархо-синдикалистского профсоюза.) Рабская имитация организационных форм и методов ФАИ невозможна и нежелательна. Испанские анархисты тридцатых годов сталкивались с совершенно иными социальными проблемами, нежели те, с которыми сталкиваются сегодня американские

анархисты. (И тоже самое можно сказать про попытки имитации организационных форм и методов как ФАИ, так и американских анархистов 1970 годов в России начала двадцать первого столетия – прим. пер.)

Форма аффинити-групп, однако, имеет черты, применимые в любой социальной ситуации, и они часто интуитивно принимались американскими радикалами, которые называли создаваемые организации «коллективами», «коммунами» или «семьями». Аффинити-группа может легко рассматриваться как новый тип семьи, в которой родственные связи заменяются очень чуткими человеческими отношениями – отношениями, питаемыми общими революционными идеями и практикой. Задолго до того, как слово «племя» получило популярность в американской контркультуре, испанские анархисты называли свои конгрессы *asambleas de las tribus* – ассамблеи племен. Аффинити-группа преднамеренно сохраняется маленькой, чтобы обеспечить максимальную степень близости между теми, кто ее составляет. Автономная, общинная и основанная на прямой демократии, группа сочетает революционную теорию с революционным образом жизни в их каждодневных действиях. Это создает свободное пространство, в котором революционеры могут менять самих себя, а также социальное бытие.

Аффинити-группы предназначены для того, чтобы выступать в качестве катализаторов внутри народного движения, но не «авангарда»; они обеспечивают инициативу и сознательность, но не играют роль «генерального штаба» и «командования». Группы распространяются на молекулярном уровне, и у них есть свое собственное «броуновское движение». Соединены они вместе или действуют по отдельности – это определяется жизненной ситуацией, а не бюрократическим указом из далекого центра. В условиях политических репрессий аффинити-группы весьма устойчивы по отношению к полицейской инфильтрации. Вследствие близости отношений между участниками группы, в группы часто тяжело проникнуть, и, даже если проникновение происходит, в них нет никакого централизованного аппарата, чтобы предоставить агенту краткий обзор движения в целом. Даже при таких требовательных условиях аффинити-группы могут по-прежнему сохранять контакт друг с другом через свои периодические издания и литературу.

В периоды повышенной активности, с другой стороны, ничто не мешает аффинити-группам сотрудничать в любых масштабах, требуемых живой ситуацией. Они могут легко федерироваться посредством местных, региональных или национальных ассамблей для выработки общей политики, и они могут создавать временные комитеты действий (такие как у французских студентов и рабочих в 1968 году) для координации конкретных задач. Аффинити-группы, однако, всегда укоренены в народном движении. Они преданы социальным формам, созданным революционным народом, а не безликой бюрократии. Вследствие своей автономии и местного характера, группы могут сохранить чуткость в оценке новых возможностей. Крайне экспериментальные и разнообразные в образе жизни, они воздействуют как стимул друг на друга, а также на народное движение. Каждая группа пытается приобрести ресурсы, необходимые для самостоятельного функционирования. Каждая группа стремится приобрести целостный набор знаний и опыта в целях преодоления социальных и психологических ограничений, налагаемых буржуазным обществом на индивидуальное развитие. Каждая группа, как ядро сознательности и опыта, старается продвигать стихийное народное революционное движение к моменту, когда

группа сможет, наконец, исчезнуть в органических социальных формах, созданных революцией.

(Впоследствии Букчин пересмотрел свое отношение к «автономии» и аффинити-группам. В работе «Социальный анархизм или анархизм образа жизни...» он рассматривал «автономию» – в отличие от «свободы» – как проявление буржуазно-эгоистической замкнутости «на себе» и стремления свести отношения с обществом к минимуму. «То, что сегодня сходит за анархизм в Америке и во все большей степени в Европе – не более чем основанный на самонаблюдении персонализм, порочащий ответственные социальные обязательства; группа встречи, переименовываемая то в «коллектив», то в «аффинити-группу»; душевное состояние, которое надменно осмеивает структуру, организацию и участие в общественных делах; и игровая площадка для инфантильных выходов», – Murray Bookchin. *Social anarchism or life style anarchism: an unbridgeable chasm*. Edinburgh, 1995. P.10 – Прим.В.Д.).

Примечания

[1] Эти строки были написаны, когда Прогрессивная рабочая партия (ПРП) имела большое влияние в СДС. Хотя теперь ПРП потеряла большую часть своего влияния в студенческом движении, организация по-прежнему представляет собой хороший пример менталитета и ценностей, распространенных среди Старых левых. Вышеупомянутая характеристика в равной степени действительна для большинства марксистско-ленинских групп, поэтому этот пассаж и другие ссылки на ПРП не были существенно изменены.

[2] Революционное профсоюзное движение работников Доджа (Dodge Revolutionary Union Movement) часть Детройтской Лиги революционных черных рабочих.

[3] Марксизм – это, прежде всего, теория практики, или же, ставя эту связь в ее подлинную перспективу, практика теории. Таков действительный смысл преобразования диалектики Марксом, который перевел ее из субъективного измерения (к коему младогегельянцы все еще пытались свести мировоззрение Гегеля) в объективное, из философской критики в социальное действие. Если теория и практика разрываются, то происходит не убийство марксизма, а его самоубийство. Это его самая замечательная и благородная особенность. Попытки идиотов, идущих по следам Маркса, сохранить систему с помощью путаных исправлений, подмен и бестолкового «школярства» в стиле Мориса Добба и Джорджа Новака унижительно оскорбляют имя Маркса и отвратительно загрязняют все то, за что он выступал.

[4] На самом деле марксисты очень мало говорят о «хроническом [экономическом] кризисе капитализма» в наши дни – несмотря на то, что это понятие формирует фокус экономических теорий Маркса. (Стоит отметить, что в данном случае Мюррей Букчин явно поспешил с выводами – уже в 1973 году начался так называемый «Нефтяной кризис», не говоря уже о последующих кризисах, сопровождающих новую эпоху в истории капитализма – эпоху неолиберальной экономики – прим. пер.)

[5] По экологическим причинам мы не принимаем понятие «господство человека над природой» в упрощенном смысле, который был принят столетие назад Марксом. Для обсуждения данной проблемы отсылаю в раздел «Экология и революционная мысль».

[6] Как это ни парадоксально марксисты, которые говорят об «экономической власти» пролетариата фактически повторяют позицию анархо-синдикалистов, позицию, против которой Маркс решительно возражал. Маркса интересовала не «экономическая власть» пролетариата, а его политическая власть; особенно тот факт, что он станет большинством населения. Он был убежден, что промышленных рабочих будет вести к революции, прежде всего, нищета, которая, по его мысли, вытекает из тенденции капиталистического накопления; так что, организованные фабричной системой и дисциплинируемые индустриальной рутинной, они смогут создать профсоюзы и, прежде всего, политические партии, которые в некоторых странах будут вынуждены использовать методы восстания, а в других (Англии, Соединенных Штатах, а в последующие годы Энгельс добавил к этому Францию) вполне могли бы прийти к власти посредством выборов и законодательно ввести социализм. Характерно, что многие марксисты могут оказаться столь нечестными по отношению к своим Марксу и Энгельсу, как Прогрессивная рабочая партия – по отношению к читателям Challenge, не переводя некоторые важные замечания или грубо искажая смысл высказываний Маркса.

[7] Здесь представляется подходящий случай для того, чтобы опровергнуть понятие, что «пролетариатом» является любой, кому нечего продать кроме собственной рабочей силы. Действительно, Маркс определял пролетариат в таких терминах, но он также разработал историческую диалектику развития пролетариата. Пролетариат развивается из неимущего эксплуатируемого класса, достигая своей наиболее развитой формы в промышленном пролетариате, который соответствует наиболее развитой форме капитала. В последние годы своей жизни Маркс пришел к тому, что стал презирать парижских рабочих, преимущественно занятых в производстве предметов роскоши, ссылаясь на «наших немецких рабочих» – наиболее роботоподобных в Европе – в качестве «модели» мирового пролетариата.

[8] Попытка описать теорию обнищания Маркса в международном плане вместо национального (как это делал Маркс) является чистой отговоркой. Во-первых, эти теоретические фокусы просто пытаются уклониться от вопроса о том, почему обнищания не произошло в промышленных цитаделях капитализма, единственной области, которая формирует технологическую точку, отвечающую требованиям перехода к бесклассовому обществу. Если мы возлагаем наши надежды на колониальный мир как на «пролетариат», то такая позиция таит в себе реальную опасность: геноцид. Америка и ее недавний союзник Россия имеют все технические средства для того чтобы вбомбить развивающиеся страны себе в подчинение. На историческом горизонте встает затаенная угроза превращения Соединенных Штатов в истинно фашистскую империю нацистского типа. Говорить, будто что данная страна является «бумажным тигром», – сущая чепуха. Этот термоядерный тигр, и американский правящий класс, не имея каких либо культурных ограничений, способен стать еще более ужасным, нежели германский.

[9] Ленин ощущал это и написал, что «социализм» «не что иное как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа» (V. I. Lenin, *The Threatening Catastrophe and How to Fight It*, *The Little Lenin Library*, vol. 11 (International Publishers; New York, 1932), p. 37.). Это крайне важное заявление, если продумать, что оно значит и к какому обилию противоречий ведет.

[10] В этом отношении старые левые проецируют свои собственные неандертальские представления на американских рабочих. На самом деле эти представления ближе по своему характеру профбюрократам или сталинистским комиссарам.

[11] Рабочий, в этом смысле, начинает приближаться к переходным социальным человеческим типам, которые были самыми революционными элементами в истории. В целом, «пролетариат» был наиболее революционным в переходные периоды, когда он был психологически наименее «пролетаризированным» индустриальной системой. Великими образчиками классических рабочих революций были Петроград и Барселона, где рабочие были непосредственно вырваны из крестьянской среды, и Париж, где они все еще держались за ремесла или же пришли непосредственно из ремесленной среды. Этим рабочим было труднее всего приспособиться к индустриальному господству, и они служили постоянным источником социальных и революционных волнений. В отличие от них, стабильный наследственный рабочий класс, как правило, на удивление, неревolutionен. Даже германские рабочих, которых Маркс и Энгельс считали моделью для европейского пролетариата, в своем большинстве не поддержали восстание «спартаковцев» в 1919 г. Они дали значительное большинство официальным социал-демократам на съезде рабочих советов и на выборах в Рейхстаг в последующие годы и последовательно объединялись вокруг Социал-демократической партии вплоть до 1933 года.

[12] Этот революционный образ жизни может развиваться на фабриках и на улицах, в школах и в сквоттах, в пригородах, в районе Залива и в Ист-Сайде. Его суть состоит в вызове, и персональной «пропаганде действием», которая подрывает все нравы, институты и предрассудки господства и подчинения. По мере приближения общества к кануну революционного периода, заводы, школы и места жительства становятся действующей ареной революционной «игры» – «игры» с весьма серьезной сердцевиной. Забастовки становятся хроническим явлением и объявляются ради самого факта, чтобы разбить налет рутины, бросить вызов обществу, основанному на почасовой системе, разрушить тональность буржуазной нормальности. Этот новый настрой рабочих, студентов и людей, живущих по соседству друг с другом, является жизненно-важным предшественником действительного революционного преобразования. Наиболее сознательным выражением этого является требование «самоуправления»; рабочие отказываются быть «управляемыми» существами, живым классом. Наиболее очевидным данный процесс был в Испании, в канун революции 1936 г., когда рабочие почти в каждом городе и населенном пункте объявляли «безмотивную» забастовку – чтобы выразить свою независимость, свое чувство пробуждения, свой разрыв с общественными порядками и буржуазными условиями жизни. Это было также существенной особенностью всеобщей забастовки 1968 г. во Франции. (Последнее утверждение является явным преувеличением – Букчин экстраполировал на рабочий класс Франции настроения бунтующей студенческой молодежи, в то время как в реальности картина была несколько иной. См. в частности: Фёдоров А. Проблемы

антиавторитарной альтернативы в XX веке // Либертарная мысль №3, зима 2009/2010 (раздел, посвященный событиям «Красного мая» 1968 г. в Париже). – прим пер.)

[13] Факт, которого Троцкий никогда не мог понять. Он никогда не сделал последовательные логические выводы из своей же концепции «комбинированного развития». Он видел (вполне справедливо), что царской России, запоздавшей в европейском буржуазном развитии, потребуются перенять наиболее развитая индустрия и классовые формы, вместо того чтобы проходить весь процесс буржуазного развития с самого начала. Он отбрасывал предположение о том, что Россия, раздираемая колоссальным внутренним подъемом смогла бы даже опередить европейское капиталистическое развитие. Загипнотизированный формулой «национализированная собственность равна социализму», он не учел, что монополистический капитализм сам стремится к слиянию с государством в рамках своей собственной внутренней диалектики. Большевики, устранив традиционные формы буржуазной общественной организации (которые все еще сдерживают государственный капитализм в Европе и Америке), невольно подготовили почву для «чистого» государственно-капиталистического развития, в котором государство (точнее было бы сказать – государственно-бюрократический аппарат – прим. пер.), наконец, становится правящим классом. Не имея поддержки со стороны технологически продвинутой Европы, российская революция стала внутренней контрреволюцией; Советская Россия стала формой государственного капитализма, который отнюдь не «идет на пользу всему народу». Ленинская аналогия между «социализмом» и государственным капитализмом стала ужасающей действительностью при Сталине. Несмотря на свое гуманистическое ядро, марксизм не был в состоянии понять, насколько близко его концепция «социализма» приближается к позднейшей стадии капитализма как такового – возвращению к меркантилистским формам на более высоком индустриальном уровне. Неспособность понять это развитие привела к разрушительной теоретической путанице в современном революционном движении, о чем свидетельствуют расколы среди троцкистов по этому вопросу.

[14] «Движение 22 марта» служило катализатором событий, а не их руководителем. Оно не командовало; но подстрекало, оставляя свободу игре случая. Данная свободная игра, позволявшая студентам настойчиво двигаться вперед по собственной инерции, была обязательной для диалектики восстания, поскольку без нее не было бы баррикад 10 мая, которые, в свою очередь, спровоцировали всеобщую забастовку рабочих.

[15] С презрительным высокомерием, отчасти объясняемым их невежеством, некоторые марксистские группы фактически сводят все вышеупомянутые формы самоуправления к «Советам». Попытка соединить все эти формы в одну рубрику – не только введение в заблуждение, но сознательное мракобесие. Фактически советы были наименее демократичными из революционных форм, и большевики ловко использовали их, чтобы передать власть своей собственной партии. Советы не основывались на прямой демократии, как Парижские секции или студенческие ассамблеи 1968 года. Не основывались они и на экономическом самоуправлении как испанские анархистские фабричные комитеты. Фактически Советы сформировали рабочий парламент, иерархически организованный, который выводил свое представительство с заводов, а затем из воинских частей и крестьянских деревень.

[16] В.И. Ленин. Очередные задачи Советской власти (V. I. Lenin, «The Immediate Tasks of the Soviet Government,» in Selected Works, vol. 7 (International Publishers; New York, 1943), p. 342). В этой резкой статье, опубликованной в апреле 1918 года, Ленин полностью отказался от либертарной перспективы, которую он выдвинул годом ранее в «Государстве и революции». Главный лейтмотив статьи – необходимость «дисциплины», авторитарного контроля над фабриками, а также введения системы Тейлора (системы, которую Ленин осуждал до революции как порабощение людей машинами). Данная статья была написана во время сравнительно мирного периода большевистского правления спустя примерно два месяца после подписания Брест-Литовского перемирия и за месяц до восстания чехословацкого корпуса на Урале – восстания, положившего начало широкомасштабной гражданской войне и открывшего период прямой интервенции союзников в Россию. И, наконец, статья была написана почти за год до поражения революции в Германии. Тяжело объяснить «Очередные задачи» просто с точки зрения гражданской войны в России и провала Европейской революции.

[17] Характеризуя это стихийное движение российских рабочих и крестьян как серию «белогвардейских заговоров», «актов кулацкого сопротивления» и «происков международного капитала», большевики скатились на невероятно низкий теоретический уровень и не обманули никого, кроме самих себя. Внутри партии развилась духовная эрозия, проложившая путь к политике тайной полиции, к дискредитации и, наконец, к московским процессам и уничтожению старых большевистских кадров. Возвращение к этому одиозному менталитету можно обнаружить в таких статьях «Прогрессив лэйбор» как «Маркузе: трусливый соглашатель или коп?». Ее темой является выставление Маркузе в качестве агента ЦРУ (См.: Progressive Labor, February 1969.). Заголовок статьи под фотографией парижских демонстрантов гласит: «Маркузе попал в Париж слишком поздно, чтобы остановить майские события». Противники ПРП неизменно описываются в этом листке как «гонители коммунистов» и «анти-рабочие» элементы. Если американские левые не откажутся от такого полицейского подхода и дискредитации, то горько расплатятся за это в последующие годы.

[18] Термин «анархист» является столь же обобщенным, как термин «социалист», и вероятно есть столь же много разных видов анархистов, как и социалистов. В обоих случаях спектр простирается от людей, чьи взгляды исходят из расширенного либерализма («анархо-индивидуалисты», социал-демократы), до революционных коммунистов (анархо-коммунисты, революционные марксисты, ленинисты и троцкисты).

[19] Именно эта цель, можем мы добавить, служит мотивом для анархистского дадаизма, анархистского флип-аута (flipout), который наводит ужас на деревянные лица типов вроде из ПРП. Анархистский флип-аут старается разрушить внутренние ценности, унаследованные от буржуазного процесса социализации. Одним словом, это попытка разбить супер-эго, которое осуществляет парализующее действие на стихийность, воображение и чувственность, и восстановить ощущение мечты, возможности и великолепия – революции как освобождения, радостного праздника.

Перевод: А. Фёдоров под редакцией В. Д.

Спонтанность и организация

1980, источник: [здесь](#)

Эта статья — финальный вариант работы, прочитанной мною на конференции по организации альманаха “Telos” в Буффало, штат Нью-Йорк, 21 ноября 1971 года. Ограничения по объёму не позволяют мне конкретно рассмотреть свою точку зрения, согласно которой у нас уже есть технологическая основа для общества постнужды, или более подробно описать тот тип организации, который я считаю подходящим для нашего времени. Для более всестороннего обсуждения этих вопросов я отсылаю читателя к своей книге «Анархизм пост-нужды», в особенности к эссе «К либертарной технологии» и «Дискуссия о статье “Слушай, Марксист”».

1.

Какая ирония в том, что социалистическое движение не только не стоит в «авангарде» современного общественного и культурного развития, но тащится за ним в хвосте почти во всех отношениях. Весьма ограниченное понимание этим движением контркультуры, его вялая интерпретация борьбы за освобождение женщин, его безразличие к экологии и игнорирование даже новых течений на заводах (в особенности среди молодых рабочих) выглядят ещё более гротескными рядом с его упрощенческим «классовым анализом», склонностью к иерархической организации и ритуальными призывами к «стратегии» и «тактике», ставшими неадекватными ещё поколение назад.

Современный социализм продемонстрировал лишь самую незначительную осведомлённость о том, что миллионы людей медленно переопределяют сам смысл свободы. Они существенно расширяют свою картину освобождения человека до тех измерений, которые в предыдущие эпохи выглядели бы безнадёжно утопическими. Всё большее число людей осознаёт, что общество разработало технологию, которая способна совершенно ликвидировать материальную нужду и уменьшить тяжкий труд до практически исчезающих значений. Столкнувшись с возможностями бесклассового общества постнужды и с бесцельностью иерархических отношений, они интуитивно пытаются решать проблемы коммунизма, а не социализма. Они интуитивно пытаются ликвидировать доминирование во всех его формах, а не только материальную эксплуатацию. Отсюда и распространившаяся эрозия власти как таковая — в семье, в школах, в профессиональных и трудовых областях, в Церкви, в армии, практически в каждом институте, поддерживающем иерархическое господство, и в любых нуклеарных отношениях, отмеченных доминированием. Также

отсюда проистекает и чрезвычайно личная природа восстания, пронизывающего общество, его крайне субъективные, экзистенциальные и культурные качества. Восстание влияет на *повседневную жизнь* даже до того, как оно видимо влияет на более широкие аспекты общественной жизни, оно подрывает *конкретную* преданность индивида системе, прежде чем привести в негодность абстрактные политические и моральные истины этой системы.

Этим глубоко укоренившимся освободительным тенденциям, столь богатым своим экзистенциальным содержанием, социалистическое движение продолжает противопоставлять ограничивающие формулы партикуляристского интереса «рабочего класса», архаичное представление о «диктатуре пролетариата» и зловещий концепт централизованной иерархической партии. Если на сегодняшний день социалистическое движение безжизненно, то это потому, что оно утратило всякий контакт с жизнью.

2.

Мы проходим полный цикл развития истории. Мы снова берёмся за проблемы нового органического общества на новом уровне истории и технического развития — органического общества, в котором расколы внутри общества, между обществом и природой и внутри человеческой психики, вызванные тысячелетиями иерархического развития, могут быть излечены и преодолены. Иерархическое общество сотворило пагубное «чудо» превращения людей во всего лишь инструменты производства, в объекты, наряду с орудиями и машинами, тем самым определяя само человечество по его узурпации во всемирной системе нужды, доминирования и — при капитализме — товарного обмена. Даже и ранее, до начала доминирования человека над человеком, иерархическое общество обрекло женщину на полное подчинение мужчине, открыв сферу доминирования ради доминирования, доминирования в своей самой конкретной форме. Доминирование, привнесённое в глубины личности, превратило нас в носителей архаичного, тысячелетнего наследства, формирующего язык, жесты, даже сами позы, которые мы используем в повседневной жизни. Все прошедшие революции были слишком «олимпийскими», чтобы оказать воздействие на эти частные и якобы приземлённые аспекты жизни, отсюда и идеологическая природа заявленных ими целей свободы и узость их взгляда на освобождение.

Напротив, целью нового движения к коммунизму является построение общества, основанного на самоуправлении, где каждый индивид в полном объёме, напрямую и на равных участвует в непосредственном управлении коллективом. Такой коллектив, если рассматривать его с позиции человека, может быть не чем иным, как осуществлением самоосвобождения, выражением свободного субъекта, снявшего все свои «вещификации», самости, которая способна конкретизировать управление коллективом как аутентичным видом самоуправления. Невероятный прогресс, достигнутый контркультурным движением в отличие от социалистического движения, обусловлен именно персонализмом, видящим в обезличенных целях, даже в сферах языка, жестов, поведения и одежды увековечивание доминирования в его самых коварно бессознательных формах. Однако оказавшись оно связанным всеобщей несвободой, окружающей его, контркультурное движение тем самым *конкретно* переопределило бы ныне безвредное слово «революция» в истинно

революционной манере, как *практику*, которая ниспровергает апокрифические абстракции и теории.

Отождествлять требования возникающей самости с «буржуазным индивидуализмом» — значит гротескно искажать самые фундаментальные экзистенциальные цели освобождения. Капитализм не порождает личности; он порождает атомизированных эгоистов. Искажать требования общества, основанного на самоуправлении, выдвигающиеся этой проявляющейся самостью, и сводить требования революционного субъекта к экономистскому представлению о «свободе» — значит искать тот «грубый коммунизм», который юный Маркс так верно высмеял в своих рукописях 1844 года. Требование либертарных коммунистов построить общество, основанное на самоуправлении, отстаивает право каждого индивида получить контроль над своей повседневной жизнью, право делать каждый свой день как можно более радостным и изумительным. Отказ социалистического движения от этого требования в пользу абстрактных интересов «общества», «истории», «пролетариата» и, что более типично, «партии», растворяет и питает *буржуазное* противопоставление личности и коллектива в интересах бюрократической манипуляции, отречения от стремлений и подчинения личности и коллектива интересам Государства.

3.

Общество, основанное на самоуправлении, не может существовать без самостоятельной деятельности. В самом деле, революция и *есть* самостоятельная деятельность в своей самой продвинутой форме: то есть в форме прямого действия, доведённого до той точки, когда улицы, земля и заводы присваиваются самоуправляющимся народом. Пока такой уровень сознательности не достигнут, сознательность, по крайней мере на уровне социума, остаётся *массовой* сознательностью, объектом манипуляции элит. Хотя бы по одной только этой причине истинные революционеры должны согласиться, что наиболее продвинутой формой классовой сознательности является самосознание: индивидуация — превращение «масс» в сознательные существа, способные взять прямой, непосредственный контроль над обществом и своими собственными жизнями. Также в силу одной лишь этой причины истинны революционеры должны согласиться, что единственным на- стоящим «взятием власти» «массами» является *аннулирование* власти: власти человека над человеком, города над селом, государства над сообществом и разума над чувствами.

4.

Именно в свете таких требований общества, основанного на самоуправлении, достижимых посредством самостоятельной деятельности и питаемых самосознанием, мы должны рассматривать взаимоотношение спонтанности и организации. Убеждения, что революция есть скорее вопрос «стратегии» и «тактики», а не общественных процессов; что «массы» не способны создать свои собственные освободительные институты и должны полагаться на силу государства — «диктатуру пролетариата» — чтобы организовать общество и искоренить контрреволюцию, стоят за каждым заявлением о том, что «массам» требуется

«руководство» «авангарда». Каждое из этих утверждений разоблачено историей, даже партикуляристскими революциями, замещавшими правление одного класса другим. Если мы обратимся к Великой французской революции двухвековой давности, к восстаниям 1848 года, к Парижской Коммуне, к двум русским революциям 1905 года и марта 1917 года, к германской революции 1918 года, к Испанской революции 1934 и 1936 годов или же к Венгерской революции 1956 года, мы обнаружим социальный процесс, порой весьма растянутый, достигающий кульминации в свержении установленных институтов без руководства партий-«авангарда» (действительно, там, где такие партии существовали, они обычно отставали от развития событий). Мы видим, что «массы» формировали свои собственные освободительные институты, будь это парижские секции 1793–1794 годов, клубы и ополчения 1848 и 1871 годов, или же заводские комитеты, рабочие советы, народные сходы или комитеты действия в ходе позднейших восстаний.

Было бы грубым упрощением этих событий считать, что контрреволюция поднимала свою голову и торжествовала там, где она действовала только потому, что «массы» были не способны к самокоординированию, и им недоставало «руководства» хорошо дисциплинированной централизованной партии. Тут мы подходим к одной из самых досадных проблем в революционном процессе, к проблеме, которая так никогда адекватно не была понята в социалистическом движении. То, что координирование либо отсутствовало, либо проваливалось — а по сути, то, что *вообще* становилась возможной контрреволюция, — поднимает вопрос более фундаментальный, чем лишь проблема «технического администрирования». Там, где первые, чаще всего несозревшие революции терпели крах, это случалось прежде всего потому, что они не имели материального базиса для консолидации *всеобщего* интереса общества, на что исторически претендовали наиболее радикальные элементы. Будь девизом такого всеобщего интереса «Свобода, Равенство и Братство» или же «Жизнь, Свобода и Стремление к Счастью», никуда не исчезает тот неприятный факт, что не существовало технологических предпосылок для консолидации этого всеобщего интереса в форме гармоничного общества. То, что всеобщий интерес снова оказался разделён в ходе революционного процесса на антагонистические частные интересы — что он прошёл от эйфории «примирения» (о чём свидетельствуют масштабные национальные празднества, последовавшие за взятием Бастилии) к кошмару классовой войны, террора и контрреволюции — должно быть объяснено в первую очередь *материальными пределами* общественного развития, а не техническими проблемами политического координирования.

Великие буржуазные революции преуспели социально даже там, где они, как кажется, потерпели неудачу «технически» (то есть проиграли власть радикальным «мечтателям-террористам»), *именно потому, что они были полностью адекватны своему времени*. Ни армия, ни институты абсолютистского общества не могли выдержать их удары. По крайней мере, в своих ранних стадиях эти революции возникали как выражения «общей воли», объединяя практически все социальные классы против аристократов и монархий тех дней и даже раскалывая саму аристократию. Напротив, все «пролетарские революции» потерпели поражение, потому что технологические предпосылки не соответствовали *материальной* консолидации «общей воли», *единственного базиса, на котором доминируемый может окончательно уничтожить доминирование*. Таким образом, Октябрьская революция провалилась социально, пусть даже и выглядела преуспевшей «технически» — несмотря на все

доказывающие обратное ленинистские, троцкистские и сталинистские мифы — то же самое справедливо и в отношении «социалистических революций» Азии и Латинской Америки. Когда «пролетарская революция» и её время соответствуют друг другу — а точнее, *потому что* они соответствуют друг другу — революция уже более не будет «пролетарской», не будет работой разобщённых порождений буржуазного общества, его трудовой этики, его заводской дисциплины, его индустриальной иерархии и его ценностей. Эта революция будет революцией *народа* в самом истинном смысле этого слова.

5.

Революции прошлого, вершившиеся радикальными элементами, в конечном счёте провалились не из-за потребности в организации, но скорее потому, что все предыдущие общества были организованными системами потребностей. В наше время, в эру финальной, генеральной революции всеобщий интерес общества может отчётливо и *непосредственно* быть преобразован технологиями общества постнужды в материальное изобилие для *всех*, даже посредством исчезновения тяжкого труда как основополагающей черты, характеризующей положение человека. Пользуясь рычагом беспрецедентного материального изобилия, революция может устранить самые фундаментальные предпосылки контрреволюции — нужду, подпитывающую привилегии и причины для доминирования. *Ни у одной* части общества больше нет причины «трепетать» от перспективы коммунистической революции, это должно стать очевидным для *всех*, кто хотя бы готов слушать.

Со временем конструкция, открытая этими качественно новыми возможностями, приведёт к значительному упрощению исторического «социального вопроса». Как отмечал Йозеф Вебер в своей работе «Великая утопия», эта революция — самая всеохватывающая и тотальная из всех, что будут, — возникнет как «следующий *практический шаг*», как непосредственная практика в рамках социальной реконструкции. И действительно, шаг за шагом контркультура поглощала, не только субъективно, но и в своих самых *конкретных и практических формах*, необъятное вместилище задач, прямо касающихся утопического будущего человечества, задач, которые всего лишь поколение назад могли представляться (если вообще представлялись) лишь самыми эзотерическими проблемами в теории. Обозреть эти задачи и осмыслить сумасшедшую скорость, с какой они возникли менее чем за десятилетие — это просто ошеломляюще, поистине беспрецедентно в истории. Нужно упомянуть только важнейшие из них: это автономия самости и право на самореализацию; эволюция любви, чувственности и раскрепощённого выражения тела; спонтанное выражение чувств; отказ от отчуждения во взаимоотношениях между людьми; формирование сообществ и коммун; свободный доступ ко всем средствам, необходимым для жизни; отказ от пластикового товарного мира и предлагаемых им карьер; практика взаимопомощи; овладение навыками и контртехнологиями; возобновление уважения к жизни и балансу в природе; замена рабочей этики содержательной работой и требованиями наслаждения; и, разумеется, практическое переопределение свободы, к которому всякие Фурье, Марксы или Бакунины редко приближались в области мысли.

Следует подчеркнуть, что *мы являемся свидетелями нового Просвещения* (более всеохватывающего, чем даже те полвека просвещения, предшествовавшие Великой французской революции), которое постепенно бросает вызов не только власти установленных институтов и ценностей, но и самой власти как таковой. Просачиваясь вниз от интеллигенции, средних классов и молодёжи в целом ко всем стратам общества, это просвещение медленно расшатывает патриархальную семью, школу как организованную систему репрессивной социализации, институты государства и заводскую иерархию. Оно разъедает трудовую этику, священность собственности и ту фабрику вины и отречения, которая внутренне лишает каждую личность права на полную реализацию своих потенциальных возможностей и удовольствий. Да, теперь не только один лишь капитализм стоит в тупике истории, но и всё совокупное наследие господства, тысячи лет надзиравшего за индивидом изнутри, «архетипы» доминирования, по сути, согласовывавшие Государство с нашей подсознательной жизнью.

Неимоверные сложности, возникающие при осмыслении этого Просвещения, заключаются в его недоступности общепринятому анализу. Это новое Просвещение — не просто смена сознания, смена, нередко весьма поверхностная при отсутствии других изменений. Обычные смены сознания, характерные для более ранних периодов радикализации, переносятся довольно легко, будучи всего лишь теориями, мнениями или высоколобым умствованием, часто успешно отбрасывавшимся из потока повседневной жизни. Значение же нового Просвещения в том, что оно видоизменяет *систему подсознания индивида* даже ещё до того, как это просвещение будет осознанно сформулировано как общественная теория или приверженность каким-либо политическим взглядам.

Рассмотренное с позиции типично социалистического анализа — анализа, фокусирующегося почти целиком на «сознании» и при почти полном отсутствии глубоких психологических озарений, — новое Просвещение кажется способным приносить лишь самые жалкие «политические» результаты. Разумеется, контркультура не могла породить никакие «массовые» радикальные партии и никакие заметные «политические» изменения. Однако если рассмотреть его с точки зрения коммунистического анализа — анализа, занимающегося подсознательным наследием доминирования, — то оказывается, что это новое Просвещение медленно размывает смирение индивида перед институтами, властями и ценностями, сводившими на нет любую борьбу за свободу. Эти глубокие изменения происходят почти неосознанно, как, к примеру, среди рабочих, которые в *конкретной* сфере *повседневной жизни* занимаются саботажем, работают с равнодушием, почти систематически прогуливают, сопротивляются властям практически в любой форме, употребляют наркотики, приобретают разные причудливые черты характера, — и тем не менее в *абстрактной* сфере *политики* и *социальной философии* рукоплещут самым тривиальным проповедям системы. Взрывной характер революции, её внезапность и абсолютная непредсказуемость могут быть объяснены только проникновением этих подсознательных изменений в сознание, снятием напряжения между подсознательными желаниями и сознательно принятыми взглядами в форме открытой конфронтации с существующим порядком. Разрушение подсознательных запретов на эти желания и полное выражение тех желаний, которые пребывают в личном бессознательном, — вот предварительное условие для основания общества освобождения. В определённом смысле мы можем сказать, что попытка поменять сознание является борьбой за бессознательное,

как в смысле оков, сдерживающих желание, так и в смысле скованных желаний.

6.

Сегодня не ставится вопрос, спонтанность — это «хорошо» или «плохо», «желательно» или «нежелательно». Спонтанность — неотъемлемая часть самой диалектики самосознания и само-де-отчуждения, устраняющего субъективные путы, наложенные существующим порядком. Отрицать действенность спонтанности значит отрицать наиболее освободительную диалектику из тех, что имеют место сегодня; как таковая для нас она должна быть данностью, существующей самой по себе.

Этому термину следует дать точное определение, иначе его смысл растворится в семантических спорах. Спонтанность — это не просто порыв, особенно в своей самой продвинутой и истинно человеческой форме, а это единственная форма, достойная обсуждения. Не подразумевает спонтанность и непреднамеренного поведения и ощущения. Спонтанность — это поведение, ощущение и *мышление, свободные от внешнего принуждения, от наложенных ограничений*. Это самоконтролируемое, *внутренне* контролируемое поведение, ощущение и мышление, а не бесконтрольный миазм страсти и действия. С точки зрения либертарного коммунизма, спонтанность подразумевает способность индивида подчиняться самодисциплине и разработать надёжные алгоритмы для общественного действия. В той мере, в какой индивид избавляется от оков доминирования, подавлявших её или его самопроизвольную деятельность, он или она оказывается действующим, чувствующим и мыслящим спонтанно. Мы с тем же успехом могли бы отбросить корень «само-» из таких слов, как «самосознание», «самостоятельная деятельность» и «самоуправление», как и убрать понятие спонтанности из нашего понимания нового Просвещения, революции и коммунизма. Если сегодня есть категорическая необходимость в коммунистическом сознании внутри революционного движения, то без спонтанности мы никогда не сможем даже надеяться его обрести.

Спонтанность не означает отсутствие организации и структуры. Напротив, спонтанность обыкновенно принимает неиерархические формы организации, формы, по-настоящему органичные, самостоятельно созданные и основанные на принципе добровольности. Единственный серьёзный вопрос, возникающий в связи со спонтанностью: где она оказывается *осведомлённой*, а где — нет? Как я уже утверждал раньше, спонтанность ребёнка в обществе освобождения не будет походить на спонтанность молодого человека, а его спонтанность — на спонтанность взрослого; каждый более старший будет попросту более осведомлённым, более знающим и более опытным в сравнении с тем, кто младше. Революционеры сегодня могут браться за распространение этого информативного процесса, но если они попытаются сдерживать его, или уничтожить его, формируя иерархические движения, то они ликвидируют сам процесс самореализации, который бы принёс плоды в виде самостоятельной деятельности и общества, построенного на самоуправлении.

Не менее важен для любого революционного движения и тот факт, что только при спонтанности революции мы можем быть обоснованно уверены, что «необходимые условия» для революции дозрели, так сказать, до «достаточных условий». Восстание, спланированное

элитой, сегодня практически точно привело бы к катастрофе. Слишком грозна мощь государства, с которой мы сталкиваемся, его арсенал слишком разрушителен, и если его структура не повреждена, его эффективность слишком сильна, чтобы от неё можно было избавиться в состязании, где определяющим фактором является вооружение. Система должна пасть, а не бороться; а падёт она только когда её институты окажутся выхолощены новым Просвещением, а мощь так подорвана физически и морально, что противостояние в ходе восстания будет скорее символическим, чем реальным. Невозможно точно предсказать, когда или как наступит этот «волшебный момент», столь характерный для революции, но, к примеру, когда локальная забастовка, обычно игнорируемая при «нормальных» обстоятельствах, сможет зажечь всеобщую революционную забастовку, тогда мы узнаем, что условия созрели, — а это может случиться только тогда, когда революционному процессу будет дана возможность найти свой собственный уровень революционного противостояния.

7.

Если правда то, что на сегодняшний день революция действительно представляет собой сознательный акт в *самом широком* смысле и влечёт за собой демистификацию реальности, устраняющую все её идеологические ловушки, то недостаточно говорить, что «сознание следует за бытием». Рассматривать развитие сознания лишь как отражение субъективности в развитии материального производства значит повторять вслед за поздним Марксом, что мораль, религия и философия являются «идеологическими отражениями и эхом» действительности и «не имеют своей собственной истории и развития», это означает поддерживать формирование идеологии и тем самым отказывать этому сознанию в любом подлинном основании для выхода за пределы мира, каким он дан. Здесь само коммунистическое сознание становится «эхом» действительности. Вопрос «почему?» в этом объяснении сужается до «как?» в типичной инструменталистской манере; субъективные элементы, вовлечённые в трансформации сознания, оказываются полностью объективированными. Субъективность перестаёт быть областью для самой себя, отсюда и провал марксизма в формулировании новой самостоятельной революционной психологии, а также неспособность марксистов понять новое Просвещение, преобразовывающее субъективность во всех её измерениях.

Классическая западная философия в её широком, хотя и нередко затуманенном понятии «духа» признавала, что разум всё больше «включает в себя» материальный мир — или, говоря в более «материалистическом» смысле, что материя становится рациональной, а разум формирует свою собственную «кору», так сказать, над естественной и социальной историей. Разум — это в конечном счёте природа и общество, наделённые сознанием. В этом смысле недостаточно сказать, что «сознание следует за бытием», но скорее получается, что бытие развивается до сознания; что у сознания есть своя собственная история внутри материального мира, приобретающая всё больше влияния на ход материальной реальности. Человечество способно преодолеть область слепой необходимости; оно способно дать природе и обществу рациональное направление и цель.

Такое более пространное определение взаимоотношения между сознанием и бытием не является отдалённой философской абстракцией. Наоборот, оно в высшей степени практично. Доведённая до своего логического заключения, такая интерпретация требует фундаментального пересмотра традиционного представления о революционном сознании как сознании классовом. К примеру, если пролетариат рассматривается всего лишь как продукт его реального бытия — как объект эксплуатации буржуазией и порождение системы фабрик, — он *в самой своей сути* низводится до категории политической экономии. Маркс не оставляет нам сомнений насчёт этой концепции. Как наиболее полно дегуманизируемый класс, пролетариат переходит через своё дегуманизованное состояние и начинает воплощать человеческую тотальность «*велением неотвратимой, не поддающейся уже никакому приукрашиванию, абсолютно властной нужды...*» Соответственно: «Дело не в том, в чём в данный момент *видит* свою цель тот или иной пролетарий или даже весь пролетариат. Дело в том, *что такое пролетариат на самом деле* и что он, сообразно этому своему *бытию*, исторически вынужден будет делать». (Этот упор на протяжении текста сделан Марксом и убедительно говорит о де-субъективизации пролетариата.) Я оставляю в стороне рассуждение, согласно которому эта формула обуславливает элитистскую организацию. Сейчас важно отметить, что Маркс, следуя традиции классической буржуазной политической экономии, тотально объективирует пролетариат и не считает его истинным субъектом. Восстание пролетариата, даже его гуманизация, прекращает быть *человеческим* феноменом, но становится функцией неумолимых экономических законов и «*властной нужды*». Суть пролетариата как пролетариата в его не-человечности, в природе его сотворения как продукта «абсолютно властной нужды». Его субъективность попадает в категорию жёсткой необходимости, объясняемой в терминах закона экономики. Психология пролетариата, в сущности, есть политическая экономия.

Настоящий же пролетариат сопротивляется такому низведению своей субъективности до продукта нужды и всё более живёт внутри сферы желания, сферы возможности. По существу он становится всё более рациональным в *классическом*, а не инструменталистском смысле этого слова. Конкретно, рабочий сопротивляется рабочей этике, потому что она стала *иррациональной* в свете *возможностей*, открывающихся для неиерархического общества. В этом смысле рабочий переступает через свою сотворённую природу и в большей мере становится субъектом, а не объектом; не-пролетарием, а не пролетарием. Желание, а не только нужда, возможность, а не только необходимость, входят в его или её самосоздание и самостоятельную деятельность. Рабочий начинает терять свою *рабочесть*, избавляться от своего существования лишь как классового бытия, как объекта сил экономики, как всего лишь «существа», и становится всё более восприимчив к новому Просвещению.

И когда *человеческая* сущность пролетариата начинает заменять фабричную сущность, достучаться до рабочего становится так же легко, как на заводе, так и вне его. Конкретно, аспект рабочего как женщины или мужчины, как родителя, как городского жителя, как принадлежащего к молодёжи, как жертвы деградации окружающей среды, как мечтателя (этот список практически бесконечен) всё больше выходит на передний план. Стены завода становятся проницаемыми для контркультуры до той степени, когда она начинает соперничать с «пролетарскими» заботами и ценностями рабочего.

Никакая группа «рабочих» не может стать истинно революционной, пока не обратится к *человеческим* устремлениям каждого отдельного рабочего, пока не станет помогать де-отчуждению персональной среды рабочего и не начнёт преступать пределы его фабричной среды. Рабочий класс становится революционным не *вопреки себе*, но *вследствие* себя, буквально как результат своей пробуждённой индиви- дуальности.

8.

На революционерах лежит ответственность не «делать» революции, а помогать другим стать революционерами. А такая деятельность начинается, только когда конкретный индивидуальный революционер берётся за переделку себя самого. Разумеется, за такую задачу невозможно взяться в персональном вакууме; она предполагает существование отношений с другими людьми похожего склада, любящими и взаимно поддерживающими друг друга. Такая концепция революционной организации закладывает основу анархистской группы единомышленников. Члены такой группы считают себя сёстрами и братьями, чья деятельность и структуры, по словам Йозефа Вебера, «ясны для всех». Такие группы действуют как катализаторы при возникающих в обществе ситуациях, а не как элиты; они стараются развить сознательность и борьбу более крупных сообществ, в которых они действуют, а не занять командные позиции.

Революционная деятельность традиционно была проникнута мотивами «страдания», «отрицания» и «жертвенности», мотивами, во многом отражающими чувство вины интеллектуальных кадров революционного движения. По иронии, в той степени, в какой эти мотивы до сих пор бытуют, они являются отражением самых человеконенавистнических аспектов того самого существующего порядка, который «массы» стремятся уничтожить. Революционное движение (если сегодня так его можно назвать), таким образом, имеет тенденцию, даже в большей степени, чем идеология, «вторить эхом» превалирующей действительности — и что ещё хуже, приучать «массы» по собственной воле и вследствие революции страдать, жертвовать и отказываться. Как противодействие такой новейшей версии «республиканской добродетели», анархистские группы единомышленников поддерживают не только рациональную, но и радостную, чувственную и эстетическую сторону революции. Они утверждают тот факт, что революция будет не только наступлением на установленный порядок, но также и уличным фестивалем. Революция — это желание, перенесённое в область общественного и обобщённое. Она не лишена смертельных рисков, трагедий и боли, но это риски, трагедия и боль рождения и новой жизни, а не раскаяния и смерти. Группы единомышленников утверждают, что только революционное движение, придерживающееся подобного взгляда, может создать так называемую «революционную пропаганду», на которую может ответить новая народная восприимчивость — «пропаганду», являющуюся искусством в понимании Домье, Джона Мильтона и Джона Леннона. Воистину, в наше время правда может существовать только как искусство, а искусство — только как правда.

Развитие революционного движения включает в себя засеивание Америки такими группами единомышленников, коммунами и коллективами — в городах, в сельской местности, в школах и на заводах. Эти группы стали бы глубинными, децентрализованными органами,

занимающимися всеми аспектами жизни и жизненных ситуаций. Каждая из групп будет крайне экспериментальной, инновационной и ориентированной на изменения как в образе жизни, так и в сознании; каждая будет настолько хорошо устроенной, что сможет с готовностью раствориться в революционных институтах, созданных самим народом, и прекратить своё существование в качестве отдельного участника в обществе. Наконец, каждая из этих групп будет пытаться как можно лучше отражать освобождённые формы будущего, а не существующего мира, которые отражаются традиционными «левыми». По сути, каждая группа будет учреждать себя в качестве энергетического центра для преобразования общества и колонизации настоящего будущим.

Подобные группы могли бы взаимодействовать, вступать в федерации и устанавливать общение на региональном и национальном уровне по мере необходимости, не отказываясь от своей автономии и уникальности. Это будут органичные группы, порождённые существующими проблемами и стремлениями, а не искусственные, навязываемые элитами при ситуациях в обществе. Не будут они терпеть и такую организацию кадров, чья сплочённость основана лишь на «программном соглашении» и подчинённости функционерам и вышестоящим органам.

Мы вправе спросить, может ли «массовая организация» быть революционной в то время, когда условия для коммунистической революции ещё не созрели? Это противоречие становится самоочевидным, как только мы соединяем слово «массы» с «коммунистической революцией». Можно с уверенностью сказать, что в неревolutionные периоды массовые движения создавались во имя социализма и коммунизма, но достигали своей массовости, только денатурируя концепции социализма, коммунизма и революции. И что хуже, они не только предают исповедовавшиеся ими идеалы, денатурируя их, но и сами становятся препятствиями на пути революции. Далёкие от того, чтобы формировать судьбу общества, они становятся порождениями того самого общества, которому, по их утверждениям, они должны были противостоять.

Искушение перебросить мост через этот разрыв между имеющимся обществом и будущим, коварно по своей природе. Революция — это разрыв не только с существующим социальным устройством, но и с порождаемыми им психикой и ментальностью. Рабочие, студенты, фермеры, интеллектуалы, все потенциально революционные слои общества буквально *порывают сами с собой*, а не только с абстрактной идеологией общества, когда вступают на революционный путь. И до тех пор, пока они не совершили такой разрыв, они не революционеры. Самопровозглашённое «революционное» движение, которое пытается поглотить эти слои своими «переходными программами» и тому подобным, получит их поддержку и участие по ложным мотивам. В свою очередь, движение будет определяться именно людьми, которых оно тщетно пыталось поглотить, а не люди — движением. Очевидно, что на сегодняшний день число революционеров крайне мало, как очевидно и то, что подавляющее большинство людей сегодня занято проблемами выживания, а не жизни. Однако именно эта *озабоченность* проблемами выживания и ценностями, так же как и стимулирующими их нуждами, *предотвращает* их обращение к проблемам жизни — а затем и к революционному действию. Разрыв с существующим порядком будет сделан только тогда, когда проблемы жизни инфильтрируются и поглотят проблемы выживания — когда жизнь будет пониматься как условие для существования сегодня — а не отрицанием

проблемы жизни с целью заняться проблемами выживания, то есть достижения «массовой» организации, созданной только лишь из «масс».

Революция — это волшебное мгновение не только потому, что её невозможно предсказать; но и потому, что она также может осаждаться в сознании в течение недель, даже дней, как нелояльность, глубоко скрытая в подсознании. Но революция должна рассматриваться как нечто большее, чем просто «мгновение»; это сложная диалектика даже в рамках своего собственного каркаса. Революция большинства не означает, что подавляющее большинство населения должно непременно участвовать в революционных выступлениях в одно и то же время. Изначально движущая группа людей может представлять собой меньшинство населения — существенное, популярное, спонтанное меньшинство, конечно же, а не малочисленную, «хорошо дисциплинированную», централизованную и мобилизованную элиту. Согласие большинства будет видно хотя бы уже по тому факту, что оно больше не будет *защищать* существующий порядок. Оно может «действовать», *отказываясь* поддерживать правящие институты, — подход «смотреть и выжидать» с целью удостовериться, окажется ли правящий класс бессильным, если лишит его своей лояльности. Только проверив ситуацию своей пассивностью, это большинство может переходить к открытой активности — тогда уже с быстротой и масштабом, в короткий срок ликвидируя институты, отношения, подходы и ценности, которые устанавливались на протяжении столетий.

9.

Наличие в Америке любого организованного «революционного» движения, имеющего искажённые цели, было бы неизмеримо хуже, чем вообще отсутствие какого-либо движения. И так уже «левые» нанесли ужасающий урон контркультуре, движению за освобождение женщин и студенческому движению. Своими раздутыми претензиями, обезличивающим поведением и манипуляциями «левые» сильно поспособствовали той деморализации, что существует сегодня. И вполне возможно, что при наступлении будущей революционной ситуации «левые» (особенно в своих авторитарных формах) вызовут проблемы более угрожающие, чем это могла бы сделать буржуазия, — в том случае, если революционный процесс не сможет преобразовать этих «революционеров».

А в преобразовании нуждается многое — не только социальные взгляды и личные отношения, но сам способ того, как «революционеры» (в особенности мужчины) интерпретируют опыт. «Революционер» не меньше, чем «массы», воплощает подходы, которые отражают по сути деспотический взгляд на внешний мир. Западный образ восприятия традиционно определяет индивидуальность в антагонистических терминах, в матрице противопоставления объектов и субъектов, лежащих за пределами «Я». Собственная личность — это не только эго, отличаемое от внешних «других», это эго, стремящееся повелевать этими другими и подчинять их. Отношение субъект/объект субъективно определяется как функция доминирования, доминирования над объектами и редукции других субъектов до объектов. Западная индивидуальность, разумеется, в её мужских формах это индивидуальность присвоения и манипулирования по самому своему самоопределению и определению отношений. Такое само- (и через отношения) определение

может активно проявляться в некоторых индивидах, быть пассивным в других, или же открываться именно во взаимном распределении ролей, основанном на желании доминировать и быть доминируемым, однако доминирование практически повсеместно пронизывает превалирующий способ переживания реальности.

Практически любое течение в Западной культуре укрепляет такой способ переживания — не только её буржуазное и иудео-христианское течения, но и марксистское тоже. Согласно марксовому определению, которое он позаимствовал у Гегеля, трудовой процесс как способ самоопределения является неприкрыто присваивающим и латентно эксплуататорским. Человек формирует себя, изменяя мир; он присваивает его, трансформирует в соответствии со своими «нуждами» и тем самым проектирует, материализует и проверяет себя самого в объектах своего собственного труда. Такая концепция самоопределения человека образует точку отсчёта для всей теории исторического материализма Маркса. «Людей можно отличать от животных по сознанию, по религии — вообще по чему угодно», — замечает Маркс в своём знаменитом пассаже из «Немецкой идеологии». «Сами они начинают отличать себя от животных, как только начинают *производить* необходимые им жизненные средства... Какова жизнедеятельность индивидов, таковы и они сами. То, что они собой представляют, совпадает, следовательно, с их производством — совпадает как с тем, *что* они производят, так и с тем, *как* они производят. Что представляют собой индивиды — это зависит, следовательно, от материальных условий их производства».

В гегелевской «Феноменологии духа» тема труда рассматривается в контексте отношений господин/раб. Здесь субъект становится объектом в двояком смысле, поскольку другой (раб) оказывается объективирован и, соответственно, низведён до уровня инструмента производства. Труд раба, однако, становится основой для автономного сознания и индивидуальности. Посредством работы и труда «сознание раба приходит к себе», отмечает Гегель. «Труд, напротив того, есть *заторможенное* вожделение, *задержанное* (aufgehaltenes) исчезновение, другими словами, он *образует*». «Формирующее действие» это «чистое для-себя-бытие сознания [раба], которое теперь в труде, направленном вовне, вступает в стихию постоянства; работающее сознание приходит, следовательно, этим путём к созерцанию самостоятельного бытия как себя самого».

Гегель превращает ограничение свободы труда в отношения господина и раба — то есть в структуру доминирования — с диалектикой, следующей за этим «моментом». В конечном итоге разрыв между субъектом и объектом преодолевается как антагонизм, но оказывается воплощён как причина в полноте истины, в Абсолютной Идее. Маркс не смог продвинуться за пределы момента отношения господин/раб. Этот момент накрепко связан и вогнан внутрь теории классовой борьбы Маркса (по моему мнению, это серьёзнейший недостаток, лишающий осознанности историю *нарождающейся* диалектики) — и разрыв между субъектом и объектом так никогда полностью не был преодолён. Вопреки всем интерпретациям «Фейербаховского натурализма» у раннего Маркса, человечество, по его мнению, двойственно выходит за пределы доминирования за счёт своего доминирования над природой. Природа низводится до «раба», так сказать, гармонизированного общества, а личность не ликвидирует своё прометеистское содержимое. Поэтому тема доминирования всё ещё скрытно присутствует в интерпретации коммунизма у Маркса; природа всё ещё является объектом доминирования. Понимаемая так, марксистская концепция природы —

весьма далеко отошедшая от более противоречивых представлений юного Маркса — вредит примирению субъекта и объекта, которое должно быть достигнуто в гармонизованном обществе.

Существование этих «объектов» и необходимость в «манипулировании» ими — это очевидные условия для выживания человека, через которые не может преступить ни одно общество, каким бы гармонизованным оно ни было. Но существуют ли «объекты» *лишь* как объекты или остаётся ли их «манипулирование» *лишь* манипулированием — или же, образует ли труд, отделяемый от искусства и игры, основной вид самоопределения — это совсем другой вопрос. Ключевым аспектом, вокруг которого вращаются эти различия, является доминирование — отношение присвоения, определяющееся эгоистическим понятием нужды. В той мере, в какой собственные нужды существуют только для самих себя, независимо от целостности (или от того, что Гегель также называл «субъективностью») другого, этот другой остаётся для личности *лишь* объектом, и обращение с этим объектом становится *лишь* присвоением. Но в той мере, в какой другой рассматривается как самоцель, а нужда определяется в терминах взаимной поддержки, личность и другой вступают в отношения взаимодополнения. Такие взаимодополняющие отношения достигают наибольшей гармонизации в аутентичной игре. Взаимодополняемость в отличие от доминирования — даже от более мягких форм договорных отношений и взаимопомощи, называемых «взаимодействием», — предполагала новый анимизм, уважающий другого за его собственные дела и *активно* отвечающий в форме креативного, любящего и поддерживающего симбиоза.

Зависимость существует *всегда*. Однако *как* она существует и *почему* — остаётся определяющим для понимания любых различий между доминированием и взаимодополняемостью. Младенцы всегда будут зависимы от родителей в удовлетворении своих самых элементарных физиологических нужд, а молодёжи всегда будет требоваться поддержка старших для получения знаний и опыта. Похожим образом и старшие поколения будут зависеть от молодых в воспроизводстве общества и в стимуляции, получаемой от расспросов, а также свежих взглядов на опыт. В иерархическом обществе зависимость обычно связана с подчинением и отрицанием индивидуальности другого. Разница в возрасте, половой принадлежности, режимах работы, уровнях знаний, в интеллектуальных, художественных и эмоциональных наклонностях, в физическом облике — всё это колоссальное разнообразие, которое могло бы привести к продуктивной последовательности взаимоотношений и взаимозависимостей, — фактически пересобирается с позиций приказания и подчинения, превосходства и неполноценности, прав и обязанностей, привилегий и запретов. Такая иерархическая организация явлений встречается не только в общественном мире; её параллель можно найти в том, как феномены — как социальные, так и естественные и личные, — познаются изнутри. Личность в иерархическом обществе не только живёт, действует и общается иерархически, она и мыслит и чувствует иерархически, путём организации огромного объёма разнообразных данных чувств, памяти, ценностей, страстей и мыслей иерархическим путём. Различия между вещами, людьми и отношениями не существуют как самоцели; они организованы иерархически в самом разуме и натравлены друг на друга антагонистически в соответствии с различными степенями доминирования и подчинения даже тогда, когда могли бы быть взаимодополняющими в преобладающей реальности.

Взгляды раннего органического человеческого сообщества, по крайней мере, в его наиболее гармонизированной форме, оставались по существу свободными от иерархических моделей восприятия; действительно, кажется сомнительным, могло ли человечество произойти из мира животных без системы общественного взаимодействия, компенсировавшей физические ограничения слабого примата, обитателя саванн. Во многом такой ранний неиерархический взгляд приобретал религиозный характер; не только растения и животные, но также ветер и камни считались живыми. Каждый, однако, рассматривался как одушевлённый элемент целого, где люди участвовали как одни из многих, не выше и не ниже остальных. В идеале такой взгляд был фундаментально эгалитарным и отражал эгалитарную природу сообщества. Если верить материалам анализа синтаксиса индейцев винту, сделанному Дороти Ли, доминирование в любой своей форме отсутствовало даже в языке; так, мать из племени винту не «забирала» своего младенца в тень, она со своим ребёнком «шла» в тень. Миру природы не были присущи никакие иерархии, по крайней мере до тех пор, пока человеческое сообщество не начало становиться иерархическим. Соответственно сам опыт становился всё более иерархичным, отражая расколы, подрывавшие единство раннего органического человеческого сообщества. Возникновение патриархата, социальных классов, городов и последующего антагонизма между городом и деревней, государства, и, наконец, различий между умственным и физическим трудом, разделивших индивида, изнутри полностью уничтожили этот взгляд.

Сводя все социальные связи к потребительским отношениям и низводя всю производственную активность к «производству ради производства», буржуазное общество довело иерархический подход до абсолютного антагонизма с миром природы. Хотя вполне корректно говорить, что такой подход и различные модели труда, его породившие, также породили и невероятные достижения в технологиях, никуда не исчезает тот факт, что эти достижения были получены доведением конфликта между человечеством и природой до той точки, где природное основание жизни повисает, опасно балансируя, над пропастью. Кроме того, институты, появившиеся при иерархическом обществе, теперь достигли своих исторических пределов. Некогда бывшие социальными факторами, способствовавшими технологическим достижениям, теперь они стали самыми мощными силами, нарушающими экологический баланс. Патриархальная семья, классовая система, город и государство разваливаются в силу своих же собственных условий; мало того, они становятся источниками колоссальной социальной дезинтеграции и конфликтов. Как я уже неоднократно указывал, средства производства стали слишком пугающими, чтобы их можно было использовать как средства доминирования. Уйти должно само доминирование, а с доминированием и историческое наследие, сохраняющее иерархический подход к опыту.

10.

Возникновение экологии как социальной темы напоминает нам о том пределе, к которому мы вновь возвращаемся, рассматривая проблемы органического общества, в котором преодолены расколы внутри себя, а также между обществом и природой. Совершенно неслучайно, что в поисках вдохновения контркультура обращается к индийскому и азиатскому взглядам на опыт. Архаические мифы, философии и религии более единообразного, органического мира вновь оживают только потому, что снова живы

проблемы, с которыми они сталкиваются. Две конечные цели человеческого развития объединены словом «коммунизм»: первая — технологически сложно устроенная утопия, способная существовать по законам природы и ставить её сознание на службу жизни. Кроме того, эта первая цель осмыслялась в рамках социальной сети строго регулируемого взаимного обмена, основанного на обычаях и беспросветной нужде; вторая цель могла осмысляться в свободном объединении взаимодополняющих отношений, основанных на разуме и желании. Обе эти цели разделены гигантским технологическим развитием, развитием, открывающим возможность преодоления пространства и необходимости.

То, что социалистическое движение совершенно не смогло увидеть смысл возникающих сейчас коммунистических запросов, подтверждается его позицией по отношению к экологии: позицией в том случае, если она не отмечена снисходительной иронией, которая редко возвышается над уровнем мелких разоблачений. В данном случае я говорю об *экологии*, а не об энвайронментализме. Энвайронментализм занимается удобством обслуживания человеческого ареала, пассивной территории, которую люди *используют*, говоря кратко, для сбора вещей, называемых «природными ресурсами» и «городскими ресурсами». Сами по себе темы энвайроментализма (защиты окружающей среды) не требуют ума большего, чем нужно для практических видов мышления и методов, используемых городскими планировщиками, инженерами, физиками, юристами — и социалистами. Напротив, экология — это искусная наука или научное искусство, а в наилучшем случае — форма поэзии, совмещающая науку и искусство в уникальном синтезе. Самое главное, такой взгляд рассматривает все взаимозависимости (как социальные и психологические, так и природные) не иерархически. Экология отвергает рассмотрение природы с позиции иерархии. Более того, она утверждает, что разнообразие и спонтанное развитие являются самодостаточными целями, которые сами по себе заслуживают уважения. Сформулированный в рамках экологии «экосистемный подход» означает, что каждая форма жизни занимает своё уникальное место в природном балансе и её изъятие из экосистемы может подвергнуть опасности стабильность всей системы. Мир природы, предоставленный в основном самому себе, развивается, колонизируя планету, ещё более разнообразными формами жизни и всё более усложнёнными взаимоотношениями между видами в качестве пищевых цепочек и пищевых сетей. В экологии нет «царя зверей»; все формы жизни имеют своё место в биосфере, становящейся всё более и более разнообразной в ходе биологической эволюции. Каждая экосистема должна рассматриваться как уникальная сама по себе целостность разнородных форм жизни. К общему целому принадлежат и люди, но только как одна из частей целого. Они могут вмешиваться в эту целостность, даже попытаться намеренно управлять ею, убеждённые, что делают это ради себя и общества; но если они попробуют «доминировать» над ней, то есть грабить её, они рискуют разрушить её и природные основы общественной жизни.

Диалектическая природа экологического подхода, — подхода, делающего упор на различие, внутреннее развитие и единство в многообразии, — должна быть очевидной для каждого, кто знаком с трудами Гегеля. Даже языки экологии и диалектической философии в значительной степени совпадают. По иронии, сегодня экология ближе к представлению Маркса о науке как диалектике, чем все другие науки (не исключая и его любимую сферу политэкономии). Можно сказать, что экология обладает таким высоким статусом, поскольку предоставляет основу, и социально, и биологически, для

уничтожающей критики иерархического общества как целого, в то же время предоставляя и планы для построения жизнеспособной, гармоничной утопии будущего. Ведь именно экология утверждает на научном основании необходимость социальной децентрализации, основанной на новых формах технологии и новых моделях сообщества, мастерски приспособленных к той экосистеме, в которой они располагаются. По сути, вполне справедливо будет сказать, что форму группы единомышленников и даже традиционный идеал всеобщего развитого человека можно рассматривать как экологические концепции. В какой бы области экологический подход ни применялся, он рассматривает единство в многообразии не как совокупность нейтрально сосуществующих элементов, но как комплексную динамическую целостность, стремящуюся гармонично интегрировать свои разнородные части.

Не только глупость мешает социалистическому движению понять экологический подход. Говоря прямо, марксизм больше не способен понять не проявляющее себя коммунистическое видение. В свою очередь, социалистическое движение приобрело и преувеличило наиболее ограничивающие черты работ Маркса, не понимая богатых озарений, в них содержащихся. *Modus operandi* этого движения составляют не видение Марксом человечества, интегрированного внутренне и с природой, но частные соображения и неопределённости, повредившие его воззрениям, а также латентный инструментализм, исказивший их.

11.

История сыграла с нами в свою коварную игру. Вчерашние истины она обратила в сегодняшнюю ложь, не порождая новые опровержения, но создавая новый уровень социальной возможности. Мы начинаем понимать, что существует сфера доминирования, более обширная, чем сфера материальной эксплуатации. Трагедия социалистического движения в том, что завязнув в прошлом, оно прибегает к методам доминирования, стараясь «освободить» нас от материальной эксплуатации.

Мы начинаем понимать, что наиболее развитой формой классового сознания является самосознание. Трагедия социалистического движения в том, что оно противопоставляет классовое сознание самосознанию и отвергает как «индивидуализм» проявление собственной самости — самости, которая может привести к наиболее развитой форме коллективизма, к коллективизму, основанному на самоуправлении.

Мы начинаем понимать, что спонтанность приносит свои собственные освобождённые формы социальной организации. Трагедия социалистического движения в том, что оно противопоставляет организацию спонтанности и пытается свести социальный процесс к политическому и организационному инструментализму.

Мы начинаем понимать, что всеобщий интерес теперь можно будет поддержать после революции, используя технологии постнужды. Трагедия социалистического движения в том, что оно поддерживает узкие интересы пролетариата в противовес возникающему всеобщему интересу доминируемых как целостности — всех доминируемых страт, полов,

возрастов и этнических групп.

Мы должны порвать с данностью, с социальным конгломератом, предстающим непосредственно сейчас у нас перед глазами, и попытаться увидеть, что мы стоим где-то посередине процесса, имеющего длительную историю за собой и долгое будущее перед собой. За время, чуть большее, чем полдесятилетия, мы увидели, как масштабно и со скоростью, невообразимой для людей ещё десять лет назад, распадались устоявшиеся истины и ценности. И всё же, вероятно, мы находимся ещё только в начале процесса дезинтеграции, чьи самые значимые эффекты ещё впереди. Это революционная эпоха, колоссальный исторический поток, нарастающий, часто незаметно, в глубочайших впадинах подсознания, чьи цели продолжают расти по мере его развития. Больше чем когда-либо, сейчас мы знаем из жизненного опыта то, что не способны установить тома теории: сознание может меняться быстро, с такой скоростью, что ослепляет очевидца. В революционную эпоху год или даже несколько месяцев могут принести такие перемены в народном сознании и нравах, для достижения которых в нормальное время потребовались бы десятилетия.

И мы должны знать, чего хотим, чтобы не обращаться к средствам, полностью искажающим наши цели. На повестке общества сегодня стоит коммунизм, а не социалистическая мешанина «стадий» и «переходных периодов», всего-навсего затягивающих нас в мир, который мы стараемся преодолеть. Сегодня на повестке дня стоит неиерархическое общество, самоуправляемое и свободное от всех форм доминирования, а не иерархическая система, обёрнутая в красный флаг. Диалектика, которую мы ищем, — не прометеевская воля, настаивающая на антагонизме «другого», и не пассивность, в покое постигающая феномены. Она не счастье и не умиротворение вечного статус-кво. Жизнь, когда мы готовы принять все запретные опыты, не мешающие выживанию. Желание, как ощущение возможностей человека, возникающих с жизнью, и удовольствие от исполнения таких возможностей. Таким образом, та диалектика, которую мы ищем — это непрестанная, но спокойная трансцендентность, находящая своё самое человеческое выражение в искусстве и игре. Наше самоопределение придёт от очеловеченного «другого» из искусства и игры, а не от оскотиненного «другого» из каторжного труда и доминирования.

Мы всегда должны быть в поисках нового, в поисках *потенциальных возможностей*, созревающих вместе с развитием мира, и новых ви́дений, раскрывающихся с ними. Взгляд на мир, который перестаёт искать новое и перспективное ради «реализма», уже утратил связь с настоящим, поскольку настоящее всегда обусловлено будущим. Истинное развитие кумулятивно, а не последовательно; это рост, а не наследование. Новое всегда воплощает настоящее и прошлое, но делает оно это по-новому и более адекватно, будучи частью большего целого.

Экология и революционная мысль

1971, источник: [здесь](#)

Необходимо преодолеть не только буржуазное общество, но и все вековое наследие имущих: патриархальную семью, урбанизм, государство. Нужно преодолеть исторический разрыв, разделяющий дух и чувственность индивида и общества, город и деревню, труд и игру, человека и природу. Дух спонтанности и разнообразия, пронизывающий экологические воззрения на мир природы, должен распространиться на революционные перемены и проект новосоздаваемого общества. Собственность, господство, иерархия и государство во всех их формах абсолютно немыслимы в контексте сохранения биосферы. Или экологическое действие станет революционным, или оно не будет иметь никакого значения. Любая попытка реформировать общественный строй, натравливающий человека на все силы жизни, — грубый обман и служит только сохранению существующих институтов.

Развитие революционного мышления со времен Возрождения находилось под глубоким влиянием какой-либо отрасли науки, часто еще и в соединении с какой-либо философской школой... В наше время мы увидели, как некогда прогрессивные науки интегрируются существующим общественным строем. Мы даже начали рассматривать саму науку как инструмент контроля над мышлением и физическим существованием людей. Это недоверие к науке имеет свои основания... Наука потеряла свой критический момент...

Тем не менее есть одна научная отрасль, которая не только способна восстановить освободительную функцию традиционных наук и философий, но и выходит, возможно, за их рамки. Эта сфера называется «экологией»... В широком смысле она занимается равновесием с природой. Поскольку природа включает и людей, экология занимается гармонией между человеком и природой. Революционные выводы из экологического подхода приводят не только к тому, что экология в конечном счете становится критической наукой — причем в такой мере, какую не могли достичь самые радикальные системы политэкономии, — но и к тому, что речь идет о всеохватывающей и созидательной науке. Этот последний аспект экологии непосредственно ведет к анархистским сферам общественной мысли. Ведь в конечном счете невозможно достичь гармонии между человеком и природой, не создав человеческого общества, находящегося в длительном равновесии со своим природным окружением.

Критическое содержание экологии

Критическая острота экологии, специфический аспект науки в эпоху всеобщей покорности науки, прямо вытекает из ее объекта, сферы ее занятий. Вопросы, которыми занимается экология, тем более принципиальны, что их нельзя игнорировать, не ставя под вопрос само выживание людей и дальнейшее существование планеты... Возможно, что людьми можно манипулировать, как это утверждают владельцы СМИ, или что можно управлять частью природы, как это демонстрируют инженеры, но экология ясно показывает, что совокупность естественного мира — природа во всех ее связях, круговоротах и отношениях — противостоит всем человеческим попыткам овладеть этой планетой. Огромные пустыни вокруг Средиземного моря, некогда плодородные сельскохозяйственные области или бывшие зоны с богатой природной флорой — исторические доказательства мести природы человеческому хищничеству.

Но ни один исторический пример не может по своему значению и своим масштабам сравниться с человеческим разрушением — и мстью природы — со времени промышленной революции и особенно Первой мировой войны. Старые примеры человеческого паразитизма всегда имели ограниченные местные масштабы, они были ограниченными примерами разрушительной силы человека, и больше ничем... Разрушение окружающей среды современным человеком всемирно по своему распространению, так же как его империализм. Оно даже превзошло уже масштабы Земли... Сегодня человеческое хищничество разрушает не только атмосферу, климат, водные ресурсы, почву, флору и фауну одной отдельной области. Оно действительно разрывает все основополагающие круговороты природы и угрожает подорвать стабильность окружающей среды во всемирном масштабе...

Примеры этого рода можно привести для любой части биосферы. Можно исписать целые страницы о потерях плодородной почвы, ежегодно происходящих на Земле, о случаях смертельного заражения воздуха в районах крупных городов, о всемирном распространении таких ядовитых веществ, как радиоактивные изотопы и свинец, о химикализации непосредственного окружения человека, — можно даже сказать, его стола — пестицидами и кормовыми добавками. Если все эти отдельные элементы собрать в цельную картину, эти атаки на среду обитания образуют целую структуру разрушения, беспримерную в человеческой истории.

... Критическую функцию экологии придает вопрос, поставленный разрушительными качествами человека: в чем причина вырождения человека в разрушительного паразита? Чем вызывается эта форма паразитизма, которая не только опасно мешает равновесию, но и угрожает самому человеческому существованию?

Человек разрушил это равновесие не только в природе, но и — еще сильнее — в отношениях с другими людьми и в структуре своего общества. Нарушения равновесия, которые человек вызывает в природе, имеют происхождение в разрушении равновесия, произведенном им в своей окружающей социальной среде. Сто лет назад еще можно было рассматривать загрязнение воздуха и отравление воды как результат деятельности промышленных баронов и бюрократов. Сегодня такое моралистическое объяснение было бы сильно упрощенным... Гораздо более серьезная проблема, чем позиция владельцев — размеры самих фирм, их гигантские масштабы, их расположение в определенной местности, их

концентрация по отношению к общине или водному пути, сырье и вода, которые им необходимы, и роль, которую они играют в национальном разделении труда.

Мы переживаем сегодня кризис в социальной экологии. Современное общество... организовано в гигантские городские промышленные пояса, в высокоиндустриальное сельское хозяйство и анонимно-бюрократический, разросшийся государственный аппарат, возвышающийся над теми и другими... Мы глубоко затронуты неотъемлемыми логистическими проблемами, стоящими перед этим обществом — проблемами транспорта, плотности населения, снабжения (сырьем, продуктами и пищей), экономической и политической организацией, индустриальных зон и т.д. Этот тип урбанизированного и централистского общества представляет колоссальный груз для любой страны.

Многообразие и упрощение

Но проблема еще глубже. Представление о том, что человек должен господствовать над природой, проистекает непосредственно из господства человека над человеком. Патриархальная семья посеяла семена господства в центральном пункте человеческих отношений. Классический разрыв между телом, духом и мышлением (в основе — между физическим и умственным трудом) в античном мире способствовал жажде господства. Антиприродная позиция христианства содействовала его росту. Но только тогда, когда органичные отношения между общинами... превратились в рыночные отношения, планета стала всего лишь эксплуатируемым источником сырья. Сотни лет созревавшая тенденция получила самое худшее свое развитие в современном капитализме. В соответствии с заложенным в нем самом конкурентным началом буржуазное общество не только враждебно по отношению к людям, оно делает человечество враждебным по отношению к природе. Подобно тому как люди превращаются в товары, товаром становится любая часть природы, становящаяся источником сырья, который можно по желанию обрабатывать и продавать. Либералы приукрашивают этот процесс терминами «рост», «индустриальное общество» и т.д. Но как ни описывай эти явления, их причина — в господстве человека над человеком.

Термин «общество потребления» дополняет описание современного строя как «индустриального общества». Потребностями людей манипулируют СМИ, чтобы пробудить всеобщую потребность в совершенно бесполезных товарах, каждый из которых специально сделан так, чтобы через определенное время выйти из строя. Разграблению человеческого разума рынком соответствует разграбление Земли капиталом...

Вопреки сегодняшним громким воплям о перенаселенности, опасность экологического кризиса заключена не в приросте населения, а в цифрах производства такой, например, страны как США... Направляя 1/9 своих производственных мощностей на вооружение, США разрушают Землю и разрывают экологические связи, неотъемлемые для человеческой жизни... За последние три десятилетия производство электроэнергии возросло в 5 раз, главным образом, на основе ядерных веществ и угля. О гигантском грузе радиоактивных отходов и других последствиях, которые имеют эти процессы для экологии природы, нечего и говорить...

Вопрос в том, сможет ли Земля выдерживать это разграбление настолько долго, пока человек не заменит нынешнюю разрушительную общественную систему — гуманным, экологически ориентированным обществом.

Экологов часто иронически просят указать с научной точностью момент экологической гибели природы... Подобно тому, как если бы психиатра спрашивали о точном моменте, когда невротик становится психопатом. Подобного прогноза никогда нельзя будет сделать. Но экологи могут дать стратегическое представление о том, в каком направлении будет развиваться человечество на основе разрыва с естественной окружающей средой.

С точки зрения экологии, человек в опасной степени упрощает свое окружение. Современный город означает посягательство на устройство природы, наступление неорганического мира (цемента, стекла, металла) на органический. Гигантские городские пояса, возникающие в индустриальных зонах по всему миру, не только тяжело оскорбляют глаз и ухо, они хронически отравлены смогом и буквально неподвижны из-за постоянных транспортных пробок.

Процесс упрощения человеческой среды обитания, делающий ее все более пустынной и грубой, имеет как культурную, так и физическую сторону. Необходимость манипулировать огромными массами городского населения, транспортировать, кормить, обеспечивать работой и как-то содержать эти миллионы плотно живущих бок о бок людей ведет к значительному упадку гражданских и социальных ценностей. Массовая концепция человеческих отношений — тоталитарная, централистская и направленная на одну и ту же цель — грозит подавить концепции прошлого, нацеленные в большей мере на отдельного человека. Бюрократическая техника социального менеджмента угрожает заменить человеческое поведение. Все спонтанное, творческое и индивидуальное присваивается стандартизованными, нивелирующими и массовидными элементами; сфера жизни индивида постоянно урезается ограничениями со стороны безликого и безличного общественного аппарата. Любое признание неповторимых личных способностей все больше и больше заменяется манипуляцией самыми низшими инстинктами массы. С человеком обращаются массово, статистически, как с колесом механизма вместо того, чтобы ценить его индивидуальные и качественные особенности, его сокровенную личность, свободное выражение и поощряемое разнообразие.

Это регрессивное упрощение среды происходит и в современном сельском хозяйстве. Манипулируемых людей в современных городах надо кормить, это означает расширение индустриального сельского хозяйства. Создаются фабрики пропитания, допускающие высокую степень механизации — не для сокращения человеческого труда, а для повышения производительности и эффективности, для умножения вложения капиталов и эксплуатации биосферы. Соответственно должна быть утрата природа — если угодно, до состояния фабричного пола — а природные различия и топография — должны по возможности исчезнуть. Выращивание растений подлежит строгому регулированию, чтобы совпасть с расписанием пищевой промышленности. Все сельскохозяйственные работы следует осуществлять в массовом масштабе, часто полностью игнорируя природную экологию. Огромные области используются для выращивания одной-единственной культуры, такая форма земледелия не только приспособлена к механизации, но и создает угрозу

заболевания растений... И, наконец, следует в большом объеме применять химические вещества, чтобы избавляться от проблем, создаваемых насекомыми, сорняками и заболеваниями растений, чтобы регулировать урожай и увеличить эксплуатацию почвы... Современное производство продуктов питания представлено не крестьянами, помещиками или даже агрономами, а летчиками и химиками, для которых земля — лишь источник неорганических веществ.

Этот процесс упрощения усиливается преувеличенным местным и даже национальным разделением труда. Огромные области Земли все больше и больше отводятся для специальных промышленных целей или делаются сырьевыми зонами. Другие превращаются в центры городского населения и используются в основном для торговли и транспорта. Целые города и земли (либо страны и континенты) специализируются на производстве определенных продуктов... Сложная экосистема, состоящая из различных климатических зон земного шара, подчиняется системе, где целые нации образуют экономически организованные единицы, каждая на свой лад — звено в гигантской индустриальной цепи, охватывающей всю Землю. Самые привлекательные участки земель падают жертвой бетономешалок — это лишь вопрос времени... То, что остается от красот природы, разрушается жилыми вагончиками, палаточными лагерями, шоссе, мотелями, закусочными и следами нефти от моторных лодок.

Человек на грани разрушения всей работы органической эволюции... Заменяя комплексную органическую окружающую среду упрощенной и неорганической, он разрушает биологическую пирамиду, на которой тысячи лет держалась человеческая жизнь... Человек запускает обратное развитие биосферы, которое может вызвать к жизни только все более простые формы. Если этот великий поворот эволюционного процесса продолжится, не будет преувеличением предположить, что предпосылки для высокоразвитой жизни будут необратимо разрушены и Земля больше не в состоянии будет допустить человеческую жизнь.

С экологической точки зрения, этот поворот органической эволюции — результат ужасающих противоречий между городом и деревней, государством и обществом, промышленностью и сельским хозяйством, массовым и индивидуальным производством, централизмом и регионализмом, бюрократическим и человеческим масштабом.

Созидательная природа экологии

До недавних пор все попытки решить противоречия, порожденные урбанизацией бюрократического аппарата, рассматривались как бесплодная попытка остановить «прогресс»... Анархист воспринимался как одинокий мечтатель, стоящий вне общества, переполненный ностальгией по крестьянскому двору или средневековым общинам. Его стремление к децентрализованному обществу, к сообществу людей, находящихся в согласии с природой и потребностями людей... рассматривалось как реакция романтиков, деклассированных ремесленников или как интеллектуальная «болезнь»...

...Сегодня историческое развитие лишило смысла почти все возражения против анархистской мысли. Современный город и современное государство, массовая технология угля и стали эпохи промышленной революции, более поздние, рационализированные системы массового производства и конвейерные системы организации труда, централизованные нация, государство и бюрократический аппарат — все они достигли границ своего развития... Они реакционны не только потому, что иссушают человеческий дух и лишают общину ее связности, ее солидарности и ее социоэтического уровня, но и с объективной, экологической точки зрения, потому, что подрывают жизнеспособность планеты и всех живущих на ней существ.

Следует подчеркнуть, что анархистские представления о гармоничном обществе, прямой демократии, гуманной технологии и децентрализации общества... не просто желательны, но необходимы. Они относятся не к великим прозрениям будущего людей, они сегодня — предпосылка выживания человечества. Процесс общественного развития перевел эти представления из сферы этического и субъективного в область практического и объективного...

Основной принцип созидательной направленности экологии можно суммировать в понятии «разнообразие». С экологической точки зрения, равновесие и гармония в природе, в обществе и, следовательно, в поведении достигается не механической нормировкой, но, напротив, органическим разнообразием...

Многие экологи исходят сегодня из того, что многократного использования ядовитых химикалий, инсектицидов и пестицидов можно избежать посредством более сильного взаимодействия между живыми существами. Мы должны дать больше простора естественной спонтанности, различным биологическим силам, составляющим нишу... Но разумное «регулирование» биоценозов предполагает глубокую децентрализацию сельского хозяйства. Индустриализированное сельское хозяйство должно по возможности уступить место сельскохозяйственному земледелию... Я не утверждаю, что нам следует отказаться от всего, что было достигнуто вообще в сельском хозяйстве благодаря механизации. Я говорю лишь, что земля должна культивироваться как сад, что флора должна развиваться разнообразно и подвергаться бережному уходу, уравниваясь фауной и приспособленной к местной защите растений... Чтобы соответствовать требованиям экологического производства продуктов питания, сельское хозяйство необходимо перевести из гигантских индустриальных форм в небольшие единицы.

Та же аргументация относится к разумному использованию энергетических источников... Промышленная революция в значительной мере разрушила региональные источники энергии и заменила их единой энергетической системой (на основе угля), а позднее — двойной системой (на основе угля и нефти)... По существу произошел отказ от концепции взаимодополняющих источников энергии. Многие регионы специализировались на горнодобывающей промышленности, использующей один источник энергии, другие области превратились в гигантские индустриальные зоны для изготовления всего нескольких видов товаров. Нет необходимости еще раз говорить о той роли, какую сыграл этот развал регионально организованного хозяйства в загрязнении воздуха и воды, в разрушении больших территорий земли и о том, что будет означать для нас в будущем истощение

бесценных углеводородных горючих веществ.

Можно, конечно, использовать ядерное горючее, но от одной лишь мысли о смертоносных радиоактивных отходах, которые придется где-то хоронить, если атомные реакторы станут нашим единственным энергоисточником, становится страшно. Энергосистема на основе радиоактивных материалов приведет к широкому отравлению окружающей среды, — вначале мало заметно, затем во все более массовых и ощутимо разрушительных масштабах.

Остается прибегнуть к экологическим принципам для решения наших энергетических проблем. Мы можем попытаться восстановить прежнее регионально привязанное энергоснабжение, используя комбинированную энергосистему, питаемую энергией ветра и солнца... Аппараты на базе солнечной энергии, ветровых турбин и гидроэлектрических источников сами по себе еще не решат проблем энергоснабжения и экологического опустошения... Но в мозаичной структуре, как органичная энергосеть, развивающаяся в соответствии с возможностями соответствующих регионов, эти различные энергоисточники могут хорошо удовлетворить потребности децентрализованного общества. В солнечных широтах мы могли бы больше полагаться на солнечную энергию, чем на горючие вещества. В районах с частыми атмосферными волнениями мы могли бы больше опираться на аккумуляторы ветровой энергии. В прибрежных районах или во внутренних районах с разветвленной речной сетью можно было бы получать энергию из гидроэлектрических сооружений... в любой области можно комбинировать ветровую, водную и солнечную энергетику так, чтобы удовлетворить потребности промышленности и быта соответствующих общин с минимумом вредных горючих веществ, опираясь на различные энергоисточники, объединенные в экологическую сеть...

Но как и в случае с сельским хозяйством, применение экологических принципов в энергетике требует глубокой децентрализации общества и регионализации общественной организации. Большому городу необходимо много угля и нефти. Солнечная, ветровая и климатическая энергия доступны нам в небольших количествах... Трудно представить себе, что нам когда-нибудь удастся построить аккумулятор солнечной энергии, который снабжал бы нас таким же огромным количеством энергии, как большая электростанция. Точно также трудно представить себе батарею ветровых турбин, дающую нам столько энергии, чтобы осветить Манхэттен. Если дома и фабрики останутся сильно сконцентрированы, установки чистой энергетики, возможно, будут не более, чем игрушками. Но если размеры городских общин уменьшатся, и они широко распространятся, нет причин для того, чтобы эти установки не обеспечивали нас всеми удобствами индустриальной цивилизации. Для того, метрополии должны быть децентрализованы. Сегодняшние расширяющиеся урбанистические пространства должны быть заменены новым типом общин, бережно приспособленным к особенностям региона...

Правильность идей децентрализации можно продемонстрировать на почти всех «структурных» проблемах нашего времени. Возьмем пример транспорта. Много написано о вредном воздействии автомобилей с моторами на бензине — их роли в загрязнении воздуха, шуме, количестве жертв... В сильно урбанизированной цивилизации бесполезно пытаться заменить эти вредные машины на более чистые, эффективные, практически бесшумные и по-видимому надежные автомобили на электробатареях. Даже самые лучшие из наших

электромобилей надо перезаряжать через 150 км, что снижает возможность их использования в качестве транспорта в больших городах. Напротив, в небольшой децентрализованной общине было бы возможно использовать электромобили для сообщения в соответствующем городе и в его окрестностях, а для транспорта на большие расстояния построить монорельсовые дороги...

Анархизм означает нечто большее, чем децентрализованные общины... Анархистское общество далеко от того, чтобы быть сектантским идеалом, оно — предпосылка для осуществления экологических принципов... Если мы хотим сохранить единство и стабильность окружающей природной среды, если мы хотим гармонии с ней, нам следует сохранить и развивать разнообразие природы... Разнообразие ради разнообразия бессмысленно. В природе оно возникает спонтанно... Но вид, которому удастся расширить свою среду обитания, расширяет одновременно и экологическую ситуацию целого...

Как эколог, так и анархист делают упор на спонтанности. Эколог — если он не просто техник — склонен к тому, чтобы отклонять выражение «насилие над природой». Вместо этого он говорит об «осуществлении курса» в экологической ситуации, о регулировании и реконструкции экосистемы. Анархист, со своей стороны, говорит об общественной спонтанности, освобождении социальных и человеческих сил, свободном творчестве. Оба на свой лад считают авторитет препятствием, грузом, мешающим творческим возможностям в природе и обществе. Цель обоих — не покорить сферу, а освободить ее...

Как эколог, так и анархист считают разнообразие масштабом прогресса. Как для того, так и для другого растущее единство достигается растущим разнообразием. Увеличение единства обеспечивается растущим разнообразием его частей.

Подобно тому, как эколог стремится расширить границы экосистемы и достичь свободного взаимодействия видов, анархист стремится к расширению шкалы социального опыта, к тому, чтобы устранить все, препятствующее его развитию. Анархизм — это не только общество без государства, но и гармоничное общество физической и духовной активности, нерепрессивной чувственности и самоуправляемой духовности, солидарности в сообществе и развития индивидуальности, регионального своеобразия и всемирного братства, спонтанности и самодисциплины, устранения спешки и развития ремесленного мастерства. В нашем шизоидном обществе эти цели воспринимаются как взаимоисключающие... вследствие устройства современного общества — разделения между городом и деревней, специализации труда, разорванности человека. Было бы абсурдно полагать, что эти противоречия можно решить, не имея общего представления о структуре анархистского общества...

Анархистское общество должно быть децентрализованным не только для того, чтобы создать прочную основу для гармонии между человеком и природой, но и для того, чтобы придать новое измерение гармонии между людьми. Мы часто вспоминаем о древних греках, для которых город, размеры которого не позволяли поддерживать прямые и доверительные отношения между жителями, был чем-то ужасным. Существует элементарная потребность уменьшить размеры человеческого общества — частью для того, чтобы решить наши экологические и транспортные проблемы, частью для того, чтобы вообще создать

действительные сообщества. В известном смысле мы должны гуманизировать человечество. Следует как можно меньше доверять электронным приборам, телефону, телеграфу, радио, телевидению как средству общения между людьми. Когда решения принимаются коллективно (народное собрание древних Афин, в известной мере, модель того, как могут приниматься решения в обществе), все члены сообщества должны иметь возможность подробно ознакомиться с каждым предложением, выносимым на собрание...

Наши маленькие общины должны быть экономически гармоничными и сравнительно независимыми, чтобы, с одной стороны, в полной мере использовать местные ресурсы, а с другой, умножить сельскохозяйственные и промышленные возможности индивида. Члена общины, имеющего пристрастие к технике, следует, например, поощрять поработать руками в сельском хозяйстве, человека умственного труда — дать занятие своим мускулам. Прирожденный крестьянин должен освоить работу и на прокатном станке. Отделение техники от почвы, мыслителя от лопаты и крестьянина от фабрики порождают такую профессиональную специализацию, которая ведет к опасному контролю специалистов над обществом... Профессиональная специализация мешает обществу достичь гуманизации природы техниками и натурализации общества биологами.

Я утверждаю, что анархистское общество приближается к экосистеме. Оно разнообразно, соразмерно и наполнено гармонией. Предстоит подумать над тем, примет ли эта экосистема форму городской единицы с четким центром, как это было в греческом полисе или в средневековых общинах, или же... общество будет состоять из рассеянных общин без определенного центра. В любом случае экологические размеры каждого такого сообщества будут определяться минимальным размером экосистемы, необходимой для населения средней величины.

Сравнительно независимая община, зависящая в своем пропитании от своего окружения приобретает новое уважение к разносторонним органическим воздействиям, которые ее питают... Попытка достичь региональной самостоятельности гораздо полезнее, чем сегодняшнее крайнее национальное разделение труда. Хотя в каждой общине придется создавать одни и те же небольшие промышленные предприятия, тесная связь каждой группы предприятий с их местным окружением и с экологическими условиями приведет к более умному и осторожному обращению со средой обитания. Относительная независимость, отнюдь не порождающая провинциализм, создаст новую почву для индивидуального и общественного развития, единство с окружающим миром, которое укрепит общину.

Совокупность гражданской и профессиональной ответственности придаст стимул тем сторонам быта человека, которые создадут и усовершенствуют новые грани его саморазвития. В совершенном обществе можно надеяться на совершенство людей, в целостном обществе — можно рассчитывать иметь людей целостных...

Если экосообщество когда-нибудь осуществится, общественная жизнь вызовет развитие человеческого и природного разнообразия, совпадающего с соразмерным, гармоничным целым. Начиная с общины и кончая большими пространствами и целыми континентами, мы увидим пестрое многообразие групп людей и экосистем, развивающих свои специфические

возможности и открывающих своим членам широчайший спектр экономических, культурных и поведенческих инициатив. В поле нашего зрения волнующее, даже драматическое многообразие форм совместной жизни с характерными архитектурными и промышленными сооружениями, приспособленными к соответствующей экосистеме. Мы испытаем творческое взаимное влияние индивида и группы, общины и ее окружения, человечества и природы. Нынешняя установка духа, которая сегодня иерархически разделяет формы человеческой жизни, подразделяя внешние силы на «сильных» и «слабых», уступит место мышлению, которое с экологических позиций признает разнообразие... Традиционное отношение субъекта к объекту качественно изменится. «Маргиналы», «чужаки», «иностранцы» будут рассматриваться тогда как индивидуальные части общего целого, тем более богатого, чем оно сложнее. Новое чувство единства будет отражать равенство интересов людей и между обществом и природой. Освобожденные от угнетающей рутины, от мешающего угнетения и неуверенности, от груза спешки и ложных потребностей, от оков авторитета и иррационального нажима, люди наконец впервые в истории смогут осознать свои возможности как члены общества и часть природы.

* * *

Не следует недооценивать апокалиптический подтекст многих экологических произведений последних десятилетий. Мы — свидетели конца мира. Вопрос лишь в том, имеется ли в виду под этим устоявшееся общественное устройство или Земля как живой организм.

Экологический кризис с его угрозой конца света — спутник развитой технологии со всеми ее обещаниями изобилия, свободного времени и материальной стабильности. Экологический кризис и технология идут в одном направлении, чтобы встретиться в критической точке. Эта точка высшей угрозы для людей — одновременно и высшая возможность сбросить оковы господства и материальной нужды. Та же самая технология, которая до сих пор использовалась для эксплуатации планеты, может быть так искусно и разумно применена, чтобы на ней развилась новая жизнь.

Необходимо преодолеть не только буржуазное общество, но и все вековое наследие имущих: патриархальную семью, урбанизм, государство. Нужно преодолеть исторический разрыв, разделяющий дух и чувственность индивида и общества, город и деревню, труд и игру, человека и природу. Дух спонтанности и разнообразия, пронизывающий экологические воззрения на мир природы, должен распространиться на революционные перемены и проект новосоздаваемого общества. Собственность, господство, иерархия и государство во всех их формах абсолютно немыслимы в контексте сохранения биосферы. Или экологическое действие станет революционным, или оно не будет иметь никакого значения. Любая попытка реформировать общественный строй, натравливающий человека на все силы жизни, — грубый обман и служит только сохранению существующих институтов.

С другой стороны, применение экологических инициатив при создании нового общества дает совершенно неожиданные возможности для воображения и творчества. Чтобы служить интересам природной и социальной экологии, города должны быть децентрализованы... Гигантский город должен уступить место совокупности взаимодействующих, сплоченных

изнутри коммун (сообществ), которые имеют человеческие размеры и чьи мощности не преступают экосистему. С другой стороны, технология должна быть поставлена на службу разумным человеческим потребностям, а выпуск предметов должен быть так рассчитан, чтобы гарантировать аккуратный ресайклинг промышленных отходов...

* * *

Восстановление гражданских функций и городского сообщества немыслимо без коммунитарного участия в жизненных благах, без общественного обладания материальными и социальными благами, без чего не может быть подлинного сообщества. В технологическом мире, где средства производства слишком мощны, чтобы дать им возможность остаться средствами господства, сомнительно, сможет ли общество, тем более город, выжить при экономике частного хозяйства, которая руководствуется исключительно частным интересом и ненасытной жаждой роста.

Экотопия

1981, источник: [здесь](#). Перевод - В. Дамье. Небольшой отрывок из хорошей статьи «Экология и будущее общество»

Экологическое общество предусматривает фундаментальный поворот всего развития, пройденного историей современной технологии и общества: специализации машин и труда, концентрации людей и ресурсов в гигантских индустриальных предприятиях и городах, однообразности жизни и бюрократического контроля за гражданами, разделения города и деревни и овеществления природы и людей. Если я говорю о радикальном повороте, то я имею в виду, что мы должны начать децентрализовывать наши города и создавать совершенно новые эко-общины, которые искусно приведены в соответствие структурам окружающей экосистемы. Я хочу здесь подчеркнуть, что децентрализация – не то же самое, что намеренный раздел ландшафта между изолированными крестьянскими дворами или коммунами контркультуры, какими бы незаменимыми они ни были. Мы должны скорее вновь воспринять городскую традицию в эллинском смысле этого слова – городов, которые обозримы для своих обитателей и не требуют сложного управления. Новый полис, который, если угодно, скроен по человеческой мерке и – по знаменитому выражению Аристотеля – каждым может быть охвачен одним взглядом.

В экообщинах найдет себе применение новая технология – экотехнология, обладающая гибкой многосторонней системой... Я хотел бы здесь еще раз подчеркнуть, что я ни в коем случае не выступаю за отказ от технологии вообще и возвращение к палеолитическим формам собирания продовольствия. Экотехнология, развиваемая по принципу небольших размеров и многосторонней применимости /первые практические попытки и проекты уже имеются/, будет дальнейшим развитием нашей сегодняшней технологии.

Она будет использовать неисчерпаемую энергию природы /солнце и ветер, приливы и отливы, природную силу рек, водород и температур на планете/, чтобы снабжать экообщину экологически чистыми материалами и вновь используемыми отходами. С помощью децентрализации наверняка удастся избежать необъятных проблем с отходами наших гигантских городов – проблем, которые сегодня регулируются лишь тем, что отходы сжигают или в огромных количествах спускают в мировой океан.*

Антагонистический разрыв полов и возрастных групп, города и деревни, управления и общества, тела и духа может быть преодолен и переплавлен в гармоничное, человеческое и экологическое целое. Из этого преодоления прошлого может вырасти новое отношение между человеком и природой, в котором само общество, основываясь на принципах единства в многообразии, спонтанности и неиерархических связей, постигнет само себя как экосистему...

... Я отнюдь не считаю, что мы должны прекратить борьбу против атомных станций и автомагистралей /и т.п./ и бездейтельно смотреть навстречу наступлению экологического тысячелетия. Напротив, уже завоеванная территория должна быть удержана всеми средствами, находящимися в нашем распоряжении, чтобы спасти то, что еще можно, чтобы мы на как можно более неизраненной и неотравленной основе могли начать строительство нового общества.

... Я хотел бы закончить шокирующим, но верным наблюдением. Ни с чем не сравнимая свобода, на которую мы надеемся, станет, по иронии судьбы, а точнее, по правилам диалектики, результатом факта наших жалких ограниченных возможностей.

...Экологический кризис позаботился о крайнем обострении общественных альтернатив. Либо мы осуществим «экотопию» на экологической основе, либо человек, как биологический вид, неотвратимо обречен на гибель. Я не могу видеть в этом лишь апокалиптическое изображение в черном цвете. Я считаю это научным прогнозом, который уже сейчас находит подтверждение в повседневных условиях существования господствующего общества.

** Я уверен, что экообщины и экотехнологии, приспособленные к человеческому масштабу, смогут открыть новую эру общности людей и прямой демократии, и смогут дать людям столько свободного времени, что они, как когда-то эллины, будут в состоянии решать все общественные дела без вмешательства бюрократии и профессиональных политиков. Расколы, порожденные иерархическим обществом прошлых эпох, смогут быть излечены и преодолены.*

Муниципализация экономики: общинная собственность

В своей статье «На пути к либертарному муниципализму» я выдвинул мнение, что любая контркультура должна быть развита совместно с контринститутами, такими как децентрализация, конфедерация, народовластие, которые будут контролировать общественную и политическую жизнь, принадлежащую в настоящее время централизованному бюрократическому государству.

С помощью большинства радикальных идеологий классическим центром этой народной власти стала фабрика, являющаяся полем битвы между наёмным трудом и капиталом, а также действовавшая в качестве центра в течение большей части девятнадцатого и почти половины двадцатого веков. Фабрика как место, где решают, «кому должна принадлежать власть», опиралась на убеждение, что промышленный рабочий класс был «главным» средством для радикальных социальных изменений; что «классовые интересы» рабочих (если использовать язык радикализма того времени) смогут «свергнуть» капитализм, как правило, с помощью вооружённого восстания и революционных всеобщих забастовок. Тогда это установило бы свою собственную систему социального управления, будь то в виде «рабочего государства» (марксизм) или конфедеративных комитетов (анархо-синдикализм).

Оглядываясь в прошлое, теперь мы можем увидеть, что гражданская война в Испании в 1936-39 годах, судя по всему, была последней исторической попыткой революционного рабочего класса Европы следовать этой модели. За прошедшие пятьдесят лет (с начала революции до написания этой статьи) стало очевидно, что великая революционная волна в конце тридцатых годов была кульминацией и концом эпохи пролетарского социализма и анархизма, эпохи, которая началась с первого в истории восстания рабочих: восстания парижских ремесленников и рабочих в июне 1848 года, когда над баррикадами были подняты красные флаги в столице Франции. В последующие годы, особенно после 1930-х годов, ограниченные попытки повторить классическую модель пролетарской революции (Венгрия, Чехословакия, Восточная Германия и Польша) потерпели неудачу и стали трагическими отголосками великих стремлений, идеалов и усилий, которые канули в лету.

Помимо повстанческих крестьянских движений в странах третьего мира, никто, кроме нескольких догматических сектантов, серьёзно не принимает «модели» июня 1848 года, Парижской Коммуны 1871 года, Русской революции 1917 года и Испанской революции 1936 года, отчасти потому что тип рабочего класса, который совершил те революции, был почти демобилизован технологическими и социальными изменениями, отчасти потому что

вооружение и баррикады, давшие этим революциям капелюшку власти, стали чисто символическими на фоне огромного военного арсенала, которым владеет современное государство.

Существует ещё одна традиция, которая уже давно является частью европейского и американского радикализма: развитие либертарной муниципальной политики, новой политики, структурированной вокруг городов, районов и собраний граждан, объединённых по собственной воле в местные, региональные и в конечном счёте континентальные сети. Эта «модель», разработанная более века назад Прудоном, Бакуниным и Кропоткиным, среди других является больше, чем идеологической традицией: она неоднократно появлялась как настоящая народная практика в виде восстания комунерос в Испании в 16 веке, американского движения городских собраний, которое пришло из Новой Англии в Чарльстон в 1770-х годах, парижских ассамблей в начале 1790-х годов, Парижской Коммуны в 1871 году и движения жителей Мадрида (с 1960 года по начало 1970-х годов).

Почти всякий раз, когда люди неудержимо встают на путь борьбы, либертарный муниципализм всегда вновь появляется в виде низовых движений, отличающихся от всех радикальных догм, основанных на пролетариате, несмотря на то, что существуют и такие движения, как «местный социализм», к которому нынче повернулись англичане, радикальные муниципальные коалиции в США и народные городские движения в Западной Европе и Северной Америке в целом. Эти движения больше не уделяют только обычным классовым вопросам, вытекающим из фабрики; они уделяют также более широким, действительно сложным вопросам, которые варьируются от проблем окружающей среды, культивирования до жилищных и материально-технических проблем, которые существуют во всех муниципалитетах мира. Они не ограничиваются лишь традиционными классовыми направлениями, но и способствуют тому, что люди объединяются в советы, ассамблеи, движения инициативных граждан, часто независимо от их профессиональных корней и экономических интересов. Для настоящего народного движения (а не просто ориентированного на класс движения, в котором промышленные рабочие всегда составляли меньшинство среди населения) они сделали больше, чем традиционный пролетарский социализм и анархизм, а именно: сплотили в одно движение как людей из среднего класса, так и представителей рабочего класса, как сельских жителей, так и городских жителей, как профессионалов, так и людей низкой квалификации, действительно, настолько большого разнообразия людей как консервативных, так и либеральных и радикальных традиций. Косвенным образом этот вид движения реставрирует подлинную сущность «народа», на который идеологически опирались великие демократические революции, пока они не стали фрагментированы в классовые и групповые интересы. История, по сути, восстанавливает в реальном мире то, что было однажды экспериментальным и мимолётным идеалом Просвещения, от которого пошли американская и французская революции в восемнадцатом веке. На сей раз добиться крупных социальных изменений можно только с помощью сил, основывающихся на большинстве, а не миноритарных движений, существовавших на протяжении прошедших двух столетий пролетарского социализма и анархизма.

Радикальные идеологи склонны рассматривать эти экстраординарные муниципальные движения скептически и пытаются при каждой возможности приводить их в плен традиционных классовых программ и исследований. Движение жителей Мадрида (ДЖМ) в

1960-х годах было практически разрушено радикалами всех политических мастей, потому что они пытались управлять поистине народным муниципальным движением, целью которого было демократизировать Испанию и дать новый кооперативный и этический смысл человеческой городской ассоциации. ДЖМ стало почвой для укрепления политических устремлений к социалистам, коммунистам и другим марксистско-ленинским партиям, пока оно не было подавлено особыми партийными интересами.

Сегодня либертарные муниципальные движения представляют единственную потенциальную угрозу государству и составляют основную среду, в которой формируются активные граждане и новая низовая политика, в которой люди встречаются лицом к лицу. И по своему характеру эти движения являются подлинно народными. Эти факты были исследованы в других работах и не должны быть рассмотрены здесь. Пока же надо задаваться очень важным вопросом: является ли либертарный муниципализм лишь политический «моделью» (однако щедро мы определяем слово «политика»), или он также включает экономическую жизнедеятельность?

То, что перспектива либертарного муниципализма несовместима с «национализацией экономики», которая просто укрепляет юридическую власть государства экономической властью, слишком очевидно, чтобы спорить. И при этом нельзя допускать, чтобы термин «либертарный» был присвоен сторонниками рыночной экономики, сторонниками идей Айн Рэнд и т.п., чтобы оправдать частную собственность и «свободный рынок». Маркс, к его чести, ясно продемонстрировал, что «свободный рынок» неизбежно приводит к олигархическому и монополистическому корпоративному рынку с помощью предпринимательских манипуляций, которые в конечном счёте приводят к государственному контролю.

Но каков синдикалистский идеал «коллективизированных» самоуправляемых предприятий, которые координируются как различными отраслями на национальном уровне, так и географически «коллективами» на местном уровне? Здесь традиционная социалистическая критика этой синдикалистской формы экономического управления не лишена смысла: корпоративные или капиталистические, «управляемые рабочими» или нет, как ни странно, набирающие сегодня популярность методы управления производством, а именно «демократия на рабочем месте» и «собственность работников», не представляют никакой угрозы ни частной собственности, ни капитализму. Испанскими анархо-синдикалистскими кооперативами 1936-37 годов фактически управляли профсоюзы. Они оказались весьма уязвимы к централизации и бюрократизации, которые появляются во многих благонамеренных кооперативах спустя какое-то время. К середине 1937 года управление рабочих в цехе уже заменяется профсоюзным членством, несмотря на все претензии апологетов НКТ. Под давлением «анархистских» министров в правительстве Каталонии, таких как Абад де Сантильян, они начали приближаться к национализированной экономике, которую поддержали испанские марксисты.

В любом случае «экономическая демократия» не просто означала «демократию на рабочем месте» и «собственность работников». Многие рабочие на самом деле хотели бы уйти со своих фабрик, если бы они могли. В любом случае «экономическая демократия» не просто означала «демократию на рабочем месте» и «собственность работников». Многие рабочие

на самом деле хотели бы уйти со своих фабрик, если бы они могли найти более творческие виды ремесла, а не просто «участвовать» в «планировании» своей же нищеты. То, что «экономическая демократия» означала в своём глубочайшем смысле, было свободным, «демократическим» доступом к средствам жизнедеятельности, аналогом политической демократии, то есть, гарантией свободы от материальной нужды. Это грязная буржуазная хитрость, в которой бессознательно участвуют многие радикалы и которая заключается в том, что «экономическая демократия» стала вновь интерпретироваться как «собственность работников» и «демократия на рабочем месте», а также стала означать косвенное «участие» трудящихся в распределении прибыли и управлении производством, а не как свобода от тирании фабричной системы, рационализированного труда и «планового производства», которое, как правило, эксплуатирует рабочих.

Либертарный муниципализм добивается значительного успеха во всех этих концепциях, призывая к муниципализации экономики и управления ею сообществом как частью политики общественного самоуправления. Тогда как синдикалистская альтернатива повторно приватизирует экономику в «самоуправляемые» коллективы и открывает путь к их вырождению в традиционные формы частной собственности, принадлежащей «коллективу» или нет – либертарный муниципализм политизирует экономику, которой начинает управлять народ. Никакая фабрика и никакая земля не появляются в виде отдельных интересов внутри общинного коллектива. Не может такого быть, чтобы рабочие, фермеры, техники, инженеры, специалисты и т.д. сохраняли свои профессии как интересы, которые существуют отдельно от граждан, собирающихся на собраниях лицом к лицу. «Собственность» встроена в коммуну как элемент её либертарной организованной структуры, как часть большего целого, которым непосредственно управляют граждане на собрании, как граждане, а не как профессионально ориентированные группы по интересам.

Что не менее важно в радикальной теории и социальной истории, так это «антитеза» между городом и деревней, которая выходит за пределы так называемого «тауншипа», традиционной подведомственной области в Новой Англии, в котором городская организация является ядром её сельской местности, но не как городской субъект, противопоставленный деревне. Тауншип в действительности представляет собой небольшую область в пределах ещё более крупного, например, округа и «биорайона».

Муниципализацию экономики следует отличать от «национализации» и «коллективизации», которые приводят к бюрократическому и горизонтальному (сверху вниз) контролю, последняя из которых — к вероятному появлению приватизированной экономики в коллективизированной форме и сохранению классовой или кастовой иерархии. Муниципализация, по сути, переносит экономику из частной или индивидуальной среды в общественную среду, где экономическая политика сформулирована всем сообществом, в частности её гражданами, встречающихся лицом к лицу для достижения общего «интереса», который превосходит над индивидуальными, определёнными по склонностям к тем или иным профессиям интересами. Экономика перестаёт быть просто экономикой в строгом смысле этого слова, будь то «бизнес», «рынок», капиталистические или «управляемые рабочими» предприятия. Это становится действительно политической экономикой: экономикой полиса или коммуны. В этом смысле экономика действительно как коммунизирована, так и политизирована. Муниципалитет (а точнее граждане, собравшиеся

лицом к лицу) поглощает экономику как один из аспектов общественного хозяйства, лишая её индивидуалистической особенности, которая может приватизировать его и превратить в жаждущее личной выгоды предпринимательство.

Что может препятствовать тому, чтобы муниципалитет стал своего рода местническим город-государством, который появился в эпоху позднего средневековья? Любой, кто ищет «гарантированные» решения проблем, поднятых здесь, не найдёт их, кроме ведущей роли сознания и этики в жизни людей. Но если мы ищем встречные стремления, то ответ, который может быть выдвинут, существует. Наиболее важным фактором, который привёл к возникновению позднесредневекового города-государства, было его расслоение изнутри — не только в результате материальных различий, но и в общественном положении, отчасти берущего начало в происхождении, а также в разделении труда. В самом деле, в той мере, что город потерял своё чувство коллективного единства и разделил своё хозяйство на частное и на общественное, сам общественный труд стал приватизирован и разделён на такие профессии, как красильщики тканей (или как во Флоренции их называли «синие ногти»), и более высокомерные слои ремесленников, которые производили качественные товары. Богатство также в значительной степени приватизировало экономику, в которой материальные различия могли приводить к появлению других иерархических различий.

Муниципализация экономики растворяет не только профессиональные различия, препятствующие переходу к экономике, управляемой народом; она также обращает материальные средства в общинные формы распределения. Принцип «от каждого по способностям и каждому по потребностям» институционализируется как часть общественной жизни, но не идеологически, а как убеждение всей общины. Это не только цель; это способ функционирования политического объекта, который становится структурно реализованным муниципалитетом с помощью его собраний и учреждений.

Более того, никакое сообщество не может надеяться на достижение экономической автаркии, и при этом не должно пытаться это делать, если оно не хочет стать замкнутой и местнической, а не только «самостоятельной». Следовательно, конфедерация коммун перерабатывается как экономически, так и политически в общую область управляемых народом ресурсов. Управление экономикой, именно по той причине, что это общественная деятельность, не вырождается в приватизированные взаимодействия между предприятиями; скорее это развивается в конфедерализованные взаимодействия между муниципалитетами. То есть, те самые элементы общественного взаимодействия расширяются от реальных или потенциальных приватизированных компонентов до институционально реальных общественных компонентов. Конфедерация становится общественным проектом по определению, не только благодаря общим потребностям и ресурсам. Если есть какой-то способ избежать появления города-государства, не говоря уже об эгоцентричных буржуазных «кооперативах», то это только с помощью муниципализации политической жизни, являющаяся настолько полной, что политика охватывает не только то, что мы называем общественной средой, но и материальные средства, необходимые для жизни.

В том, чтобы добиваться муниципализации экономики, нет ничего «утопического». Совсем наоборот, это практично и осуществимо, если только мы будем мыслить так же свободно,

как и пытаться достичь свободы в нашей жизни. Наше место обитания (город или деревня) – это не только место, в котором мы живём вне нашей повседневной жизни; это также настоящее экономическое место, в котором мы работаем, и его природные окрестности являются настоящей окружающей средой, которая позволяет жить в гармонии с природой. Здесь мы можем начать развивать не только этические отношения, которые связывают нас с настоящим экологическим сообществом, но и материальные отношения, которые могут сделать нас полноправными и самостоятельными людьми. Пока муниципалитет или местная конфедерация муниципалитетов является единым с политической точки зрения, это всё ещё довольно хрупкая форма объединения. Пока он имеет контроль над своей собственной материальной жизнью (хотя и не в узком смысле), которая превращает его в приватизированный городгосударство, он имеет экономическую власть, укрепляющее его политическую власть.

Экология Свободы: Возникновение и распад иерархии

1982, источник: [здесь](#)

Избранные главы:

- Введение
- Концепция социальной экологии

Предисловие переводчика

Этот перевод был сделан с той же целью, ради которой автор написал книгу: «для удовлетворения потребности в концепции последовательно радикальной социальной экологии, экологии свободы». Только для него причиной стал тогда лишь назревающий экологический кризис, а для нас это уже состоявшийся и набирающий обороты множественный кризис, - политический, социальный, экономический, экологический, и, наконец, климатический.

За прошедшие годы мало что изменилось в осознании обществом причин кризиса и путей выхода из него. Многие идеи, изложенные в этой книге и в более ранних работах Букчина, уже используются в разных сферах жизни, - концепция децентрализации, человеческого измерения, альтернативные технологии, органическое сельское хозяйство, - но разрозненно и вне объединяющей их философии, фундаментальной теории социальной экологии. Эти фрагментарные решения, как еще в 80-х писал Букчин, и сейчас не только не выводят из кризиса, но даже усугубляют ситуацию, отвлекая внимание от его универсальности и глубинных причин, скрывая масштабы необходимых перемен. Даже сама дисциплина социальная экология, концепция которой была выведена Букчиным, теперь широко применяется - в усеченном виде - лишена всей глубины и радикальности.

Несмотря на то, что идеи Букчина получили международную известность, оказали большое влияние на развитие глобального экологического движения, имеют множество последователей, на пост-советском пространстве они известны лишь узкому кругу читателей. До сих пор были переведены на русский язык лишь несколько его статей и книга «Реконструкция общества» (1996 г.)

«Экология Свободы» - самая амбициозная и фундаментальная из работ Букчина. Комбинируя политическую теорию и философию с антропологией и естественными науками, автор углубленно исследует социальные причины нашего кризиса. Написанная элегантно и доступно для широкой аудитории, книга отслеживает наше противоречивое наследие иерархии и свободы от первого появления человеческой культуры до современного глобализационного капитализма, указывает путь к здоровому, устойчивому экологическому будущему, к более рациональной и человеческой альтернативе.

Мюррэй Букчин (14.01.1921 – 30.07.2006) - автор более двух десятков книг по политике, философии, истории, урбанизму и экологии, философ и оратор. Основатель Института Социальной Экологии (Вермонт, США). Наиболее известен благодаря введению им экологии как концепции в политическую мысль ранних 60-х. Букчин первым предложил концепцию, которую он назвал «социальной экологией», показав, что действительно свободное общество должно быть также и экологическим.

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга была написана для удовлетворения потребности в концепции последовательно радикальной социальной экологии: экологии свободы. Она вызревала с 1952 года, когда я впервые остро осознал нарастающий экологический кризис, который должен был принять угрожающие размеры поколение спустя. В том же году я опубликовал объемную статью "Проблемы химических веществ в продуктах питания" (которая позднее была переиздана в Германии в виде книги *Lebensgefährliche Lebensmittel*). Под влиянием моих ранних марксистских интеллектуальных упражнений, статья рассматривает не только загрязнение окружающей среды, но и его глубинные социальные корни. Тематика окружающей среды трансформировалась в моем представлении в социальную тематику, и проблемы природы, экологии стали проблемами "социальной экологии" – понятия, которое практически не употреблялось в то время.

С тех пор эта тема никогда не оставляла меня. Более того, количество ее измерений неизмеримо росло и углублялось. К началу шестидесятых годов, мои взгляды можно было представить достаточно четкой формулировкой: само понятие доминирования человека над природой вытекает из вполне реального доминирования человека над человеком. Для меня это вылилось в далеко идущее изменение концепции. Многие статьи и книги, которые я опубликовал в последующие годы, начиная с «Наша синтетическая окружающая среда» (1963) и затем «На пути к экологическому обществу» (1980), в значительной мере расширили эту фундаментальную тему. По мере того, как одна предпосылка приводила к другой, становилось ясно, что в моей работе формировался достаточно целостный проект: потребность объяснить появление социальной иерархии и доминирования и выявить средства, методы и практики, которые могут привести к действительно гармоничному экологическому обществу. Моя книга «Анархизм пост-дефицита» (1971) стала пионером этих представлений.

Состоящая из нескольких эссе, датируемых начиная с 1964 года, она в большей степени рассматривает иерархию, чем классовость; доминирование, а не эксплуатацию,

освободительные институты, а не просто упразднение государства, свободу, а не справедливость, и, скорее, удовольствие, чем счастье. Для меня эта смена акцентов была не просто контркультурной риторикой, она обозначила всесторонний отход от моей предыдущей приверженности социалистическим догматам всех форм. Вместо них я ясно представил себе новую форму либертарианской социальной экологии или то, что Виктор Феркисс (Victor Ferkiss), обсуждая мои социальные взгляды, так метко назвал "эко-анархизмом".

Еще недавно, в шестидесятые годы, такие слова, как иерархия и доминирование использовались редко. Традиционные радикалы, в частности марксисты, по-прежнему разговаривали почти исключительно в терминологии классов, классового анализа и классового сознания; унаследованные концепции угнетения были в основном ограничены материальной эксплуатацией, беспросветной нищетой и несправедливым злоупотреблением в отношении трудящихся, подобно тому, как ортодоксальные анархисты уделяли внимание в основном государству, как повсеместному источнику социального принуждения. 1 Так же, как возникновение частной собственности стало "первородным грехом" общества для ортодоксальных марксистов, возникновение государства стало "первородным грехом" общества для ортодоксальных анархистов.

Даже ранние контркультуры шестидесятых годов избегали использования термина иерархия и предпочитали использовать "Вопрос Власти", не рассматривая негибимый генезис власти в связи с его отношением к природе и его значением для создания нового общества. В течение этих лет я также сосредоточился на том, как действительно свободное, основанное на экологических принципах общество, может стать связующим звеном в отношениях между человечеством и природой. В результате я начал исследовать развитие новых технологий в контексте доступных человеческих измерений. Эти технологии включали малые солнечные и ветровые установки, органические сады, и употребление местных "природных ресурсов", что использовалось децентрализованными сообществами. Этот подход быстро привел к появлению другого – потребности в прямой демократии, городской децентрализации, высокой степени самодостаточности, самостоятельности, основанных на коммунальной форме общественной жизни, одним словом, неавторитарной Коммуны состоящей из коммун.

Через несколько лет, когда я опубликовал эти идеи, особенно в десятилетие между началом шестидесятых и началом семидесятых-то, меня начала беспокоить та степень, с какой люди склонны разрушать единство, согласованность и основные приоритеты.. Такие понятия, как децентрализация и человеческое измерение например, были ловко приняты без упоминания о солнечной и ветровой энергетике или органических методов ведения сельского хозяйства, которые являются их материальной основой. Каждому сегменту было позволено жить своей жизнью, в то время как философии, соединяющей их в единое целое, было позволено чахнуть. Децентрализация проникла в городское планирование, как обычный прием социальной инженерии, в то время как альтернативные технологии превратились в узкую дисциплину, все более ограничивающуюся академическими кругами и новым поколением технократов. В свою очередь, каждое из этих понятий оторвалось от критического анализа общества, от фундаментальной теории социальной экологии.

Мне стало ясно, что именно единство моих взглядов - их экологическая целостность, а не только их отдельные компоненты - придало им радикальную направленность. То, что общество является децентрализованным, то, что оно использует солнечную или ветровую энергию и ведет органическое сельское хозяйство, или то, что оно сокращает загрязнение - ни одна из этих мер сама по себе или даже в ограниченном сочетании с другими не создает экологического общества. Также как и отдельные шаги, даже с самыми благими намерениями, не могут даже частично решить проблем, которые приняли универсальный, глобальный и катастрофический характер. Во всяком случае, частичные «решения» служат лишь косметическим средством для сокрытия глубинной природы экологического кризиса. Тем самым они отвлекают внимание общественности и теоретических поисков от адекватного понимания глубины и масштабов необходимых изменений.

Между тем, соединенные в единое целое и при поддержке последовательно радикальной практики, эти взгляды бросают вызов статусу кво с далеко идущими последствиями, единственно соразмерными с характером кризиса. Именно этого синтеза идей я стремился достичь в «Экологии свободы». И этот синтез должен был уходить корнями в историю - в развитие общественных отношений, социальных институтов, изменения технологий, восприимчивости, и политических структур, и только таким образом я мог надеяться установить смысл генезиса, контрастность, и преемственность, которые придали бы реальный смысл моим взглядам. Восстановительное утопическое мышление, которое вытекает из моего синтеза, может быть основано на реалиях, которые следуют из моего синтеза, затем, могут быть основаны на реальности человеческого опыта. То, чему следовало бы быть может стать тем, что должно быть, если человечество и биологическая система, на которую оно опирается, выживут. Изменение и восстановление скорее могут возникнуть из существующих проблем, чем из принятия желаемого за действительное и туманных капризов.

Под иерархией я подразумеваю культурные, традиционные и психологические системы подчинения и управления, а не только экономические и политические системы, в рамках которых термины класс и государство применимы самым подходящим образом. Соответственно, иерархия и доминирование может легко продолжать свое существование в "бесклассовом" или "безгосударственном" обществе. Я имею в виду доминирование старых над молодыми, мужчин над женщинами, одной этнической группы над другой, чиновников которые исповедуют свои "высшие общественные интересы", над "массами", города над деревней, и в более тонком психологическом смысле, разума над телом, поверхностной инструментальной рациональности над духом, и общества и технологий над природой. Действительно, бесклассовые но иерархические общества существуют сегодня (они существовали в более завуалированном виде и в прошлом); однако люди, которые живут в них, не могут ни пользоваться свободой, ни осуществлять контроль над своей жизнью.

Маркс, чьи работы в значительной степени создали эту концептуальную путаницу, предложил нам довольно четкое определение класса. У меня имелась возможность развить его теорию классового общества в строго объективных экономических рамках. Его широкое признание вполне может отражать ту степень, в которой наше время отдает превосходство экономическим вопросам над всеми другими аспектами социальной жизни. Действительно, существует определенная элегантность и величие в идее о том, что "история всех до сих

пор существовавших обществ была историей классовой борьбы". Проще говоря, правящий класс является привилегированным социальным слоем, который владеет или контролирует средства производства и эксплуатирует большие массы людей, угнетенный класс, эксплуатирует эти производительные силы. Классовые отношения являются по существу производственными отношениями, основанными на правах собственности на землю, орудия труда, машины и их продукцию. Эксплуатация, в свою очередь, это использование труда других для обеспечения собственных материальных нужд, предметов роскоши и досуга, а также для накопления и продуктивного обновления технологий. На этом вопрос определения класса можно было бы закрыть – а в месте вместе с ним и известный метод "классового анализа" Маркса, как исчерпывающее раскрытие материальных основ экономических интересов, идеологий и культуры.

Иерархия, хотя и включает в себя Марксово определение класса и даже приводит к возникновению классового общества, исторически выходит за рамки этого ограниченного понятия, в значительной степени относимого на счёт экономической формы классового разделения. Но это, однако, не определяет смысл термина иерархии, и я сомневаюсь в том, что слово может быть охвачено формальным определением. Я рассматриваю его исторически и экзистенциально как комплексную систему повелевания и послушания, в которой элиты, пользуясь той или иной степенью контроля над своими подчиненными, не обязательно их эксплуатируют. У таких элит могут полностью отсутствовать любые формы материальных благ; они даже могут быть лишены их, подобно тому, как Платоновская элита «воинов» была социально мощной, но материально бедной.

Иерархия – это не просто социальные условия, это также состояние сознания и восприимчивость к феномену на всех уровнях личного и социального опыта. Ранние дописьменные общества ("органические", как я их называю) существовали в достаточно интегрированной и унифицированной форме, основанной на родственных связях, возрастных группах, гендерном разделении труда². Их сильное ощущение внутреннего единства и их эгалитарное мировоззрение распространялись не только друг на друга, но и на отношения с природой. Люди в дописьменных культурах рассматривали себя не как "венцы творенья", (заимствованная фраза, используемая христианскими миллениарцами³), а как часть природного мира. Они не были не выше, не ниже природы, но в ней.

В органических обществах различия между людьми, возрастными группами, полами и между человечеством и природным многообразием живых и неживых явлений рассматривались (используя превосходную фразу Гегеля), как "единство противоположностей" или "единство многообразия", но не как иерархия. Их мировоззрение было отчетливо экологическим, и исходя из этого мировоззрения они почти бессознательно вывели основу ценностей, которые повлияли на их поведение по отношению к индивидуумам в их собственных сообществах и к окружающему миру. Как я утверждаю на следующих страницах, экология не знает ни "царя зверей" ни "низших созданий" (эти термины произошли из нашей собственной иерархической ментальности). Скорее речь идет об экосистемах, в которых живые существа являются взаимозависимыми и играют взаимодополняющие роли в сохранении стабильности и природного порядка.

Постепенно, органические общества стали развивать менее традиционные формы дифференциации и стратификации. Их первоначальное единство начало разрушаться. Социально-политические или "гражданские" сферы жизни расширились, отдавая растущее верховенство старейшинам и мужчинам сообщества, которые теперь заявили свои права на эту сферу, в рамках разделения труда внутри племени. Мужское превосходство над женщинами и детьми возникло в основном как следствие реализации социальных функций мужчин в жизни общества - функций, которые были отнюдь не исключительно экономическими, как теоретики марксизма хотели бы заставить нас считать. Мужские хитрости в манипуляции женщинами должны будут появиться позже.

До этого этапа истории или предыстории, старейшины и мужчины редко выполняли социально доминирующие роли, поскольку их гражданская сфера была просто не столь важна для сообщества. В самом деле, гражданская сфера заметно уравнивалась огромным значением женщины во "внутренней" сфере. Бытовые обязанности и деторождение были гораздо более важными в ранних органических обществах, чем политика и военное дело. Ранние общества глубоко отличались от современного своими структурными механизмами и ролью, которую играли разные члены сообщества.

Но даже с возникновением иерархии еще не существовало ни экономических классов и государственных структур, ни людей материально эксплуатируемых на систематической основе. Определенный слой, который составляли старейшины и шаманы, и, в конечном счете, мужчины в целом, стали заявлять свои права на привилегии - часто просто как предмета престижа, основанного на общественном признании, а не материальной выгоде. Природа этих привилегий, если таким образом их можно называть, требует более сложного обсуждения, чем те, что проводились до сегодняшнего дня, и я пытался изучить их внимательно и достаточно подробно. Только позже начинают появляться экономические классы и экономическая эксплуатация, и, в конечном счете, за ними последует государство с его далеко идущей бюрократической и военной атрибутикой.

Но превращение органических обществ в иерархические, классовые и политические общества происходило неравномерно и нестабильно, переходя вперед и возвращаясь назад в течение длительных периодов времени. Мы можем видеть это особенно наглядно в отношениях между мужчинами и женщинами, в частности с точки зрения ценностей, которые были связаны с изменением социальных ролей. Например, хотя антропологи в течение долгого времени приписывали чрезмерную степень социального верховенства в высокоразвитых охотничьих культурах мужчинам, верховенство, которым они вероятно никогда не пользовались в более ранних фуражных племенах (охотников и собирателей) своих предков; вытеснение охотничества земледелием, в котором садоводством занимались в основном женщины, возможно, компенсировала любой прежний дисбаланс, который мог существовать между полами.

"Агрессивные" мужчины-охотники и "пассивные" женщины-собиратели являются театрально преувеличенными представлениями, которые антропологи-мужчины прошлой эпохи навязали в своих "диких" аборигенных концепциях, но, определенно, напряженность и смена ценностей, независимо от социальных отношений, должны были постепенно взорваться внутри первобытных общин охотников и собирателей. Если отрицать явное

существование скрытой напряженности в установках, которые должны были существовать между охотником-мужчиной, которому приходилось убивать ради пропитания, а затем воевать против своих ближних, и женщиной-собирательницей, которая собирала свою пищу, а затем выращивала ее, то становится очень сложно объяснить, почему патриархат и его резко агрессивный облик мог когда-либо вообще возникнуть.

Хотя изменения, на которые я ссылался, были технологическими и частично экономическими - что отразилось в значении таких терминов, как собиратели, охотники и земледельцы — мы не должны считать, что эти изменения несут прямую ответственность за изменения в статусе полов. Учитывая уровень иерархической разницы, которая возникла в этот ранний период жизни общества, даже в патрицентричных (патрифокальных) общинах ни женщины еще не были униженно подчинены мужчинам, ни молодые не были в беспрекословном подчинении стариков. Действительно, появление системы рангов, которая предоставила преимущество одному слою общества перед другим, и в первую очередь старым перед более молодыми, была своеобразной формой вознаграждения, которая чаще всего отражала эгалитарные особенности органического общества, а не авторитарные особенности более поздних обществ.

Когда количество земледельческих сообществ начало увеличиваться до уровня, когда пахотных земель стало относительно мало, а войны стали все более распространены, молодые воины стали пользоваться социально-политическим превосходством, которое сделало их в сообществе "большими людьми", разделяющими гражданскую власть со старейшинами и шаманами. В этот период матрицентричные (матрифокальные) обычаи, религии, и мировоззрения сосуществовали с патрицентричными, так, что жесткие особенности патриархата нередко отсутствовали в течение этого переходного периода. Независимо от матрицентричности или патрицентричности, более старый эгалитаризм органического общества пронизывал социальную жизнь и угасал очень медленно, оставляя многие рудиментарные следы еще долгое время после того, как классовое общество закрепило свое влияние на общепринятые ценности и мировоззрения.

Государство, экономические классы и непреодолимая систематическая эксплуатация поработанных народов произошли из более сложных и длительных процессов развития, чем признавали в свое время радикальные теоретики. Их представление об истоках классовых и политических обществ, было на самом деле кульминацией более раннего, детально описанного развития общества к иерархическим формам. Разделение внутри органического общества все больше возвышало старых в их превосходстве над молодыми, мужчин над женщинами, шаманов, а затем и священническую корпорацию над светским обществом, один класс в превосходстве над другими, а государственные образования в господстве над обществом в целом.

Для читателя, воспитанного на общепринятой премудрости нашей эпохи, я должен особо подчеркнуть, что общество в виде групп, семей, кланов, племен, племенных федераций, деревень, и даже муниципалитетов предшествовало государственным образованиям задолго до их появления. Государство, с его специализированными функционерами, бюрократией и армией появляется довольно поздно в социальном развитии человечества, часто далеко за порогом истории. И оно остается в состоянии острого конфликта с

сопутствующими социальными структурами, такими как гильдии, соседские кварталы, народные общества, кооперативы, городские собрания, а также широким рядом муниципальных собраний. Но иерархическая организация всех свойств и видов не закончилась структурированием "гражданского" общества в институционализированную систему командования и подчинения. Со временем, иерархия начала вторжение в менее осязаемые сферы жизни.

Умственной деятельности было дано преимущество перед физической работой, интеллектуальному опыту перед чувственностью, "принципу реальности" перед "принципом удовольствия", и, наконец, рассудительность, мораль и дух были проникнуты невыразимым авторитаризмом, который позже распространил свою мстительную власть на язык и самые элементарные формы символизации. Представление о социальном и природном разнообразии было сведено от органического восприятия, которое рассматривает разные явления, как единство в многообразии к иерархическому менталитету, который придал самым незначительным явлениям ранг взаимно антагонистических пирамид, возведенных вокруг понятий о «низшем» и «высшем». И то, что начиналось как восприятие, превратилось в конкретный социальный факт. Таким образом, усилия по восстановлению экологического принципа единства в многообразии стали самодостаточными социальными усилиями - революционной работой, которая должна изменить восприятие для того, чтобы изменить реальный мир.

Иерархический менталитет порождает отречение от радостей жизни. Он оправдывает труд, чувство вины и жертвы со стороны "низших", а также удовольствие и снисходительное удовлетворение практически всех прихотей "высших". Объективная история социальной структуры становится интернализированной в качестве субъективной истории психической структуры. Это не дисциплина работы, но это дисциплина господства, которое требует подавления внутренней природы, и такого же отвратительного, какой может быть моя точка зрения для современных фрейдистов. Это подавление затем распространяется на внешнюю природу, как на исключительно объект господства, а затем и эксплуатации. Этот менталитет пронизывает нашу индивидуальную психику в кумулятивной форме вплоть до наших дней, не просто в виде капитализма, но в виде обширной истории иерархического общества с момента его возникновения. Пока мы не исследуем эту историю, которая активно живет внутри нас, в виде более ранних этапов наших индивидуальных судеб, мы никогда не будем свободны от ее власти. Мы можем устранить социальную несправедливость, но мы не достигнем социальной свободы. Мы можем устранить классы и эксплуатации, но мы не сможем избавиться от пут иерархии и доминирования. Мы можем изгнать дух наживы и накопительства из нашей психики, но мы все еще будем обременены терзающей виной, самоотречением, и трудно уловимой верой в "порочность" чувственности.

Еще один ряд отличительных особенностей, которые появляются в этой книге, это различия между моралью и этикой, а также между справедливостью и свободой. Мораль, согласно тому, как я использую этот термин, означает осознанные стандарты поведения, которые пока еще не подвергались сообществом тщательному рациональному анализу. Я избегаю использования слова "обычай" в качестве замены для слова мораль, поскольку моральные критерии для суждений о поведении действительно требуют некоторых объяснений, и не могут быть сведены к обусловленным социальным рефлексам, которые мы обычно называем

обычаями. Заповеди Моисея, подобно заповедям других религий мира, например, основывались на теологической почве, они были священными словами Яхве, которые мы могли бы подвергнуть сомнению сегодня, поскольку они не основаны на разуме. Этика же, напротив, подразумевает рациональный анализ и, как «нравственный императив» Канта, должна быть подтверждена интеллектуальными заключениями, а не просто верой. Мораль, таким образом, лежит где-то посередине между бездумными обычаями и рациональными этическими критериями добра и зла. Не разделив эти понятия, было бы сложно объяснить возрастающие этические претензии государства к своим гражданам, особенно в изнашивающихся архаичных моральных нормах, которые поддерживали тотальный патриархальный контроль над семьей, и в препятствиях, которые создает эта власть на пути политически более экспансивных сообществ, таких, как афинский полис.

Определение различий между справедливостью и свободой, между формальным равенством и действительным равенством является еще более основополагающими и постоянно повторяется на протяжении всей книги. Это различие было мало изучено даже радикальными теоретиками, которые часто еще повторяют эхо исторического крика угнетенных о «Справедливости!», а не свободе. И что еще хуже, эти два понятия использовались в качестве синонимов (какими они явно не являются). Молодой Прудон, а затем Маркс правильно поняли, что истинная свобода предполагает равенство, основанное на признании неравенства способностей и потребностей, возможностей и ответственности. Простое формальное равенство, которое «справедливо» вознаграждает каждого в соответствии с его или ее общественным вкладом, видит всех «равными перед лицом закона» и наделяет «равными возможностями»; вместе с тем грубо затмевает тот факт, что молодые и старые, слабые и немощные, имеющие немногие обязанности и обремененные многими (не говоря уже о богатых и бедных в современном обществе), вовсе не обладают истинным равенством в обществе, которое руководствуется правилом эквивалентности. В самом деле, такие термины, как вознаграждение, потребности, возможности, или, если уж на то пошло, собственность, будь она коммунально "обладаемая" или коллективно используемая, требуют столь же обширных исследований, что и слово закон. К сожалению, революционные традиции не в полной мере развили эти темы и их воплощение в определенных терминах. Социализм, в большинстве его форм, постепенно выродился в требование "экономической справедливости", тем самым просто переформулировал правило эквивалентности в качестве экономического дополнения к юридическому и политическому принципу эквивалентности установленному буржуазией. Моей целью является досконально исследовать эти различия, чтобы продемонстрировать то, как возникло это смешение понятий в самом начале, и как это можно прояснить, с тем, чтобы оно более не отягощало будущее.

Третье различие, которое я стараюсь раскрыть в этой книге, это различие между счастьем и удовольствием. Счастье, как определено здесь, это просто удовлетворение потребностей, необходимых для нашего выживания, потребностей в пище, жилье, одежде и материальном обеспечении, одним словом, потребности нас, как животных организмов. Удовольствие, напротив, является удовлетворением наших желаний, наших интеллектуальных, эстетических, чувственных и игривых «мечтаний». Социальное стремление к счастью, которое, как часто кажется, освобождает, как правило, проявляется таким образом, которым практически девальвирует или подавляет стремление к удовольствию. Мы видим

свидетельства этого регрессивного развития во многих радикальных идеологиях, которые оправдывают тяжкий труд и нужду взамен творческой работы и чувственных радостей. То, что эти идеологии осуждают стремление к удовлетворению чувственных потребностей, как «буржуазный индивидуализм» и «распущенность», вряд ли требует напоминания. Между тем я убежден, что именно в этих утопических поисках удовольствия человечество начинает достигать самых ярких проблесков эмансипации. В этих поисках, относящихся к социальной сфере, а не ограниченных личным гедонизмом, человечество начинает выходить за пределы области правосудия, даже бесклассового общества, и входит в царство свободы, царство, задуманное, как полная реализация человеческого потенциала в его наиболее творческой форме.

Если бы меня попросили выделить один основной контраст, который проходит через всю эту книгу, то это было бы кажущееся противоречие между «царством необходимости» и «царством свободы». Концептуально этот конфликт берет свое начало в «Политике» Аристотеля. Она включает в себя «слепой» мир «естественной» или внешней природы и рациональный мир «человеческой» или внутренней природы, в котором общество должно доминировать для того, чтобы создать материальные условия для свободы, свободное время и досуг, которые позволяют человеку развить свои возможности и силы. Эта драма пахнет конфликтом между природой и обществом, женщиной и мужчиной, телом и разумом, который проходит через западные образы "цивилизации". Она стала фундаментом почти каждого рационалистического представления об истории, она была использована для того, чтобы идеологически обосновать доминирование практически в каждом аспекте жизни. Ее апофеоз, по иронии судьбы, подготовлен различными теориями социализма, особенно теориями Роберта Оуэна, Сен-Симона, и, в самой изощренной форме, Карла Маркса. Представление Маркса о "дикаре, который борется с природой" является проявлением не столько высокомерия Просвещения, сколько викторианской спеси. Женщина, согласно наблюдениям Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера, не имеет своей доли в этом конфликте. Конфликт происходит исключительно между мужчиной и природой. Со времен Аристотеля до Маркса, раскол считался неизбежным: разрыв между необходимостью и свободой может быть сокращен технологическим прогрессом, который даёт человеку все большую власть над природой, но он никогда не может быть преодолен. Вопрос, который занимал некоторых искушенных марксистов в последующие годы, заключался в том, как подавление и дисциплинирование внешней природы может быть достигнуто без подавления и дисциплинирования внутренней: как можно управлять "естественной" природой без порабощения "человеческой" природы?

Моя попытка разгадать эту загадку подразумевает обращение к мифическому «дикарю» викторианцев, исследование внешней природы и ее отношения к внутренней природе, для осмысления мира необходимости (природы) с точки зрения способности мира свободы (общества), колонизировать и освободить его. Моя стратегия предполагает пересмотр эволюции и значения технологии в новом экологическом свете. Я постараюсь выяснить, как работа перестала быть привлекательной и игривой, и превратилась в обременительный труд. Таким образом, я пришел к решительному переосмыслению природы и структуры технологий, работы, а также метаболизма человечества с природой.

Здесь я хотел бы подчеркнуть, что мои взгляды на природу связаны довольно неортодоксальным понятием о разуме. Как Адорно и Хоркхаймер уже подчеркивали, разум когда-то воспринимался как имманентная черта реальности, безусловно, как организующий и мотивирующий принцип мира. Он рассматривался как изначальная сила, подобная логосу, которая придавала реальности смысл и согласованность во всех уровнях бытия. Современный мир отказался от этого понятия и сократил разум до рационализации, то есть, всего лишь до техники достижения практических целей. Логос, по существу был просто превращен в логику. Книга пытается восстановить это понятие имманентного мирового разума, однако, без архаичной, квази-теологической атрибутики, которая делает это понятие непригодным для более осведомленного и светского общества. На мой взгляд, разум существует в природе, как самоорганизующие атрибуты вещества, это латентная субъективность в неорганических и органических слоях реальности, которые обнаруживают присущее им стремление к сознанию. В человечестве эта субъективность обнаруживает себя как самосознание. Я не утверждаю, что мой подход является уникальным, обширная литература, которая поддерживает существование, по-видимому, собственного логоса в природе, происходит в основном из научного сообщества. Все, что я пытался сделать здесь, это облечь мои рассуждения о разуме в отчетливо историческую и экологическую терминологию, свободную от теологических и мистических уклонов, которые так часто омрачают формулировки рациональной натурфилософии. В заключительных главах я стараюсь исследовать область соприкосновения естественной философии и либертарианской социальной теории.

Я также обязан воскресить аутентичную Утопическую традицию, особенно выраженную Рабле, Шарлем Фурье и Уильямом Моррисом, из-под толщи обломков футуризма, который скрывает его. Футуризм, о чем свидетельствуют работы Германа Кана, просто экстраполирует отвратительное настоящее в еще более отвратительное будущее и тем самым стирает творческие, созидательные измерения будущего. Утопическая традиция, напротив, стремится пропитать необходимость свободой, работу игрой, и даже тяжелый труд творчеством и праздничностью. Мое противопоставление утопизма и футуризма создает основу для созидательной освободительной реконструкции экологического общества, для смысла человеческой миссии и предназначения ввиду того, что природа воспроизвела самосознание.

Эта книга начинается с норвежского мифа, который описывает, что боги должны понести наказание за стремление к покорению природы. Он заканчивается социальным проектом снятия этого проклятия (penalty), чей латинский корень роеналис дал нам слово боль. Человечество станет теми божествами, которых оно создало в своем воображении, правда божествами, царящими в природе, а не над природой, как «сверхъестественные» существа. Название этой книги, «Экология свободы», призвано выразить примирение природы и человеческого общества в новой экологической восприимчивости и новом экологическом обществе - регармонизацию природы и человечества через регармонизацию человека с человеком.

Диалектическое напряжение проходит через эту книгу. На протяжении всей моей дискуссии я часто обращаюсь к потенциальным возможностям, которые до сих пор еще не актуализировались исторически. Потребность в пояснениях часто вынуждает меня

обращаться к определенным социальным предпосылкам находящимися в зачаточной форме, как будто они уже достигли своей реализации. Процедура, которой я руководствуюсь, продиктована необходимостью рельефного изложения концепции для полноценного прояснения ее значения и последствий.

Например, из моего описания исторической роли старейшин в формировании иерархии, некоторые читатели могут сделать вывод, что, я верю в предпологаю существование иерархии уже на заре человеческого общества. Влиятельная роль, которую старейшины должны были сыграть в формировании иерархий, переплетена с их более скромной ролью в более ранние периоды развития общества, когда они фактически имели сравнительно небольшое социальное влияние. В этой ситуации передо мной стоит необходимость выяснить то, как старейшины посеяли первые «семена» иерархии. Геронтократия была, вероятно, первой формой иерархии, существовавшей в обществе. Но, благодаря моему способу изложения, некоторые читатели могут предположить, что верховенство старых над молодыми существовало и в те периоды человеческого общества, когда этого верховенства на самом деле не было. Тем не менее, незащищенность, которая приходит с возрастом, почти наверняка существовала среди старейшин, и, в конце концов, они использовали все доступные средства, для того чтобы превалировать над молодыми и завоевать их почитание.

Та же проблема разъяснений возникает, когда я имею дело с ролью шамана в эволюции ранних иерархий, с ролью мужчины по отношению к женщине, и так далее. Читатель должен помнить, что любой "факт", твердо констатированный, и, казалось бы, исчерпывающий, на самом деле является результатом сложного процесса, а не данной точкой отсчета, которая появляется сразу в полном своем масштабе в сообществе или обществе. Большая часть диалектического напряжения, которое пронизывает эту книгу, возникает в силу того, что я имею дело с процессами, а не с выдернутыми из контекста сухими предположениями, которые удобно следуют друг за другом парадным строем, как категории в традиционном логическом тексте.

Зарождающиеся, потенциально иерархические элиты постепенно развиваются, каждый этап их эволюции затмевается следующим, пока первые устойчивые ростки иерархии не возникают, и в конечном итоге, не созревают. Их рост неравномерен и тесно переплетен. Старейшины и шаманы полагаются друг на друга, а затем конкурируют друг с другом за социальные привилегии, многие из которых являются попытками достижения личной безопасности, даруемой определенной мерой влияния. Обе группы вступают в союзы с формирующейся из молодых людей кастой воинов, чтобы, наконец, сформировать истоки квази-политического сообщества и зарождающегося государства. Только тогда их привилегии и полномочия становятся обобщенными в институты, которые пытаются распоряжаться обществом в целом. В отдельных случаях, тем не менее, иерархический рост мог быть приостановлен и даже "регрессирован" до большего паритета между возрастными группами и полами. Не считая тех случаев, когда верховенство было захвачено извне, путем завоевания, появление иерархии не было внезапной революцией в человеческих делах. Это часто было длительным и сложным процессом.

И, наконец, я хотел бы подчеркнуть, что эта книга построена на контрастах между дописьменными, неиерархическими обществами, их взглядами, методами и формой мышления и «цивилизациями», основанными на иерархии и доминировании. Каждая из тем, затронутых во второй главе, снова подхватывается в последующих и исследуется более подробно для того, чтобы прояснить обширные изменения, которые "цивилизация" приносила в состояние человечества. То, чего нам часто не хватает в нашей повседневной жизни и нашей социальной восприимчивости, так это осознания процесса расслаивания и медленных последовательных перемен по пути которых наше общество развивалось в противоположность, а зачастую в жестоком антагонизме, к доиндустриальным и дописьменным культурам. Мы живем настолько глубоко погружены в наше настоящее, что оно поглощает всю нашу восприимчивость и, следовательно, даже нашу способность задумываться об альтернативных социальных формах. Поэтому я буду постоянно возвращаться к дописьменной восприимчивости, которую я лишь упоминаю во второй главе, чтобы исследовать ее различия с более поздними учреждениями, методами и формой мышления в иерархических обществах.

Эта книга не марширует под барабанную дробь логических категорий, равно как и ее аргументы не выстроены для торжественного парада по четко разграниченным историческим эпохам. Я не написал истории событий, каждое из которых следует за другим в соответствии с диктатом наперед заданной хронологии. Антропология, история, идеологии, даже системы философии и разума наполняют эту книгу, а вместе с ними отступления и экскурсы, которые, на мой взгляд, проливают ценный свет на великий ход природного и человеческого развития. Более нетерпеливый читатель, возможно, захочет перепрыгнуть через пассажи страниц, которые он или она находят слишком дискурсивными или отклоняющимися от темы. Но эта книга сосредоточена на нескольких общих идеях, которые развиваются в соответствии со странной и подчас непредсказуемой логикой скорее органического, чем строго аналитического толка. Я надеюсь, что читатель тоже захочет расти вместе с этой книгой, прожить ее и понять, критически и дотошно, чтобы самому во всем удостовериться, но с сочувствием и восприимчивостью к жизненному развитию свободы, которое она описывает и диалектике, которую она исследует в истории человеческого конфликта с доминированием.

Принеся mea culpa⁴ за некоторые проблемы, связанные с пояснениями, я хотел бы решительно подтвердить мое убеждение в том, что этот процессно-ориентированный диалектический подход подводит значительно ближе к сути иерархического развития, чем предположительно более четкий аналитический подход, который так предпочитают академические логики. Когда мы оглядываемся на много тысячелетий назад, то наше мышление и анализ прошлого слишком заполнены опытом длительного исторического развития, которого явно не было у человечества на ранних этапах его истории. Мы склонны проецировать в прошлое огромный объем социальных отношений, политических институтов, экономических концепций, моральных наставлений, и огромный массив личных и социальных идей, которые людям, живущим тысячи лет назад, еще предстояло создать и концептуализировать. То, что для нас является созревшей реальностью, для них было все еще неоформленными возможностями. Они думали в системе понятий, которые в основном отличались от наших. То, что мы сегодня воспринимаем как должное, как часть "человеческого статуса" было просто немыслимым для них. Мы, в свою очередь,

практически не в состоянии иметь дело с огромным разнообразием естественных феноменов, которые были неотъемлемой частью их жизни. Сама структура нашего языка состоит в заговоре против понимания их мировоззрения.

Без сомнения, многие «истины», которыми обладали дописьменные народы были заведомо ложными, это утверждение легко сделать в наши дни. Но я собираюсь изложить доводы в пользу того, что их мировоззрение, особенно применительно к отношениям их сообществ с естественным миром, имели в своей основе здравый смысл, что особенно актуально для нашего времени. Я исследую их экологическую восприимчивость и пытаюсь показать, почему и каким образом она ухудшилась. И что более важно, я страстно желаю определить, какие аспекты этого мировоззрения могут быть восстановлены и интегрированы в наше собственное. Слияние их экологической восприимчивости с нашей, преимущественно аналитической, не создает никаких противоречий, это слияние выходит за пределы обеих восприимчивостей, переводя их в новый способ мышления и переживаний. Мы больше не сможем вернуться к их концептуальному «примитивизму», в то время, как они могли бы усвоить нашу аналитическую "заумь". Но, возможно, мы можем достичь образа мышления и переживаний, который включает в себя квази-анимистическую респиритизацию явлений, как неодушевленных так и одушевленных, не отказываясь от представлений, полученных благодаря науке и аналитическому мышлению.

Слияние органического, процессно-ориентированного мировоззрения с аналитическим было традиционной целью классической западной философии, начиная от досократовой и заканчивая Гегелем. Такая философия всегда была чем-то большим, нежели мировоззрение или просто метод обращения с действительностью. Она также была тем, что философы называют онтологией, описанием реальности, воспринимаемой не просто как материя, а как активная, самоорганизующаяся субстанция со стремлением к сознанию. Традиция превратила это онтологическое мировоззрение в своеобразные рамки, в которых мысль и материя, субъект и объект, рассудок и природа, примирены на новом спиритуализированном уровне. Соответственно, я рассматриваю этот процессно-ориентированный взгляд на явления, как внутренне экологический в своем характере, и меня весьма озадачивает неспособность стольких диалектически ориентированных мыслителей увидеть удивительную совместимость между диалектическим и экологическим мировоззрениями.

Мое видение реальности как процесса может показаться несовершенным тем читателям, которые отрицают существование смысла и значения человечества в его естественном развитии. То, что я вижу «прогресс» в органической и социальной эволюции, будет вне всяких сомнений скептически рассматриваться поколением, которое ошибочно отождествляет «прогресс» с неограниченным материальным ростом. Я, например, не делаю этого отождествления. Возможно, моя проблема, если это можно так назвать, является свойством моего поколения. Я по-прежнему дорожу тем временем, когда стремились осветить ход событий, интерпретировать их и сделать их осмысленными. Когерентность - это мое любимое слово, оно решающим образом руководит всем, что я пишу и говорю. Кроме того, эта книга не излучает пессимизма, столь обычного для энвайронменталистской литературы. Так же, как я считаю, что прошлое имеет смысл, я считаю, что и будущее может иметь смысл. Если мы не можем быть уверены в том, что человеческое сословие

будет прогрессировать, у нас есть возможность выбирать между утопической свободой и социальным жертвоприношением. В этом и заключается невозмутимый мессианский характер этой книги, характер философский и унаследованный от предков. "Принцип надежды", как назвал его Эрнст Блох, является частью всего того, что я ценю, отсюда мое отвращение к футуризму, настолько связавшему себя настоящим, что это сводит на нет будущность, отвергая все новое, что не является экстраполяцией существующего общества.

Я пытался избежать написания книги, которая пережевывает всевозможные мысли, касающиеся вопросов, возникающих на следующих страницах. Я бы не хотел подать эти мысли, как подготовленную к усвоению пассивным читателем кашку. Диалектическое напряжение, которое я ценю более всего, происходит между читателем книги и писателем: намеки, предположения, незавершенные мысли и стимулы, которые побуждают читателя думать самостоятельно. В эпоху, которая настолько быстротечна, было бы изрядной самонадеянностью представить готовые анализ и рецепты. Обязанностью серьезной работы я считаю, скорее, стимулирование диалектического и экологического мышления, в отличие от работы, которая так же «проста» и так «ясна», как и нераздельна, одним словом, так элитарна, что она не допускает, чтобы читателю пришлось искать уточнения и поправки в другом месте. Эта книга не является идеологической программой, это стимул к размышлениям, упорядоченный свод концепций, который читатель должен будет пройти до конца в уединении своего собственного ума.

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ

Легенды скандинавов рассказывают о времени, когда все существа были наделены своими мирскими царствами: боги населяли небесное царство, Асгард, люди жили на земле, в Мидгарде, ниже которого лежал Нифэлхайм (Обитель Мглы – прим. переводчика), темное, ледяное царство гигантов, карликов, и мертвых. Эти царства были связаны между собой огромным ясенем, Древом Мира. Его высокие ветви достигали неба, а его корни самых отдаленных глубинах земли. Невзирая на то, что Древо Мира постоянно обгрызали животные, оно всегда оставалось зеленым, возрождаемое волшебным фонтаном, который непрерывно вливал в него жизнь.

Боги, которые сформировали этот мир, руководили непрочным состоянием спокойствия. Они изгнали своих врагов, гигантов, в страну льда. Фенрир Волк был закован в цепи, и великая Змея Мидгарда содержалась в безысходном положении. Несмотря на скрытую опасность, всеобщий мир восторжествовал, и изобилие наступило для богов, людей и всех живых существ. Один, бог мудрости, - царствовал над всеми божествами; мудрейший и сильнейший, он наблюдал за боями между людьми и выбрал самых героических среди павших пировать с ним в его большой крепости, Валгалла. Тор, сын Одина, был не только сильный воин, защитник Асгарда от своенравных гигантов, но и божество порядка, который наблюдал за сохранением веры среди людей и соблюдением договоров. Существовали боги и богини изобилия, плодородия, любви, права, моря и кораблей, и множество анимистических духов, населявших все вещи и существа на земле.

Но мировой порядок начал рушиться, когда боги, жадные к богатству, под пытками вынудили ведьму Гулльвейг, изготовительницу золота, раскрыть свои секреты. Тогда настал безудержный раздор между богами и людьми. Боги начали нарушать свои клятвы, коррупция, предательство, соперничество, и жадность стали господствовать в мире. С распадом изначального единства, дни богов и людей, Асгарда и Мидгарда, были сочтены. Неумолимо, нарушение мирового порядка приводит к Рагнарок - смерти богов в большом конфликте перед Валгаллой Боги вышли на страшную битву с гигантами, Волком Фенриром и Змеей Мидгарда. Со взаимным уничтожением всех участников сражения, человечество тоже гибнет, и ничего не останется, кроме голой скалы и переполненных океанов в пустом холоде и мраке. Распавшись, таким образом до основания, мир, тем не менее, возрождается, очищенный от своих предшественников зла и коррупции, которые уничтожили его. И чтобы новый мир, возникающий из пустоты не пережил еще один катастрофический конец, второе поколение богов и богинь будет учиться на ошибках своих предшественников. Пророчица, которая рассказывает эту историю, говорит нам, что человечество отныне будет «жить в радости так долго, насколько это можно предвидеть».

В этой скандинавской космографии, похоже, заключается нечто большее, чем старая тема "вечного повторения", ощущения времени, которое вращается вокруг вечных циклов рождения, взросления, смерти и возрождения. Скорее, человек осознает пророчества, настоявшиеся на исторической травме. Легенда относится к малоисследованным областям мифологии, которые можно было бы назвать "мифами дезинтеграции". Хотя легенда о Рагнарок, как известно, довольно стара, мы очень мало знаем о том, когда она появилась в эволюции скандинавских саг. Мы знаем, что христианство, с его сделкой о вечном вознаграждении, пришло к Скандинавам позже, чем к любой другой крупной этнической группе в странах Западной Европы, и корни его были неглубокими в течение нескольких поколений после этого. Язычество севера уже давно вступило в соприкосновение с коммерцией юга. Во время набегов викингов на Европу, священные места севера были осквернены золотом, и стремление к богатству отделяло родича от родича. Иерархии, воздвигнутые на доблести, были размыты системами привилегий, основанными на богатстве. Клань и племена разрушались; клятвы между людьми, из которых возникало единство первозданного мира, были обесчещены, и волшебный фонтан, который сохранял жизнь Дерева Мира был засорен мусором торговли. "Братья борются и убивают друг друга", горюет пророчица, "дети отрекаются от своих предков... это времена ветра, волка, до того самого дня, когда мира больше не станет".

Что преследует нас в таких мифах дезинтеграции, так это не их история, а их пророчества. Как скандинавы, и, возможно, даже больше, как люди в конце Средневековья, мы чувствуем, что наш мир тоже рухнет, институционально, культурно и физически. Предстоит ли нам новая райская эпоха или катастрофа, как скандинавский Рагнарок, до сих пор неясно, но не может быть и длительного периода компромиссов между прошлым и будущим, в неоднозначном настоящем. В наше время слишком много восстановительных и разрушительных тенденций, чрезмерно противоречащих друг другу, чтобы допустить примирение. Социальный горизонт представляет собой резко противоречивые перспективы

гармонизированного мира с экологической восприимчивостью, основанной на обширных обязательствах перед обществом, взаимопомощи, и новых технологиях с одной стороны, и страшные перспективы какойнибудь термоядерной катастрофы с другой стороны. Может оказаться, что наш мир либо должен пройти через революционные изменения, настолько далеко идущего характера, что человечество полностью преобразует свои социальные отношения и само представление о жизни, либо он претерпит апокалипсис, который вполне может завершить пребывание человечества на планете.

Напряженность между этими двумя перспективами уже подорвала мораль традиционного социального порядка. Мы вступили в эпоху, которая более не состоит из институциональной стабилизации, теперь она состоит из институционального распада. Широко распространившееся отчуждение развивается в формы, стремления, требования, и, что важнее всего, в институты установленного порядка. Самое буйное и театральное свидетельство этого отчуждения произошло в 1960-х годах, когда «восстание молодежи» в первой половине десятилетия переросло в, то, что представлялось контркультурой. Этот период отмечен значительно большим, чем протест и нигилизм подростков. Почти интуитивно новые ценности чувственности, новые формы коммунального образа жизни, изменения в одежде, языке, музыке, рожденные на волне глубокого смысла надвигающихся социальных изменений, проникли в значительную часть целого поколения. Мы пока не знаем, какое значение несет начало отлива этой волны: историческое ли это отступление, или превращение в серьезный проект внутреннего и социального развития. То, что символы этого движения в конечном итоге стали артефактами для новой индустрии культуры, не меняет его далеко идущих последствий. Западное общество уже никогда не станет прежним, несмотря на все насмешки его ученых и его критику "нарциссизма".

То, что делает это непрекращающееся движение деинституционализации и делегитимации столь значительным, так это то, что оно нашло почву в огромном слое западного общества. Отчуждение охватывает не только бедных, но и относительно богатых, и не только молодых, но их старых, не только явно отвергаемых, но и внешне привилегированных. Господствующий порядок начинает терять лояльность социальных слоев, которые традиционно объединялись в его поддержку и в которых его корни прочно вросли в прошлое. Каким бы критическим не был этот упадок институтов и ценностей, он далеко не исчерпывает проблем, которые стоят перед существующим обществом. С социальным кризисом переплелся кризис, который возник непосредственно в результате эксплуатации человеком планеты⁵. Установившееся общество стоит перед распадом не только своих ценностей и институтов, но и своей природной среды. Эта проблема не является уникальной для нашего времени. Обезвоженные пустыни Ближнего Востока, где зародилось искусство сельского хозяйства и градостроительства, свидетельствуют о древних человеческих разрушительных наклонностях, но этот пример меркнет перед массовым уничтожением окружающей среды, которое происходило со времен промышленной революции, и особенно с конца Второй мировой войны. Ущерб, нанесенный окружающей среде современным обществом, охватил всю землю. Написаны тома работ об огромных потерях плодородной почвы, что происходит ежегодно почти на всех континентах земли; о масштабном уничтожении лесных массивов в районах, подверженных эрозии; о фактах смертоносного загрязнения воздуха в крупных городах; о глобальном распространении отравляющих веществ в сельском хозяйстве, промышленности; об энергогенерирующих мощностях;

химическом загрязнении непосредственной среды обитания человечества промышленными отходами, пестицидами и удобрениями. Эксплуатация и загрязнение земли нанесли ущерб не только целостности атмосферы, климата, водных ресурсов, почвы, флоры и фауны отдельных регионов, но и целостности основных природных циклов, от которых зависят все живые существа.

И все же разрушительная способность современного человека является донкихотским свидетельством способности человечества к переустройству. Мощные технологические средства, которые мы использовали против окружающей среды, включают в себя те самые средства, которые нужны нам для ее реконструкции. Знания и физические инструменты, которые необходимы для содействия гармонизации человечества с природой и человека с человеком уже в значительной степени доступны или легко могут быть разработаны. Многие из физических принципов, используемых для построения таких очевидно вредных объектов, как обычные электростанции, энергоемкие транспортные средства, оборудование для открытых горных разработок, и прочего, могли бы быть направлены на строительство мелкомасштабных солнечных и ветровых энергетических установок, эффективных транспортных средств и энергосберегающих технологий. То, чего нам решительно не хватает, это осознанности и восприимчивости (склада ума), которые помогли бы нам достичь в высшей степени желаемых целей, таких осознанности и восприимчивости, которые гораздо шире, чем то, что обычно подразумевается под этими терминами. Наши определения должны содержать не только способность рассуждать логически и реагировать эмоционально и гуманистическим образом, они также должны включать здоровое осознание связности вещей и способность проникновения в суть возможного. На сей счет Маркс был совершенно прав, подчеркивая, что революция, необходимая для нашего времени, должна создать свою поэзию не из прошлого, а из будущего, из гуманистических возможностей, которые лежат на горизонте общественной жизни.

Новое сознание и склад ума не могут быть только лишь поэтическими, они должны быть также и научными. Безусловно, есть уровень, на котором наше сознание не должно быть ни поэзией, ни наукой, но трансцендентностью их обеих в новую область теории и практики, творчеством, которое сочетает фантазию с разумом, воображение с логикой, видение с техникой. Мы не можем лишиться нашего научного наследия, не вернувшись к рудиментарным технологиям, с их оковами материальной необеспеченности, тяжелого труда, и самоотречения. И мы не можем позволить себе оказаться в тюрьме механистического мировоззрения и дегуманизирующих технологий с их оковами отчуждения, конкуренции и грубого отказа от потенциала человечества. Поэзия и воображение должны быть интегрированы с наукой и техникой, потому что мы выросли из того невинного возраста, когда можно питаться исключительно мифами и мечтами.

Существует ли научная дисциплина, которая признает недисциплинированность фантазии, воображения, и хитрости? Может ли она охватывать проблемы, созданные социальным и экологическим кризисами нашего времени? Можно ли интегрировать критику с реконструкцией, теорию с практикой, видение с техникой?

Почти в каждом историческом периоде начиная с эпохи возрождения, существовала очень тесная связь между радикальными достижениями в области естественных наук и переворотами в общественной мысли. В шестнадцатом и семнадцатом веках, развивающиеся науки астрономия и механика, с их освобожденным видением мира и гелиоцентрическим единством локального и космического движения, нашли свои социальные дополнения в столь же критичных и рациональных социальных идеологиях, бросивших вызов религиозному фанатизму и политическому абсолютизму. Эпоха просвещения принесла новое понимание чувственного восприятия и требований человеческого разума к божественному миру, который был идеологической монополией духовенства. Позже, антропология и эволюционная биология опровергли традиционные статические понятия о человеческом проекте вместе с их мифами об изначальном сотворении мира и истории как богословском предмете. Расширяя карту и раскрывая динамику земной социальной истории, эти науки усилили новые доктрины социализма, с их идеалом человеческого прогресса, за которыми последовала французская революция.

В свете огромных аномалий, которые стоят сейчас перед нами, наша собственная эпоха нуждается в более широком и глубоком объеме знаний, как научных, так и социальных для того, чтобы обратиться к нашим проблемам. Не отказываясь от завоеваний ранних научных и социальных теорий, мы должны развивать более сбалансированный критический анализ наших отношений с миром природы. Мы должны изыскать основу для более реконструктивного подхода к серьезной проблеме, представленной очевидными «противоречиями» между природой и обществом. Мы более не можем позволить себе оставаться в плену тенденций более традиционных наук, препарировать явления и исследовать их фрагменты. Мы должны объединить их, соотнести, и увидеть их как во всей совокупности, так и в их специфике. В ответ на эти потребности, мы разработали уникальную для нашей эпохи дисциплину: социальную экологию. Более известный термин «экология» был введен Эрнстом Геккелем на столетие раньше, чтобы обозначить исследование взаимосвязи между животными, растениями и их неорганической окружающей средой. Со времен Геккеля, термин был расширен за счет включения в него экологии городов, здоровья и разума. Такое распространение слова на обширные области может показаться особенно желательным в век, который страстно стремится к некой интеллектуальной согласованности и единству восприятия. Но оно также может оказаться чрезвычайно коварным, как и другие, вновь изобретенные слова - холизм, децентрализация и диалектика, - термин экология несет опасность просто повиснуть в воздухе без каких-либо корней, контекста, или текстуры. Часто он используется как метафора, заманчивое модное словечко, которое теряет потенциально убедительную внутреннюю логику своего замысла.

Таким образом, радикальный смысл этих слов легко нейтрализовать. "Холизм" испаряется в мистическом вздохе, превращается в риторическое выражение для экологического товарищества и сообщества, которое заканчивают таким внутригрупповым приветствием, как «холистически ваш». То, что было раньше серьезной философской позицией, упростилось до энвайронменталистского китча. Децентрализация часто означает логистические альтернативы гигантизму, а не человеческие масштабы, те альтернативы, которые сделали бы возможной глубинную и прямую демократию. С экологией дело обстоит еще хуже. Слишком часто она становится метафорой, как и слово диалектика, для любого вида интеграции и развития.

Возможно, еще более тревожным является то, что, это слово в последние годы было отождествлено с очень грубой формой естественнонаучной инженерии, которая вполне может быть названа энвайронментализмом⁶.

Я озабочен тем, что многие экологически ориентированные индивидуумы используют слова «экология» и «энвайронментализм» как синонимы. Здесь я хотел бы очертить семантически уместное различие. Под «энвайронментализм» я предлагаю понимать механистический, инструментальный подход, который рассматривает природу как пассивный хабитат⁷ состоящий из «объектов», таких, как животные, растения, минералы и т.п., которые должны просто стать более удобными для использования человеком. Учитывая мое использование термина, энвайронментализм сводит понятие природы к закромам для хранения «природных ресурсов» или «сырья». В этом контексте в лексике энвайронменталиста остается очень мало социального содержания: города становятся «городскими ресурсами», а их жители «человеческими ресурсами». Если слово ресурсы выскакивает так часто в энвайронменталистских дискуссиях о природе, городах и людях, то на кону стоит более важный вопрос, чем просто игра слов. Энвайронментализм, в том смысле, в каком я использую этот термин, склонен рассматривать экологический проект достижения гармоничных отношений между человеком и природой как перемирие, а не длительное равновесие. «Гармония» энвайронменталистов фокусируется вокруг разработки новых технологий для разграбления природного мира с минимальными потерями для человеческого «хабитата». Энвайронментализм не ставит под сомнение основные предпосылки современного общества, в частности то, что человечество должно доминировать над природой, а, скорее, стремится способствовать этому понятию путем разработки методов для уменьшения опасностей, связанных с безрассудным разграблением окружающей среды.

Чтобы отличить экологию от энвайронментализма и от абстрактных, часто сбивающих с толку определений этого термина, я должен вернуться к его первоначальному использованию и изучить его непосредственное отношение к обществу. Проще говоря, экология имеет дело с динамическим равновесием в природе, с взаимозависимостью одушевленных и неодушевленных предметов. Поскольку природа также включает в себя человеческие существа, наука должна включать в себя роль человечества в природном мире, в частности, характер, форму и структуру взаимоотношений человечества с другими видами и с неорганическим субстратом биотической среды. С критической точки зрения, экология открывает широкие пределы обширного нарушения равновесия, которое возникло из-за того, что человечество откололось от мира природы. Один из уникальных видов природы, *homo sapiens*, медленно и усердно развивался от природного мира до своего собственного уникального социального мира самого по себе. Так как оба мира взаимодействуют друг с другом посредством очень сложных фаз эволюции, становится столь же важным говорить о социальной экологии как и о экологии природы.

Позвольте мне подчеркнуть, что неудача в изучении этих фаз эволюции человека, которые породили сукцессию⁸ иерархии, классов, городов, и, наконец, государства - означает насмешку над термином социальная экология. К сожалению, дисциплина осаждалась самозванными приверженцами, которые постоянно пытаются свернуть все фазы природного и человеческого развития в универсальное "единство" (не целостность), одалживая одну из

язвительных фраз Гегеля, в зияющую "ночь, когда все коровы черные". По крайней мере, наше общее употребление слова виды для обозначения богатства жизни вокруг нас должно быть предупредительным сигналом о факте специфичности особенностей, изобилия дифференцированных существ и вещей, которые входят в тот самый предмет изучения экологии природы. Исследовать эти отличительные свойства, изучить фазы и зоны соприкосновения, которые входят в их становление и в длительное развитие человечества от животного состояния к обществу - латентное развитие с проблемами и возможностями - означает сделать социальную экологию самой мощной из дисциплин, в которой можно черпать нашу критику современного общественного порядка.

Но социальная экология предлагает нечто больше, чем критика раскола между человечеством и природой, она же и создает необходимость их исцеления. В самом деле, она формулирует необходимость радикального преодоления. Как отметил Е.А. Гуткинд: «Целью социальной экологии является целостность, а не простое сложение бесчисленных данных, собранных наугад и интерпретированных субъективно и поверхностно». Наука имеет дело с социальными и природными отношениями в сообществах или «экосистемах»⁹. В комплексном их понимании, то есть с точки зрения их взаимной созависимости, социальная экология стремится разгадать формы и паттерны взаимоотношений, которые придают смысл сообществу, будь они физические или социальные. Холизм, здесь, является результатом сознательных усилий направленных на распознавание того, как устроены особенности сообщества, каким образом его «геометрия» (как, возможно, выразились бы греки) делает «целое большим, чем сумма его частей». Таким образом, «целостность», на которую ссылается Гуткинд, не должна быть ошибочно принята за спектральное «единство», которое порождает космическое растворение в бесструктурной нирване, она является богато артикулированной структурой со своей собственной историей и внутренней логикой.

История, по существу, настолько же важна, как форма или структура. В значительной степени, история феномена сама является феноменом. Мы, в прямом смысле слова, являемся всем, что было до нас, и мы, в свою очередь, можем в конечном итоге стать значительно большим, чем то, кем мы являемся. Удивительно, но за время эволюции жизненных форм в их природной и социальной эволюции было потеряно очень мало, даже в самих наших телах, о чем свидетельствует наше эмбриональное развитие. Эволюция находится внутри нас (как и вокруг нас) как часть самой природы нашего существа.

Теперь достаточно сказать, что целостность не является мрачной недифференцированной «универсальностью», которая предполагает сведение феномена к тому, что он имеет общего со всем остальным. И она, также, не является небесной, вездесущий «энергией», которая заменяет обширное количество физических различий, из которых состоят природная и социальная сферы. Напротив, целостность включает в себя разношерстные структуры, соединения и медиации, которые придают всему богатое разнообразие форм, и, тем самым, придают уникальные качественные свойства тому, что строго аналитический ум часто сводит к «бесчисленным» и «случайным» деталям.

Такие термины, как целостность, тотальность, и даже сообщество содержат гибельные нюансы для поколения, которое знакомо с фашизмом и другими тоталитарными идеологиями. Эти слова вызывают образы «целостности», достигнутой за счет гомогенизации, стандартизации и репрессивной координации человеческих существ. Эти опасения подкрепляются «целостностью», которая, похоже, обеспечивает неумолимую конечность хода человеческой истории, той, которая подразумевает сверхчеловеческую, узко телеологическую концепцию социального права и лишает человеческую волю и индивидуальный выбор способности формировать ход социальных событий. Такие понятия, как социальное право и телеология были использованы для достижения безжалостным покорением индивидуума сверхчеловеческими силами, находящимися за пределами человеческого контроля. Наш век был поражен множеством тоталитарных идеологий, которые, ставя человеческих существ на службу истории, отказывали им в месте на службе собственной человечности.

На самом деле, такая тоталитарная концепция "целостности" резко контрастирует с тем, что вкладывают в этот термин экологи. В дополнение к пониманию ее повышенного внимания к форме и структуре, мы подошли к очень важным принципам экологии: экологическая целостность является не неизменной гомогенностью, а прямо противоположным - динамическим единством разнообразия. В природе равновесие и гармония достигается за счет постоянно меняющихся дифференциаций и постоянно расширяющегося разнообразия. Экологическая устойчивость, в действительности, является функцией не простоты и однородности, но сложности и разнообразия. Способность экосистемы сохранять свою целостность зависит не от однородности среды, а от ее разнообразия.

Яркий пример этого принципа можно увидеть на опыте экологической стратегии выращивания пищи. Фермеры уже не раз страдали от катастрофических последствий распространенной практики монокультурного подхода к сельскому хозяйству, используя общепринятый термин для этих бескрайних полей пшеницы и кукурузы, которые простираются до самого горизонта во многих частях мира. Без смешения культур, которое обычно обеспечивает как уравнивание сил, так и многостороннюю взаимную поддержку, которая приходит вместе со смешанными популяциями растений и животных, вся сельскохозяйственная ситуация в области, как известно, коллапсирует. Полезные насекомые стали вредителями потому, что естественные регуляторы их численности, включающие птиц и мелких млекопитающих, были уничтожены. Почвы, в которых нет дождевых червей, азотфиксирующих бактерий и зеленых удобрений в достаточном количестве, превращаются в простую песчано-минеральную среду для поглощения огромного количества неорганических солей азота, которые прежде поступали более циклично и вовремя, и больше соответствовали нуждам роста сельскохозяйственных культур в экосистеме. Беспечное пренебрежение сложностями природы и утонченными требованиями растительной и животной жизни грубо упрощает положение в сельском хозяйстве, теперь его потребности должны быть удовлетворены легко растворимыми синтетическими удобрениями, которые просачиваются в питьевую воду и опасными пестицидами, которые сохраняются в остаточном виде в продуктах питания. Высокий стандарт выращивания пищи, который был когда-то достигнут разнообразием сельскохозяйственных культур и животных, был свободен от стойких отравляющих веществ

и, вероятно, обладал более здоровыми питательными свойствами, сегодня едва ли похож на монокультуры, в основном поддерживаемые токсичными химическими веществами и обладающие очень скудными питательными веществами.

Если предположить, что поток естественной эволюции был направлен на увеличение сложности, что колонизация планеты жизнью была возможна только в результате биотического разнообразия, то разумное изменение масштабов человеческой гордыни должно предостеречь об опасностях, которые влечет за собой вмешательство в природные процессы. Это живые существа, возникшие давным-давно из своей первичной водной среды обитания, и колонизировавшие самые негостеприимные районы Земли, создали богатую биосферу, которая сейчас охватывает ее, стали возможным только благодаря невероятной изменчивости жизни и огромному наследию форм жизни, полученному в результате ее длительного развития. Многие из этих форм жизни, даже самые первичные и простые, никогда не исчезали, сколько бы они не изменялись в ходе эволюции. Простые формы водорослей, которые положили начало растительной жизни и простые беспозвоночные, которые ознаменовали начало жизни животных, до сих пор существуют в большом количестве. Они включают в себя предпосылки для существования более сложных органических существ, которым они обеспечивают средства к существованию, источники разложения, и даже атмосферный кислород и углекислый газ. Хотя они могут предшествовать «высшим» растениям и млекопитающим более чем на миллиард лет, они взаимодействуют со своими более сложными потомками в зачатую непостижимых экосистемах.

Предполагать, что наука повелевает всем этим обширным нексусом органических и неорганических взаимосвязей во всех их подробностях - хуже, чем самонадеянность: это глупость. Если единство в многообразии форм является одним из кардинальных принципов экологии, богатство биоты, которая существует в единственном акре почвы, приводит нас к еще одному основному экологическому принципу: необходимости учитывать высокую степень природной спонтанности. Привлекательное изречение "уважение к природе", имеет конкретные последствия. Предполагать, что наше знание этого комплекса, богатого текстурой, и постоянно меняющимся природным калейдоскопом форм жизни заслуживает «мастерской» степени которая предоставляет нам полную свободу в манипулировании биосферой есть чистая глупость.

Таким образом, значительная степень свободы должны быть предоставлена природной спонтанности - различным биологическим силам, которые создают пеструю экологическую обстановку. "Работа с природой" требует, чтобы мы способствовали биотическому разнообразию, которое возникает из стихийного развития природных явлений. Я менее всего подразумеваю, что мы должны капитулировать перед мифической "Природой", которая находится за пределами всего человеческого понимания и вмешательства, Природой, которая требует человеческого страха и подчинения. Пожалуй, самый очевидный вывод, который можно сделать из этих экологических принципов - это тонкое наблюдение Чарльза Элтона: «Будущее мира должно быть управляемым, но это управление не должно уподобляться игре в шахматы, а скорее быть похожим на ведение корабля". То, чему может надеяться научить нас экология, как природная, так и социальная, является способом нахождения течения и пониманию направления потока.

Что в конечном итоге отличает экологическое мировоззрение, как однозначно освобождающее, так это вызов, который оно бросает общепринятым понятиям иерархии. Позвольте мне подчеркнуть, однако, что этот вызов не является явным: он должен быть кропотливо извлечен из дисциплины экологии, которая пронизана общепринятыми сциентистскими предубеждениями. Экологи редко осознают, что их наука воздвигает сильные философские основы для неиерархического взгляда на реальность. Как и многие естествоиспытатели, они сопротивляются философским обобщениям, как чуждым их исследованиям и выводам - предубеждение, которое само является философией, укорененной в англо-американской эмпирической традиции. Более того, они следуют за своими коллегами из других дисциплин, и моделируют свои представления о науке основываясь на физике. Это предубеждение, которое нисходит ко временам Галилея, привело к широкому признанию теории систем в экологических кругах. Хотя теория систем имеет свое место в репертуаре науки, она легко может стать всеобъемлющей, количественной, редукционистской теорией энергетики, если она обретет превосходство над качественными описаниями экосистем, то есть описаниями, которые коренятся в эволюции органического мира, разнообразия и холизма. Независимо от достоинств теории систем, таких, как расчет потока энергии через экосистему, первенство она отдает этому количественному аспекту анализа экосистем, не будучи в состоянии распознать формы жизни как нечто большее, чем потребителей и производителей калорий.

Представив эти предостережения, я должен подчеркнуть, что экосистемы не могут быть осмысленно описаны в иерархических терминах. Действительно ли растительно-животные сообщества состоят из "доминирующих" и "подчиненных" внутри вида можно оспаривать бесконечно. Но ранжирование видов в пределах экосистемы, иными словами, внутри видов, является антропоморфизмом в самой грубом смысле. Как отметила Элисон Джолли (Allison Jolly):

“ Понятие иерархии животных имеет сложную историю. Скъеллеруп -Эббе (Schjelderup- Ebbe), который обнаружил стремление доминировать среди кур, расширил свои выводы до Тевтонской теории деспотизма всего сущего во Вселенной. Например, вода, которая точит камень оказалась "доминирующей" Скъеллеруп-Эббе назвал это ранжирующим "доминированием" среди животных, и многие исследователи, сказав "ага", признали иерархии доминирования во многих группах позвоночных.

Когда мы признаем, что каждая экосистема может также рассматриваться в качестве пищевой сети, то мы имеем в виду цикличную, чередующуюся взаимозависимость отношений между растениями и животными (а не стратифицированную пирамиду с человеком на вершине), которая включает в себя широкий спектр самых разных существ от микроорганизмов до крупных млекопитающих. Каждого, кто впервые видит диаграмму пищевой сети, обычно озадачивает невозможность распознать точку входа в эту взаимозависимость. В эту паутину можно войти в любой точке и вернуться обратно в пункт отправления без какого-либо видимого выхода. Если не принимать во внимание энергию, вырабатываемую солнечными лучами (и рассеянным излучением), то система по всем

признакам является закрытой. Каждый вид, будь то форма бактерий или олень, связаны с другими в сеть взаимозависимости, однако могут быть и косвенные ссылки. Хищник в сети тоже может стать добычей, если "самый темный" из организмов просто делает его больным или помогает потреблять его после смерти.

Кроме того, хищничество не является единственной связью, которая объединяет один вид с другим. В настоящее время существует блистательная литература, которая показывает огромную степень, в которой симбиотический мутуализм является основным фактором в развитии экологической стабильности и органической эволюции. То, что растения и животные постоянно адаптируются к невольной взаимопомощи (в том числе путем обмена взаимовыгодными биохимическими функциями, или даже впечатляющими фактами физической поддержки и помощи) открывает совершенно новый взгляд на природу стабильности и развития экосистем.

Чем более сложна трофическая сеть, тем менее стабильной она будет, в случае, если один или несколько видов исчезнет. Таким образом, огромное значение должно придаваться межвидовому разнообразию и сложности внутри системы в целом. В простых экосистемах, таких, как арктические и пустынные, будут происходить разительные нарушения, скажем, если будут уничтожены волки, которые контролируют рост популяции животных, или если исчезнет существенное количество рептилий, которые контролируют популяции грызунов в пустынных экосистемах. С другой стороны, большое разнообразие биоты, населяющей умеренные и тропические экосистемы может позволить себе потери хищников или травоядных животных, не испытывая крупномасштабных сдвигов.

Почему термины, заимствованные из человеческих социальных иерархий приобрели такой значимый вес, когда отношения растение-животное уже описаны? Действительно ли в экосистемах существуют «царь зверей» и «смирные смерды»? «Порабощают» ли определенные насекомые других? «Эксплуатирует» ли один вид другой?

Неразборчивое использование этих терминов в области экологии вызывает много далеко идущих вопросов. То, что эти термины обременены социально заряженными ценностями, более чем очевидно гарантирует широкую дискуссию. Многие люди проявляют трогательную доверчивость в том, что они относятся к природе, как к измерению общества. Рычащие животные не являются ни «порочными», ни «дикими», равно как и не «ведут себя плохо» или «зарабатывают» наказание, поскольку они просто соответствующим образом реагируют на определенные раздражители. Вынося такие антропоморфные суждения о явлениях природы, мы отрицаем целостность природы. Еще более вредным является широкое использование иерархических терминов для придания природным явлениям «понятности» или «порядка». Результатом этого трюка является укрепление человеческих социальных иерархий, оправдание повелевания, власти мужчин и женщин как естественного свойства «природного порядка». Человеческое доминирование тем самым транскрибируется в генетический код в качестве биологически-неизменного вместе с подчинением молодых старикам, женщин мужчинам, и человека человеку.

Сама неразборчивость, с которой используются иерархические термины, чтобы организовать все дифференциации в природе является непоследовательной. "Королева" пчел не знает, что она является королевой. Основная деятельность улья является репродуктивной, и его «разделение труда», если использовать грубо злоупотребляемую фразу, не имеет никакого смысла в большом половом органе, который не выполняет никаких подлинно экономических функций. Цель улья - создать побольше пчел. Мед, который животные и люди получают от него, является щедростью природы; в экосистеме пчелы приспособлены больше к удовлетворению репродуктивных потребностей растений путем распространения пыльцы, чем к удовлетворению важных потребностей животных. Аналогия между ульем и обществом, аналогия, которую социальные теоретики часто находят слишком неотразимой, чтобы удержаться от ее использования, является ярким примером того, в какой мере наши представления о природе формируются из корыстных социальных интересов.

Обращение с так называемой иерархией насекомых тем же способом, каким мы обращаемся с так называемой иерархией животных, или хуже, грубое игнорирование очень разных функций, которые выполняют сообщества животных, является аналоговым рассуждением, доведенным до точки абсурда. Приматы относятся друг к другу таким образом, который, кажется, включает «доминирование» и «подчинение» по ряду очень разных причин. Тем не менее, терминологически и концептуально, они отнесены к той же «иерархической» рубрике, что и «общества» насекомых, - несмотря на различные формы, которые они приобретают и их неустойчивой стабильности. Бабуины африканских саванн были выделены как наиболее жесткие иерархические стада в мире приматов, но эта жесткость испаряется, как только мы рассмотрим их «порядок рангов» в лесном хабитате. Даже в саваннах, весьма сомнительно, что «альфа» самец «управляет», «контролирует», или «координирует» отношениями внутри стада. В пользу выбора любого из этих слов, могут быть представлены аргументы, каждое из них имеет явно иной смысл, когда оно используется в человеческом социальном контексте. Видимо «патриархальные» «гаремы» приматов могут быть настолько же свободны сексуально как и публичные дома, в зависимости от того, что у самки течка, произошли изменения в среде обитания, или "патриарх" просто неуверен в себе относительно всей ситуации.

Бабуины, стоит отметить, это обезьяны, несмотря на предполагаемое сходство их саванного хабитата с хабитатом ранних гоминид. Они отделились от эволюционного дерева гоминидов более 20 миллионов лет назад. Наши ближайшие эволюционные родственники, человекообразные обезьяны, как правило, полностью опровергают эти предрассудки об иерархии. Из четырех человекообразных обезьян, гиббоны вовсе не имеют очевидной системы «рангов». Шимпанзе, по мнению многих приматологов наиболее человекообразные из всех обезьян, формируют настолько подвижные типы «стратификации» и (в зависимости от экологии ареала, которая может быть в значительной степени нарушена исследователями) создают настолько неустойчивые типы ассоциаций, что слово иерархия становится препятствием для понимания их поведенческих характеристик. Орангутанги, похоже, обладают немногим из того, что можно было бы назвать отношениями доминирования и подчинения. Горные гориллы, несмотря на свою грозную репутацию, проявляют очень мало «стратификации», за исключением ситуаций угрозы хищника или внутренней агрессии.

Все эти примеры, помогают подтвердить сетования Элизы Боулдинг (Elise Boulding) о том, что «модель поведения приматов», предпочитаемая чрезмерно иерархическими и патриархальными авторами, пишущими о параллелях между животными и человеком, «основывается скорее на бабуинах, чем гиббонах». В отличие от бабуинов, отмечает Боулдинг, гиббон ближе к нам физически и, можно добавить, согласно эволюционной шкале приматов. «Наш выбор модели роли приматов явно культурно детерминирован». Она делает следующий вывод:

“Кто хочет быть похожим на неагрессивных, делящихся друг с другом едой вегетарианцев гиббонов, где отец настолько же вовлечен в воспитание детей, как и мать и где все живут небольшими семейными группами, с небольшой степенью агрегации за рамками этих групп? Гораздо лучше походить на бабуинов, которые живут в больших, крепко сплоченных группах, осмотрительно закрытых от бабуинов-чужаков, где все знают, кто главный и где мать ухаживает за малышами в то время когда отец на охоте или рыбалке.

В действительности, Боулдинг соглашается слишком со многим относительно обезьян, обитающих в саванне. Даже если термин доминирование был натянут до «королевы» пчел и «альфа» бабуинов, одиночные акты принуждения со стороны отдельных животных вряд ли можно назвать доминированием. Акты не создают институты, как эпизоды не делают историю. И хорошо структурированные паттерны поведения насекомых, корни которых уходят в инстинктивные влечения, являются слишком негибкими, для того, чтобы рассматривать их как социальные. Если не использовать иерархию в космическом смысле Скьеллеруп –Эббе, то доминирование и подчинение должны рассматриваться как институционализированные отношения, отношения, которые живые существа буквально институционализируют или создают, но которые не являются ни беспощадно фиксированным инстинктом, с одной стороны, ни идиосинкразическими с другой. Под этим я подразумеваю то, что они должны содержать четкую социальную структуру принудительных и привилегированных рангов, существующих независимо от идиосинкразических индивидуумов, которые выглядят доминирующими внутри данного сообщества, иерархию, которая руководствуется социальной логикой, выходящей за рамки индивидуальных взаимодействий или врожденных моделей поведения¹⁰.

Такие черты достаточно очевидны в человеческом обществе, когда мы говорим о «самовоспроизводящихся» бюрократиях и исследуем их без учета отдельных чиновников, из которых они состоят. Тем не менее, когда мы обращаемся к приматам, то, что люди обычно распознают как иерархию, статус и доминирование являются именно идиосинкразическими бихевиоризмами¹¹ отдельных животных. Майк, «альфа» шимпанзе Джейн ван Ловик-Гудолл (Jane van Lawick-Goodall), приобрел свой «статус» раздражающе атакуя группу самцов громким шумом от стука двух пустых канистр из под керосина. В этом месте своего повествования, ван Ловик -Гудолл задается вопросом, а стал ли бы Майк «альфа» самцом, без керосиновых канистр? Она отвечает, что использование животными «объектов произведенных человеком, вероятно есть индикатор более высокого интеллекта».

Действительно ли такие призрачные различия в интеллекте, а не агрессивность, своеволие, или амбиции делают "альфа" самца - это свидетельство скорее трудно уловимой проекции исторически обусловленных человеческих ценностей на группу приматов, чем научной объективности которая бы понадобилась экологии и которую экология предпочла бы потребовать для себя.

Иерархические с виду черты многих животных больше напоминают вариации в звеньях одной цепи, чем организованные стратификации того рода, который мы находим в человеческих обществах и институтах. Даже так называемые классовые общества Северо-Западных индейцев, как мы увидим, являются скорее цепеобразными связями между людьми, а не классами, которые ранние евро-американские захватчики так наивно проецировали на индейцев исходя из своего собственного социального мира. Если отдельные действия не образуют институты и эпизоды не являются историей, то индивидуальные черты поведения не образуют страты или классы. Социальные страты созданы из более суровых вещей. Они живут своей собственной жизнью отдельно от личностей, которые составляют их сущность.

Как экологии избежать аналоговых рассуждений, которые так много сделали для того, чтобы этология и социобиология выглядели правдоподобной проекцией человеческого общества на природу? Существуют ли термины, которые придают общий смысл единству в многообразии, природной спонтанности, и неиерархическим отношениям в природе и обществе? Ввиду многих принципов, которые появляются в природной экологии, зачем останавливаться только на них? Почему бы не ввести другие, может быть, менее приятные экологические понятия, такие, как хищничество и агрессия в обществе?

На самом деле, почти все эти вопросы стали основными темами социальной теории в начале века, когда так называемая Чикагская школа городской социологии усердно пыталась применить почти все известные концепции природной экологии к развитию и «физиологии» города. Роберт Парк, Эрнест Берджесс, и Родерик Маккензи, влюбленные в новую науку, фактически ввели строго биологическую модель в своих исследованиях Чикаго с убедительностью и вдохновением, которые доминировали в американской социологии города в течение двух поколений. Их принципы включали экологическую сукцессию, пространственное распределение, зональное распределение, анаболически-катаболические равновесия, и даже конкуренцию и естественный отбор, который мог бы легко толкнуть школу к постепенно развивающейся форме социального дарвинизма, что не соответствовало либеральным тенденциям ее основателей.

Несмотря на свои замечательные эмпирические результаты, школа погрузилась в метафорический редукционизм. Применяемые без разбора, категории утрачивают свой смысл. Когда Парк сравнил возникновение определенных специализированных муниципальных предприятий с «сукцессионным доминированием» «других растительных видов», которое достигает своей кульминации в виде «букового или соснового леса», то аналогия вышла явно натянутой и абсурдно искаженной. Его сравнение этнических,

культурных, профессиональных, социальных и экономических групп со «вторжением растений» показало отсутствие теоретической разборчивости, которое сводило социальные особенности человека к экологическим особенностям растения. Парку и его единомышленникам не доставало философской оснащенности для выделения фаз, которые как объединяют, так и разделяют природные и социальные явления в эволюционном континууме. Таким образом, лишь поверхностное сходство стало полной идентичностью с тем печальным результатом, что социальная экология стала постоянно сводиться к природной экологии. Богато развитая эволюция природного в социальное, которая могла бы быть использована для выработки содержательной совокупности экологических категорий не входила в теоретическое оснащение школы.

Всякий раз, когда мы игнорируем тот путь, которым человеческие социальные отношения превзошли отношения растение-животное, наши взгляды, как правило, разветвляются в двух ошибочных направлениях. Либо мы поддаемся жесткому дуализму, резко отделяющему природное от социального, либо мы впадаем в грубый редукционизм, которые растворяются друг в друге. В любом случае, мы действительно прекращаем думать о других вовлеченных вопросах. Мы просто ухватываемся за наименее неудобное «решение» чрезвычайно комплексной проблемы, а именно, необходимости анализа фаз, проходя которые «немая» биологическая природа постепенно становится сознательной человеческой природой.

Что делает единство многообразия в природе большим, чем суггестивная экологическая метафора единства многообразия в обществе - это лежащая в ее основе философская концепция целостности. Под цельностью я подразумеваю различные уровни актуализации, раскрывающееся богатство особенностей, которые связывают латентное в пока еще неразвитом потенциале. Этот потенциал может быть вновь посаженным семенем, новорожденным младенцем, новорожденным сообществом, или новорожденным обществом. Когда Гегель описывает в знаменитом пассаже «разворачивание» человеческих знаний в биологических терминах, то соответствие почти точное:

“ Бутон исчезает в прорывающемся наружу цветении, и можно сказать, что прежнее опровергается последующим, подобно тому, когда появляется плод, то цветение разоблачается, в свою очередь, как ложное проявление растения, а плод теперь становится истинным вместо него. Эти формы не только отличаются друг от друга, но и вытесняют друг друга, как взаимно несовместимые. Но все же их непостоянная природа делает их моментами органического единства, в котором они не только не противоречат друг другу, но в котором каждая так же необходима, как и другая, и это взаимная необходимость уже сама по себе составляет жизнь целого. 12

Я обратился к этому замечательному пассажу, потому, что Гегель не подразумевал в нем лишь метафору. Его биологический пример, и предмет его социального субъекта сходятся таким образом, что превосходят себя в значительной мере как аналогичные аспекты больших процессов. Сама жизнь, в отличие от неживого, возникает из неорганического

латентного со всеми особенностями, которые она имманентно производит из логики своих самых зарождающихся форм самоорганизации. Так же как и общество в отличие от биологии, человечество в отличие от животного, и индивидуальность в отличие от человечества. И объявить, что «целое есть истина», это не ехидная манипуляция известной максимой Гегеля «истина есть целое». Можно использовать эту перестановку терминов имея в виду, что истина заключается в самоосуществлении процесса через его развитие, в расцвете его латентных особенностей в их полноте и целостности, так же как в возможностях ребенка достичь выражения в богатстве опыта и физического развития, которые входят во взрослую жизнь.

Мы должны не дать себе увязнуть в прямых сравнениях между растениями, животными и человеческими существами, или между растительно- животными экосистемами и человеческими сообществами. Ни одно из них полностью не сравнимо с другим. Мы бы регрессировали в своих взглядах до взглядов Парка, Берджесса и Маккензи, не говоря уже о нашем сегодняшнем букете социобиологов, мы оказались бы слишком слабы, чтобы составить это уравнение. Это не в особенностях дифференциации растительно-животные сообщества экологически объединены с человеческими сообществами, а скорее в их логике дифференциации. Целостность, по сути, является завершенностью. Динамическая устойчивость целого происходит из видимого уровня завершенности в человеческих сообществах, как в климаксных¹³ экосистемах. То, что объединяет эти образы цельности и завершенности, какими бы разными они не были в их специфике и их качественном своеобразии, является логикой самого развития. Климаксный лес является цельным и завершенным как результат того же объединяющего процесса - той же диалектики - когда и отдельная социальная форма является цельной и завершенной.

Когда цельность и завершенность рассматриваются как результат имманентной диалектики внутри феномена, мы не совершаем большего насилия против уникальности этих явлений, чем принцип всемирного тяготения против уникальности объектов, которые подпадают под его «законность». В этом смысле, идеал человеческой сбалансированности - продукт сбалансированного сообщества, является законным наследником идеала стабилизированной природы, продукта сбалансированной природной окружающей среды. Маркс попытался укоренить идентичность и самопознание человечества в его производственном взаимодействии с природой. Но я должен добавить, что не только человечество накладывает свой отпечаток на природный мир и преобразует его, но и природа накладывает свой отпечаток на человеческий мир и преобразует его. Используя язык иерархии против себя: не только мы «укрощаем» природу, но и природа «укрощает» нас.

Эти обороты фраз должны восприниматься как нечто большее, чем метафоры. Чтобы не показалось, что я утончил концепцию целостности до абстрактного диалектического принципа, позвольте мне отметить, что природные экосистемы и человеческие сообщества взаимодействуют друг с другом очень экзистенциальными способами. Наша животная природа никогда не была столь далека от нашей социальной природы, чтобы мы могли

отрешиться от органического мира вне нас и внутри нас. Начиная с нашего эмбрионального развития и заканчивая слоями нашего мозга, мы отчасти повторяем нашу собственную естественную эволюцию. Мы не столь отделились от наших предков приматов, чтобы игнорировать их физическое наследие в нашем стереоскопическом зрении, остроте ума, и хваткости пальцев. Мы становимся частью общества как личности так же, как общество, постепенно уходя от природы, приходит к самому себе.

Эта преемственность, конечно, достаточно очевидна. Часто менее очевидна та степень, в которой сама природа является царством потенциальности для появления социальных дифференциаций. Природа в такой же степени является предпосылкой для развития общества, а не просто его появления, как то техники, труда, языка, и ума. И это является непрямым условием не только в понимании Уильяма Петти (William Petty), что если труд это «Отец» благосостояния, то природа его «Мать». Эта формула, которая столь дорога Марксу, на самом деле пренебрежительно относится к природе придавая ей патриархальное понятие женской «пассивности». Сходство между природой и обществом более активно, чем нам хочется признать. Очень специфические формы природы - очень специфические экосистемы - создают основу для очень специфических форм общества. Риска используя фразу, вызвавшую столько баталий, я мог бы сказать, что «исторический материализм» природного развития может быть написан так, что превратит «пассивную природу», «объект» человеческого труда - в «активную природу», создателя человеческого труда. «Метаболизм» труда с природой обоюден потому, что природа взаимодействует с человечеством для достижения актуализации их общих возможностей в природном и социальном мире.

Взаимодействие такого рода, в котором такие термины, как «Отец» и «Мать» звучат фальшиво, может быть сформулировано очень конкретно. Недавний акцент на биорегионах в качестве основы для различных человеческих сообществ предоставляет веские аргументы в пользу необходимости реадaptировать техники и стили работы так, чтобы привести их в соответствие с требованиями и возможностями конкретных экологических областей. Биорегиональные требования и возможности налагают тяжелое бремя на притязания человечества в верховенстве над природой и автономии от ее потребностей. Если правда то, что «люди делают историю», но при обстоятельствах, которые не сами выбрали (Маркс) 14, то не менее верно и то, что история делает общество, но не в обстоятельствах своего собственного выбора. Скрытое измерение, которое таится в этой игре слов знаменитой формулы Маркса является естественной историей, которая участвует в создании социальной истории, но как активная, конкретная, экзистенциальная природа, которая возникает от стадии к стадии своего вечно комплексного развития в виде столь же сложных и динамичных экосистем. Наши экосистемы, в свою очередь, взаимосвязаны между собой в очень динамичных и сложных биорегионах. Насколько конкретным является скрытое измерение общественного развития, и как много человеческие притязания на верховенство должны уступить ему, стало очевидно только недавно, из нашей потребности в разработках альтернативных технологий которые настолько же адаптивны к биорегиону как и продуктивны для общества. Таким образом, наше представление о цельности это незавершенная мозаика природных и социальных отношений, которые мы можем представить голодным взорам социологов. Это плодородная естественная история, всегда активная и всегда меняющаяся – подобно тому, как детство

стремится и поглощается молодостью, а молодость взрослой жизнью.

Необходимость внести смысл истории в природу столь же очевидна, как и необходимость приведения смысла истории в общество. Экосистема никогда не является случайным сообществом растений и животных, которое возникает лишь по воле случая. Она обладает потенциальностью, направлением, значением и самореализацией в своем собственном праве. Рассмотрение экосистемы как данности (плохая привычка, которую сайентизм воспитывает в своем теоретически нейтральном наблюдателе) является, настолько же неисторичным и поверхностным, как рассмотрение человеческого сообщества как данности. Оба имеют историю, которая придает ясность и порядок их внутренним отношениям и направлениям их развития.

С самого начала человеческая история в значительной степени является естественной историей так же, как и социальной - традиционные структуры родства и половое разделение труда четко на это указывают. Является ли естественная история «слизью», если использовать неуклюжий термин Сартра, которая прилипает к человечеству и мешает его рациональной самореализации, или нет, будет рассмотрено позже. В настоящее время, должен быть прояснен один факт: человеческая история никогда не может освободиться или отделить себя от природы. Она всегда будет встроена в природу, что нам следует понять - как бы мы ни были склонны называть эту природу - «слизью» или плодородной матерью. То, что может оказаться наиболее требовательным тестом на наш человеческий гений, так это то, какому роду природы мы будем способствовать - богато органическому и комплексному или тому, который является неорганическим и катастрофически упрощенным.

Вовлеченность человечества в природу не только уходит глубоко, но и принимает более трудноуловимые формы, чем могли предполагать даже самые изощренные теоретики. Наши знания об этой вовлеченности все еще такие же, какими они были в «доисторические времена». Согласно Эрнсту Блоху, у нас не только общая история с природой, наряду со всеми различиями между природой и обществом, но и общая судьба. Как он отмечает:

“ Природа в своем окончательном проявлении, как и история в своем проявлении лежат на горизонте будущего. И чем более достижимы общепринятые технологии [Alianztechnik] , которые опосредованы со-продуктивностью [Mitproduktivitat] природы а не внешние, тем более мы можем быть уверены в том, что замороженные силы застывшей природы будут вновь раскрепощены. Природа это не нечто, что может быть предано прошлому. Скорее это строительная площадка, которая до сих пор не расчищена, строительные инструменты, которые еще не были получены в адекватной форме для человеческого дома, который и сам-то еще не существует в адекватной форме. Способность обремененной проблемами природной субъективности принять участие в строительстве этого дома является объективно-утопическим коррелятом человеческой утопической фантазии сконструированным из конкретных терминов. Поэтому определенно человеческий дом расположен не только в истории,

но и на фундаменте человеческой деятельности; главным образом он расположен на фундаменте опосредованной природной субъективности на строительной площадке природы. Концептуальные рубежи природы [Grenzbegriff] не являются началом человеческой истории, где природа (которая всегда присутствует в истории и всегда окружает ее) превращается в площадку для суверенного царства человека [regnum hominis], а скорее тем, где она превращается в адекватную площадку [для адекватного человеческого дома], как неотчужденное опосредованное благо [und sie unentfremdet aufgeht, als vermitteltes Gut].

Можно рассмотреть вопрос с акцентом, который Блох делает на человеческом полновластии во взаимодействии с природой и структурной фразеологией, которой пронизано его блестящее понимание органической природы этого взаимодействия. Das Prinzip Hoffnung («Принцип надежды») был написан в начале 1940-х, мрачного и воюющего периода, когда такие концептуальные рамки были совершенно чужды антиприродному и поистине милитаристскому духу того времени. Его понимание превосходит наш ретроспективный подход, благоухающий своей «попсовой» экологической терминологией и тошнотворным мистицизмом. В любом случае, о различиях между природой и обществом написано было достаточно. Сегодня, вместе с Блохом, было бы полезно перенести наше внимание на общности природы и общества, и при условии, что мы достаточно осмотрительны, чтобы избежать этих бессмысленных скачков от одного к другому, как будто они не были связаны насыщенными фазами развития, которые аутентично объединяют их.

Вовлеченность человечества в природу не только уходит глубоко но и принимает более трудно уловимые формы, чем могли предполагать даже самые изощренные теоретики. Наши знания об этой вовлеченности все еще остаются такими же, какими они были в «доисторические времена». Согласно Эрнсту Блоху, у нас не только общая история с природой, наряду со всеми различиями между природой и обществом, но и общая судьба. Как он отмечает:

“ Природа в своем окончательном проявлении, как и история в своем проявлении лежат на горизонте будущего. И чем более достижимы те общепринятые технологии [Alianztechnik], которые опосредованы со-продуктивностью [Mitproduktivitat] природы а не внешние, тем более мы можем быть уверены в том, что замороженные силы застывшей природы будут вновь раскрепощены. Природа это не нечто, что может быть предано прошлому. Скорее, это строительная площадка, которая до сих пор не расчищена, строительные инструменты, которые еще не были получены в адекватной форме для человеческого дома, который и сам-то

еще не существует в адекватной форме. Способность обремененной проблемами природной субъективности принять участие в строительстве этого дома является объективно-утопическим коррелятом человеческой утопической фантазии, сконструированным из конкретных терминов. Поэтому определенно человеческий дом расположен не только в истории, но и на фундаменте человеческой деятельности; главным образом он расположен на фундаменте опосредованной природной субъективности на строительной площадке природы. Концептуальные рубежи природы [Grenzbegriff] не являются началом человеческой истории, где природа (которая всегда присутствует в истории и всегда окружает ее) превращается в площадку для суверенного царства человека [regnum hominis], а скорее тем, где она превращается в адекватную площадку [для адекватного человека дома], как неотчужденное опосредованное благо [und sie unentfremdet aufgeht, als vermitteltes Gut].

Можно рассмотреть этот вопрос с акцентом, который Блох делает на человеческом верховенстве во взаимодействии с природой и структурной фразеологией, которой пронизано его блестящее понимание органической природы этого взаимодействия. Das Prinzip Hoffnung («Принцип надежды») был написан в начале 1940-х, мрачного и погруженного в баталии периода, когда такие концептуальные рамки были совершенно чужды антиприродному, и поистине милитаристскому духу того времени. Его понимание превосходит наш ретроспективный подход, благоухающий своей "попсовой" экологической терминологией и тошнотворным мистицизмом. В любом случае, о различиях между природой и обществом написано было достаточно. Сегодня, вместе с Блохом, было бы полезно перевести наше особое внимание на общность природы и общества, и при этом быть достаточно осмотрительными, чтобы избежать этих бессмысленных скачков от одного к другому, как будто они не были связаны насыщенными фазами развития, которые их аутентично объединяют.

Спонтанность входит в социальную экологию во многом так же, как она входит в природную экологию, как функция разнообразия и комплексности. Экосистемы являются чрезмерно разнообразными, для того, чтобы быть полностью переданными тому, что Эрнст Блох называет regnum hominis или, по крайней мере, претензией человечества на господство над природой. Но мы можем справедливо спросить, является ли это сколько-нибудь менее верным, чем притязания социальной комплексности и истории на господство над человечеством? Достаточно ли знают самопровозглашенные ученые или «защитники» общества (помимо своих, как правило, служащих только им самим взглядов) о комплексных факторах, которые позволяют предполагать, что социальное развитие управляет ими?

И даже после того как «адекватная форма человеческого дома» была открыта и наделена вещественностью, как мы можем быть уверены в их бескорыстном служении? История полна

рассказами о просчетах лидеров, партий, фракций, «защитников» и «авангарда». Если природа «слепа», то столь же «слепо» и общество, когда оно предполагает, что знает себя совершенно, будь это в форме социальных наук, социальной теории, системного анализа, или даже социальной экологии. В самом деле, «Всемирные Духи» от Александра до Ленина, не всегда служили человечеству наилучшим образом. Они проявили умышленное высокомерие, которое нанесло ущерб социальной среде так же катастрофически, как высокомерие обычных людей нанесло ущерб природной среде.

Великие исторические эпохи перемен показали, что нарастающей волне социальных изменений должно быть позволено достичь своего собственного уровня спонтанно. Авангардные организации вызвали повторяющиеся катастрофы, когда они пытались форсировать изменения, которые люди и условия их времени не могли поддержать ни материально, ни идеологически, ни морально. Там, где форсированные социальные изменения не были подкреплены образованным и информированным массовым сознанием, они были, в конечном счете, навязаны террором, и движения сами становились жестокими и сжигали свои самые заветные гуманистические и освободительные идеалы. Наш век завершается в тени события, которое совершенно затуманило будущее человечества, а именно, русской революции и ее ужасающих последствий. Где революция, непринужденно и легко совершенная народным движением, закончилась, и ее сменил государственный переворот [coup d'etat] Ленина в октябре 1917 года, что легко может быть установлено и датировано. Но еще более трудно объяснить то, как воля небольшой группы, подстрекаемой деморализацией и глупостью своих оппонентов, сумела обернуть успех неудачей даже в самом понятии «успех». Пожалуй, самое безобидное суждение, которое время позволяет нам сделать задним числом, заключается в том, что движение пришло бы к равновесию будь оно предоставлено своему спонтанному народному импульсу и самоопределению и возможно, с достижениями, которые могли бы усилить более совершенные процессы социального развития за границей. Социальные изменения, в частности, социальные революции, как правило, находят своих злейших врагов в лидерах, чья воля вытеснила спонтанные движения людей. Гордыня в социальной эволюции является столь же опасной, что и в естественной эволюции и по тем же причинам. В обоих случаях комплексность ситуации, ограничения времени и места, и предрассудки, которые просачиваются в то, что часто просто выглядит как предвидение, скрывают множественность частных, которые ближе к реальности, чем какие-либо идеологические предубеждения и потребности.

Я не хочу отрицать дополняющее значение воли, интуиции и знаний, которые должны просвещать человеческую спонтанность в социальном мире. В природе, напротив, спонтанность действует в рамках более ограниченного набора условий. Природные экосистемы достигают своей климаксности в наивысшей степени устойчивости, которой они могут достичь в пределах своего уровня возможностей. Мы, конечно, знаем, что это не пассивный процесс. Но за пределами этого уровня и той стабильности, которую может достичь экосистема и очевидными стремлениями, которые она проявляет, она не обнаруживает никакой мотивации или выбора. Ее стабильность, учитывая ее потенциальности и то, что Аристотель называл ее «энтелехией», является самоцелью, так же, как функцией улья является производство пчел. Климаксная экосистема останавливает на некоторое время те взаимосвязи, которые ее составляют. Социальная сфера, напротив, повышает объективную возможность свободы и самосознания как дополняющей функции

стабильности. Человеческое сообщество, на каком бы уровне оно не стабилизировалось, остается незавершенным, пока не достигнет неподавленной воли и самосознания, или того, что мы называем свободой, завершеного состояния, которое, я должен добавить, фактически является отправной точкой для нового начала. Насколько свобода человека опирается на стабильность природной экосистемы, в которой она всегда заключена, что это означает в более широком философском смысле помимо простого выживания, и какие стандарты она возвращает из ее общей со всем миром жизни истории и собственной социальной истории, все это является темой оставшейся части книги.

В этом очень сложном контексте идей мы должны теперь попытаться экстраполировать неиерархический характер природных экосистем на общество. То, столь важное, что поднимает социальная экология, это то, что она предлагает ни в коем случае не иерархию в природе и обществе, она решительно бросает вызов самой функции иерархии как стабилизирующему и упорядочивающему принципу в обеих сферах. Связь порядка как такового с иерархией разрывается. И эта связь разрывается, не разрывая связи природы с обществом, что имела обыкновение делать социология, в ее благонамеренной оппозиции к социобиологии. В отличие от социологов, нам нет нужды представлять социальный мир в настолько высокой степени автономным от природы, что мы вынуждены будем разорвать континуум, который вводит природу в общество. Короче говоря, мы не должны принимать грубые принципы социобиологии, которые жестко связывают нас с природой в одной крайности или наивные убеждения социологии которые резко нас отсекают от природы в другой крайности. Хотя иерархия и существует в современном обществе, ей необязательно существовать в дальнейшем, независимо от отсутствия в ней смысла или реальности для природы. Но аргументация против иерархии не ограничивается ее уникальностью как социального феномена. Поскольку иерархия ставит под угрозу существование общественной жизни, сегодня, она не может оставаться социальным фактом. Поскольку она угрожает целостности органической природы, она не сможет продолжать им оставаться, учитывая суровый приговор «немой» и «слепой» природы.

В конечном итоге, органическое знание это мобилизованное понимание (мобилизованный инсайт) того, что стремится познать природу в природе, не отказываясь от анализа в пользу мистицизма или от диалектики в пользу интуиции. Наше собственное мышление само по себе является естественным процессом, хотя и глубоко обусловлено обществом и богатой текстурой социальной эволюции. Наша способность привести мысль в резонанс с ее органической историей (ее эволюцией от высоко реактивных органических молекул, которые образуют фундамент чувствительности более сложных форм, того, последовавшего за ними, экстравагантного шквала жизненных форм и эволюции нервной системы) является частью тех знаний "знания" [knowledge of "knowing"], что обеспечивают мысли органическими покровами, которые так же реальны, как и интеллектуальные инструменты, что мы приобретаем в обществе.

Даже в большей мере, чем интуиция и вера, мысль буквально так же реальна, как рождение и смерть, когда мы впервые начинаем знать, и когда мы, в конечном итоге, перестаем знать.

Поэтому природа пребывает в эпистемологии так же, как родитель, пребывающий в своем ребенке. То, что часто ошибочно отвергается как интуитивная фаза знания, это та правда, которую наша животность дает нашей человечности и наша эмбриональная стадия развития нашей взрослой жизни. Когда мы, в итоге, отделяем эти глубинные фазы нашего бытия и мышления от наших тел и наших умов, мы поступаем хуже, чем когда сводим наши эпистемологические запросы к кантовым суждениям, основанным на жестком дуализме между мыслью и природой; мы отделяем наш интеллект от нас самих, наше состояние ума от развития нашего тела, и наше предвидение от нашего ретроспективного взгляда, а наше понимание от его древних воспоминаний.

Говоря более конкретно, какие тревожащие вопросы нашего времени и нашего будущего поднимает социальная экология? Устанавливая более совершенное взаимодействие с природой, будет ли возможным достижение нового баланса между человечеством и природой путем чуткого приспособления наших сельскохозяйственных практик, городских районов и технологий к естественным потребностям региона и его экосистем? Можем ли мы надеяться «управлять» природной средой коренной децентрализацией сельского хозяйства, которое даст возможность возделывать землю, как будто бы это был сад, сбалансированный диверсифицированной флорой и фауной? Потребуется ли эти изменения децентрализации наших городов до умеренных размеров сообществ, создания нового баланса между городом и деревней? Какие технологии будут необходимы для достижения этих целей и предотвращения дальнейшего загрязнения земли? Какие институты будут необходимы для создания новой общественной сферы, какие общественные отношения должны способствовать новой экологической восприимчивости, какие формы работы превратят человеческую деятельность в веселую и творческую, какие размеры и количество населения сообществ сделают масштабы жизни в человеческих измерениях подконтрольными всем? Какая поэзия? Конкретные вопросы, экологические, социальные, политические и поведенческие прорываются как река до сих пор запруженная ограничениями традиционных идеологий и привычек мышления.

Те ответы, которые мы предоставим на эти вопросы имеют прямое отношение к тому, сможет ли человечество выжить на планете. Тенденции нашего времени явно направлены против экологического разнообразия, по существу они указывают на грубое упрощение всей биосферы. Комплексные пищевые цепи в почве и на поверхности Земли в настоящее время безжалостно подорваны бессмысленным применением промышленных технологий в сельском хозяйстве, и, следовательно, почва была во многих областях сведена до простой губки, предназначенной для поглощения простых химических "питательных веществ". Культивация монокультур на обширных участках земли стирает природное, сельскохозяйственное, и даже физико-географическое разнообразие. Необъятные пояса урбанизации неумолимо захватывают сельскую местность, заменяя флору и фауну бетоном, металлом и стеклом, и окутывают крупные регионы завесой атмосферных загрязнителей. В этом массово урбанизированном мире сам человеческий опыт становится грубым и примитивным, обусловленным грубыми шумными раздражителями и грубым бюрократическими манипуляциями. Национальное разделение труда, стандартизированное вдоль промышленных линий, вытесняет региональное и местное разнообразие, сводя целые континенты к бескрайним, дымящим заводам и города к безвкусным, пластиковым супермаркетам.

Современное общество, по сути, демонтирует биотическую комплексность, достигнутую эонами лет эволюции органического мира. Величественное движение жизни от совершенно простых до все более сложных форм и отношений, в настоящее время безжалостно развернуто в направлении среды, которая будет в состоянии поддерживать только простейших живых существ. Продолжать этот разворот биологической эволюции, подрывать биотические пищевые сети, от которых зависит человечество в своих средствах для поддержания жизни, означает ставить под вопрос само выживание человеческого рода. Если обращение эволюционного процесса вспять продолжится, то существуют веские основания полагать, не говоря уже о всей системе контроля над прочими токсичными веществами, что предпосылки для сложных форм жизни будут непоправимо разрушены и земля будет неспособна поддерживать нас в качестве жизнеспособного вида.

В этом стечении социального и экологического кризисов, мы больше не можем позволить себе быть лишенными воображения, мы больше не можем позволить себе обходиться без Утопического мышления. Эти кризисы являются слишком серьезными, а перспективы чересчур радикальными, чтобы их можно было урегулировать с помощью обычного образа мысли – того самого склада ума, который породил эти кризисы в первую очередь. Много лет назад, французские студенты во время восстания в мае-июне 1968 года великолепно выразили это резкий контраст альтернатив в своем лозунге: "Будь практичен! Сделай невозможное!"¹⁵ К этому требованию, поколение, которое стоит перед лицом следующего века может добавить более внушительное предписание: "Если мы не сделаем невозможное, мы столкнемся с немыслимым!"

В скандинавских легендах, Один, для того, чтобы получить мудрость, пьет воду из волшебного фонтана, который питает Древо Мира. В обмен на это, бог должен отдать один из своих глаз. Символизм, здесь, очевиден: Один должен заплатить штраф за приобретение понимания того, что дает ему определенную власть над миром природы и нарушает его первозданную гармонию. Но его "мудрость" является мудростью одноглазого. Несмотря на то, что он видит мир более резко, его видение однобоко. "Мудрость" Одина включает не только отказ от того, что Йозеф Вебер назвал "первоначальной связью с природой", но и от честности восприятия, которая соответствует раннему единству природы. Истина достигает точности, предсказуемости и, прежде всего, манипулируемости, она становится наукой в обычном смысле этого слова. Но наука, как мы ее знаем сегодня, является фрагментированной односторонним видением одноглазого бога, чья точка зрения влечет за собой доминирование и антагонизм, а не равенство и гармонию. В скандинавских легендах, эта «мудрость» приводит к Рагнароку, гибели богов и уничтожению родо- племенного [tribal] мира. В наши дни эта односторонняя "мудрость" обременена перспективами ядерного жертвоприношения и экологической катастрофы.

Человечество прошло через долгую историю односторонности и социальных условий, которые всегда содержали потенциал разрушения, несмотря на его созидательные достижения в области технологий. Великим проектом нашего времени должно стать открытие второго глаза: чтобы увидеть все всесторонне и полностью, чтобы исцелить и

преодолеть тот раскол между человечеством и природой, который возник с преждевременной мудростью. Мы не можем обманывать себя, в том, что заново открытый глаз будет сфокусирован на мировоззрении и мифах первобытных народов, ведь история трудилась на протяжении тысяч лет над созданием совершенно новых областей реальности, которые входят в самую нашу человечность. Наша способность к свободе, которая включает нашу способность к индивидуальности, опыту и желанию простирается глубже, чем у наших далеких предков. Мы создали более широкие материальные основы для свободного времени, игры, безопасности, восприятия и чувственности – материальной возможности для более широких областей свободы и человечности, чем могло достичь человечество, связанное изначально узами с природой.

Но мы не можем избавиться от наших уз, пока мы о них не знаем. Насколько бы бессознательным ни было его влияние, наследие доминирования пронизывает наше мышление, ценности, эмоции, и даже самую нашу мускулатуру. История довлеет над всеми нами тем больше, чем больше мы игнорируем ее. Историческое бессознательное должно быть сделано сознательным. Но вразрез наследия доминирования проходит и другое – наследие свободы, которая живет в мечтах человечества, в великих идеалах и движениях, мятежных, анархических и дионисийских, которые расцветали во все великие эпохи социальных преобразований. В наше собственное время эти наследия тесно переплетены как нити и разрушают те четкие модели, которые существовали в прошлом, до тех пор, пока язык свободы не станет взаимозаменяемым с языком доминирования. Эта путаница была трагической судьбой современного социализма, доктрины, которая была лишена всех своих щедрых идеалов. Таким образом, прошлое должно быть рассечено для того, чтобы изгнать из него бесов и приобрести новое целостное видение. Мы должны пересмотреть разрывы, отделяющие человечество от природы, и те расколы внутри человеческого сообщества, которые изначально создали эти разрывы, если мы хотим чтобы концепция целостности стала понятной и чтобы вновь открытый глаз увидел обновленную картину свободы.

Примечания

1 Я использую слово "ортодоксальный" здесь и в последующих страницах намеренно. Я имею в виду не выдающихся радикальных теоретиков девятнадцатого века Прудона. Кропоткина и Бакунина, но их последователей, которые часто их постоянно развивающиеся идеи в ригидные сектантские учения. Как сказал молодой канадский анархист, Дэвид Снаппер, в личной беседе: "Если бы Бакунин и Кропоткин посвятили так много времени интерпретации Прудона, как многие из наших современных либертарианцев... то я сомневаюсь, что «Бог и государство» Бакунина или «Взаимопомощь как фактор эволюции» Кропоткина когда-либо были бы написаны".

2 Для того, чтобы мой акцент на интеграции и сообществе в "органическом обществе" не был неправильно понятым, я хотел бы высказать здесь предостережение. Под термином "органическое общество", я не имею в виду общество задуманное как организм – концепции, которую я считаю сильно пахнущей корпоративными и тоталитарными понятиями в общественной жизни. По большей части, я использую этот термин для обозначения спонтанно образующегося, не подавляющего и эгалитарного общества - "естественного"

общества в том очень определенном смысле, что оно возникает из врожденных потребностях человека в объединении, взаимозависимости, и заботе. Кроме того, я иногда использую термин в более широком смысле чтобы описать вполне четко сформулированные сообщества, которые способствуют человеческой социализации, свободному проявлению, и общественному контролю. Чтобы избежать недопонимания я зарезервировала термин "экологическое общество" для характеристики утопического видения, развернутого в заключительной части этой книги.

3 Членами секты тысячелетнего царства Христа – (Прим.переведчика).

4 mea culpas (лат.) – дословно переводится как моя вина, моя ошибка, распространено используется в качестве принесения извинений

5 Я намеренно использую здесь слово "человек". Раскол между человечеством и природой был именно работой мужчины, который в памятных строках Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера, «мечтал о приобретении абсолютной власти над природой и превращения космоса в одно необъятное охотничье уголье». (Диалектика Просвещения, Нью-Йорк. Сибири Пресс, 1972, стр. 248) Фразу «одно необъятное охотничье уголье», я склонен заменить на «одно необъятное уголье для убийств» описывающую ориентированную на мужчин «цивилизацию» нашей эры.

6 environmentalism, от английского слова environment - окружающая среда, и означает деятельность в области защиты окружающей среды. (прим. переводчика).

7 От латинского habitat, означающего естественную среду обитания (прим. переводчика).

8 Сукцессия – естественный процесс, в результате которого одни виды так изменяют среду обитания, что она становится менее благоприятной или непригодной для обитания этих видов и более благоприятной для других. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не установится климаксное сообщество, которое рассматривается в качестве завершающего этапа сукцессионного ряда.

9 Термин экосистема, или экологическая система, часто используется вольно во многих экологических работах. Здесь я использую его, как и в природной экологии, для обозначения довольно разграничиваемого животного и растительного сообщества и абиотических или неживых факторов, необходимых для его существования. Я также использую его в социальной экологии для обозначения четко выраженного человеческого и природного сообщества, социальных, а также органических факторов, которые взаимодействуют, чтобы создать основу для экологически всеобъемлющего и сбалансированного сообщества.

10 Важное различие должно быть проведено здесь между словами сообщество(scommunity) и общество (society). Животные и даже растения, безусловно, формируют сообщества; экосистемы будут лишены смысла без понимания животных, растений, и их абиотического субстрата как средоточие отношений, которые варьируются от внутривидовых до уровня межвидовых. В своем взаимодействии, формы жизни, таким образом, ведут себя «коммунально» ("communally") в том смысле, что они зависят друг от друга в той или иной

форме. Среди некоторых видов, особенно приматов, эти узы взаимозависимых отношений могут быть настолько тесными, что это приближает их к обществу или, по крайней мере, элементарным формам социальности. Но общество, как бы глубоко оно не было укоренено в природе, тем не менее, является большим, чем сообщество. То, что делает человеческие общества уникальными сообществами, это тот факт, что они являются институционализированными сообществами, которые чрезвычайно, а зачастую и жестко, структурированы вокруг четко выраженных форм обязательств, ассоциаций или личных отношений в поддержании материальных средств к жизни. Хотя все общества обязательно являются сообществами, многие сообщества не являются обществами. Можно обнаружить зарождающиеся социальные элементы в сообществах животных, но только человеческие существа формируют общества, то есть институционализированные сообщества. Неспособность провести это различие между животными или растительными сообществами и человеческим обществом нанесла значительный идеологический вред. Таким образом, хищничество в сообществах животных было обманчиво отождествлено с войной, отдельные связи между животными с иерархией и доминированием, и даже добыча корма животными и метаболизм с трудом и экономикой. Все последние из них являются сугубо социальными явлениями. Мои замечания имеют целью не противопоставить понятия общества и сообщества, а обозначить различия между ними, которые возникают, когда человеческое общество выходит за пределы уровня животных и растительных сообществ.

11 Бихевиоризм (от англ. behavior — поведение), также называемый перспективой обучения (learning perspective) — направление в философии и психологии, строится на предположении и том, что все, что делают организмы – включая действия, мышление и восприятие должно рассматриваться как поведение, и предметом ее изучения было не сознание а поведение. Поскольку тогда было принято ставить знак равенства между психикой и сознанием (психическими считались процессы, которые начинаются и заканчиваются в сознании), возникла версия, будто, устраняя сознание, бихевиоризм тем самым ликвидирует психику. Основателем данного направления в психологии был американский психолог Джон Уотсон.(Прим. переводчика)

12 В каноническом переводе: "Почка исчезает , когда распускается цветок, и можно было бы сказать, что она опровергается цветком; точно так же при появлении плода цветок признаётся ложным наличным билетом растения, а в качестве его истины вместо цветка выступает плод. Эти формы не только различаются между собой, но и вытесняют друг друга как несовместимые. Однако их текучая природа делает их в то же время моментами органического единства, в котором они не только не противоречат друг другу, но один так же необходим, как и другой; и только эта одинаковая необходимость и составляет жизнь целого" (Гегель, Соч. М., 1959. Т. 4 С. 2.)

13 климаксное сообщество – является завершающим этапом сукцессионного ряда, формируясь в результате последовательной смены экосистем и представляет собой наиболее сбалансированное сообщество, максимально эффективно использующее вещественно-энергетические потоки, то есть поддерживающее максимально возможную биомассу на единицу поступающей в экосистему энергии (Прим.переводчика).

14 «Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого». Карл Маркс Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта(Прим. редактора).

15 Более известная версия этого лозунга в русском переводе: «Будте реалистами – требуйте невозможного» [Be practical, demand the impossible!], Букчин же использует другую версию - "Be practical! Do the impossible!"